

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Правительство Новосибирской области

Редакционная коллегия:

Б. Л. Аюшеев (Улан-Удэ)

А. Б. Байбородин (Иркутск)

Б. Я. Бедюров (Горно-Алтайск)

Т. Г. Четверикова (Омск)

Б. С. Дугаров (Улан-Удэ)

А. В. Кирилин (Барнаул)

Э. И. Русаков (Красноярск)

А. Б. Шалин (Новосибирск)

Г. М. Прашкевич (Новосибирск)

Н. М. Закусина (Новосибирск)

Е. Ф. Мартышев (Новосибирск)

А. Ф. Косенков (Новосибирск)

В. С. Никифоров (Новосибирск)

Владимир Титов (ответственный секретарь)

Виталий Сероклинов (зав. отделом прозы)

Марина Акимова (зав. отделом поэзии)

Михаил Косарев (зав. отделом критики)

Дмитрий Рябов (зав. отделом публицистики)

8/2015

Главный редактор: М. Н. ЩУКИН

Содержание

ПРОЗА

- Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ. Дежурные по стране.** Роман.3
Геральд МЕЕР. Яков и Анна. Повесть. *Окончание.*68
Лада ЮРЧЕНКО. Продавец шуриков. Рассказы. 125

ПОЭЗИЯ

- Александр ГАБРИЭЛЬ. Осень на грани зимы.** Стихи.64
Надежда ГЕРМАН. «А ночь уже кончается...» Стихи. 120
Пропись в клеточку. *Андрей КОЗЫРЕВ,*
Сергей ШУБА, Лада НЕГРУЛЬ. Стихи..... 138

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АРХИВ

- Переписка Н. Н. Яновского и В. П. Астафьева.**
1965–1979. Продолжение. 141

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Владимир АЛЕКСЕЕВ. Мое лоскутное одеяло.**
Размышления о книге и чтении. 167

Книжная полка

- Екатерина КЛИМАКОВА. «Ради нашего спасения».** 185

Картинная галерея «Сибирских огней»

- Светлана БЕЛЯЕВА. Вальтер Николаев:**
из творческого наследия. 189

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Журнал зарегистрирован в Мининформпечати РФ. Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г. Главный редактор, директор-руководитель ГБУ «Редакция журнала «Сибирские огни» М. Н. Щукин.

Алексей ЛЕСНЯНСКИЙ

ДЕЖУРНЫЕ ПО СТРАНЕ

Р о м а н*

И сколько же было идей на земле, в истории человеческой, которые даже за десять лет немислимы были и которые вдруг появлялись, когда приходил для них таинственный срок их, и проносились по всей земле?

Так и у нас будет, и воссияет миру народ наш...

Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»

Глава 1

Эти события произошли в одном сибирском городе. Претендовать на пафосное звание мегаполиса он не стремился, а на ярлык «села городского типа», который ему приклеивали приезжие мастодонты из столицы, обижался. Надо сказать, что жителей в нем проживало несметное количество, но если кому вдруг приходила в голову шальная идея спрятаться от правосудия в одном из микрорайонов, то об этом через два с половиной часа уже знали все дворники, а через три — и все остальное население, от градоначальника Николая Гербертовича Горностаева до бродячих котов, жадных в отношении молочно-кефирных рек и мартовского прелюбодения. А что касается численности народонаселения, то если взять жителей Москвы, без обитателей Северо-Западного округа, и разделить эту цифру на сорок лет, проведенных Моисеем с евреями в пустыне, чтобы из египетских рабов превратить их в свободных людей, то получится единица, за которой гордо прошествуют пять голопузых нулей.

Особых достопримечательностей в городе не было, если не считать драматического театра с провинциальной труппой и краеведческого музея, где томилась за стеклами суровая флора и скалила зубы таежная и степная фауна. Зато высших учебных заведений в городишке было хоть

* Журнальный вариант.

отбавляй. В постперестроечную эру они росли как грибы после обильного дождичка, стремясь подтянуть население в экономическом и юридическом плане. Институтов обозначенного профиля развелось так много, что стали они ютиться в бывших общежитиях и оккупировать детские сады — благо что дети перестали рождаться.

В городе было три рынка: один — центральный, другой — так себе, третий был блокирован нашими желтолицыми крошечными товарищами по утопленному в Лете, но еще не до конца захлебнувшемуся соцлагерю. Громадные цеха тяжеловесно-серого мяскокомбината громоздились в затхлом воздухе на улице Пушкина, и зданием в стиле модерн непременно бы гордились жители, если бы перепало от его величия в консервные банки побольше мясных прожилок, а бледный жир, от которого заплывали металлические стенки, куда-нибудь бы исчез на веки вечные. Пивоваренный завод, расположенный по улице Советской, был выкрашен в таинственный бордовый цвет, что никак не отражалось на качестве пива в холодный осенне-зимний период, а летом и весной, когда глотку сушит палящее солнце, не до суждений о вкусовых качествах прохладительных напитков — лишь бы кое-как утолить жажду. Если бы автор отведаль сметанки, произведенной маслосыркомбинатом, то нашел бы ее превосходной, потому что жирность в данном продукте ему претит, но о ней напоминает лишь надпись на этикетке, которую читают редко... Еще в городишке был зоопарк. Его следовало бы отнести к достопримечательностям, но пожалеем верблюдов и медведей, знакомых с голодом.

На этом язвительное повествование, кстати и некстати пересыпанное гиперболами, на какое-то время прекращается и начинается серьезный рассказ о тех, кто родился при Брежнев, рос при Горбачёве, а мужал при Ельцине. Они не знали друг друга до девяносто девятого года, учились в разных школах, имели разные интересы, но судьбе было угодно раз и навсегда соединить их в маленькой беседке у стен заштатного института за четыре месяца до того момента, когда по всей планете в трескучем морозном воздухе под завывания декабрьской вьюги закружатся в танце снежные хлопья миллениума.

Когда закончилась первая в их жизни пара по высшей математике, они вперед всех сбежали вниз и заняли уютную беседку, залитую уставшим осенним солнцем, быстро познакомились и стали наперебой делиться друг с другом первыми впечатлениями о вузе, в котором им дальше предстояло учиться долгих пять лет. После десятиминутной беседы выяснилось, что пока все без исключения метят на красный диплом, а дальше будет видно, потому что студенчество, как резонно заметил один из них, это не только учеба.

Они и не подозревали о том, что им вместе предстоит пройти. Им казалось, что пироги успеха с ватрушками счастья планируют в воздухе и надо только во время зевка не прикрывать рот ладонью — и в него обязательно залетит настоящая любовь или еще какая-нибудь шту-

ка, поперхнуться которой было бы так здорово. Заманчивые перспективы будущего роились в их головах, и они не позволяли себе даже сомневаться в том, что у них все получится, так как все шестеро имели крепкие тылы в лице своих отцов — бизнесменов средней и выше средней руки.

Пришло время познакомиться с ними поподробнее... Женоподобного парня, который непрерывно сыпал утонченными остротами, звали Артёмом Бочкарёвым. Он был высок, красив, широк в плечах и узок в талии — словом, из тех парней, от коих хрустальным звоном дребезжат сердечки глупеньких девчонок. Однако любовные признания задолго до поступления в институт ему до того надоели, что он стал намеренно уродовать свою внешность ультрамодными прическами и броской одеждой, отчего стал еще более притягательным, и стайки недалеких красавиц продолжали лететь на свечу, в безжалостном пламени которой неизменно сгорали. Когда в отношении слабого пола его душа уже окончательно, но еще не совсем бесповоротно окаменела, Артём почти перестал обращать на них внимание и общался с ними как с неизбежным злом. Чтобы заполнить возникший в сердце вакуум, который по издревле сложившимся традициям заполняют хрупкие создания, он переключился на автомобили. Но все-таки были у нашего автолюбителя четыре постоянные женщины: Артёма часто видели под ручку с госпожой Безответственностью; Легкомыслие, подобно доброй матери, целовало его перед сном; а миссис Ветреность не без оснований ревновала его к Непостоянству. Его называли душой компании, потому что на вечеринках он непрерывно жонглировал безобидными остротами, никогда не пьянел и мог поддержать любой разговор: все темы Вселенной он знал на два процента, а на остальные девяносто восемь бессовестно домысливал, за что на него никто не обижался.

От толстого парня, подсевшего к Артёму, веяло ядерной харизмой. Ясно, что ему не следовало даже открывать рот, чтобы вызвать к своей персоне глубокое уважение и боязнь. Но он заговорил, и ореол недосягаемости мгновенно улетучился. Яша Магуров оказался добродушным парнем, чем сразу же завоевал симпатии сидевших в беседке. Его обаяние не знало пределов. Он мастерски плел кружевные улыбки и мог за пару секунд убедить даже незнакомого ему человека, что тот приходится ему как минимум двоюродным братом. Если всем нам светит солнце, то Яше светила полуночная звезда его пращур Давида, который, как известно, не только метал камни во всяких Голиафов, но и завещал своим детям, внукам и правнукам быть загадочными, уступчивыми и плутоватыми. Магурова любили люди, и за это он платил им тем же, но при этом никогда не забывал брать сдачу, потому что сбалансированность в отношениях ценил превыше всего. Чтобы расшевелить еле тлеющие угли в его сердце, требовалось большое человеческое терпение или банальный отрезок женской ножки от того места, где заканчивается голенище сапожка. Бесспорным плюсом Якова было то, что его добрая душа, очень шедшая



обрызгшему телу, всячески противилась делению женщин на красивых и не очень, на что горделивым первым было почти глубоко наплевать, а обделенным вторым хотелось петь от близости человека, умевшего даже бесформенную талию обозвать «несравненным футуризмом». На тот же самый манер, каким строгие родители отвешивают подзатыльники непослушным детям, Яша отвешивал комплименты, а потом зажимал девушку в углу и закладывал дамские уши прекрасной чепухой, что в конце концов приводило или к постели, или к звонкой пощечине.

Перейдем к Васе Молотобойцеву. Грубоватые черты лица, неуклюжая походка и твердолобая прямота делали его похожим на простого мужика. Его раскатистый бас, казалось, рубил дрова, закидывая словесными щепками уши собеседников. Иногда на Василия находили периоды несносной правильности, когда он в грубой форме делал замечания всем подряд, упрекал людей в том, что они его не понимают, а потом на две недели запирался в своей комнате, пытаясь понять, в каком таком месте пускает свои корни вселенское зло. В такие дни добровольного затворничества он также сочинял героические песни, мысленно спасал мир, а затем, настроив душу на минорный лад, тренькал на гитаре о несчастной любви, о расплодившихся повсюду крысах и бомжах, о бедном и непонятом людьми плотнике по имени Христос и о том, как однажды к нему в дом ввалится обездоленный народ со словами «Иди, Васёк, отстраивать Россию». Частенько на старой гитаре от его чувственных пальцев с восторгом рвались струны, что, однако, никак не могло ему помешать допеть очередную песню до конца уже безо всякого инструментального сопровождения, только мешающего хорошему голосу. Какие бы возвышенные чувства ни обуревали Васю за время двухнедельного отрешения от падшего мира, он помнил о завтраке, обедал даже плотнее обычного, а ужинал аж два раза, убедив себя в том, что на сытый желудок совершить подвиг гораздо легче. Сосание под ложечкой и надоедливое бурчание в животе, думалось парню, не должны отвлекать его от дела спасения голодных и рабов, если вдруг представится такой случай. И только, надо отметить, вследствие такой убежденности он, боясь разбудить домочадцев, по-воровски крался к холодильнику ночью и, словно Мамай, не оставлял там пищи на пище. После поглощения всяческого сервелата, слоеных пирогов и ноздреватого швейцарского сыра Василий возвращался в свою комнату, ложился в кровать, минуты полторы размышлял о суете сует и тщете всего сущего, а затем забывался в крепком сне, в котором ежесекундно пушечно всхрапывал, вероятно от боли в сердце за всех и вся.

Низкорослый белоголовый живчик Вовка Женечкин был из той породы людей, которые и в двадцать, и в тридцать, и в шестьдесят лет остаются Вовками. Трогательно наивный, по-детски непосредственный, он любил подражать звукам милицейских сирен, животных, сливных бачков и стекающего по крышам дождя. Его младенческая душа давно настро-

ила великое множество параллельных миров, где он был безраздельным хозяином. Когда Вовка говорил, то в обычную земную речь постоянно перетаскивались странные образы и идеи. Его отвлеченное мироощущение привело к тому, что парня перестали воспринимать по причине инопланетного поведения, но любить — любили. Даже закоренелая сволочь считала святотатством обмануть мальчишескую доверчивость Вовки. Но и игнорировать его все без исключения тоже считали первейшей обязанностью. Он в совершенстве владел языком телодвижений, орудовал мимикой, как Чарли Чаплин, входил в образ с той же легкостью, с какой десятки тысяч людей ежедневно входят в московское метро, а любой герой, от имени которого произносил речи Вовка, казался настолько живым и реальным, словно сошел со страниц произведения.

Алексей Левандовский был высок, пылок, сухопар и порывист. Его пронзительный взгляд либо колол, либо резал, либо жалел, а мысль не знала покоя. Мятежник по духу, весельчак и неплохой оратор, он боялся проторенных троп, спокойного течения жизни и ненавидел фальшь. Алексей привык строго спрашивать с людей и требовал от них такого же отношения к себе. За ним не было замечено больших недостатков, но из мелких не составило бы никакого труда выложить вторую Великую Китайскую стену. Его философия сводилась к тому, что в мире существует только три цвета: бесчинствует превалирующий черный, корчится в агонии белый и, словно маятник, качается от одного лагеря к другому жесткий, справедливый и победоносный красный, принимая во мгле оттенки бордового, а на свету — безобидно-оппозиционного алого. Он пьянел от звуков барабанов и горнов. Пороховая гарь над полем кровавых сражений представлялась ему самым лучшим запахом на свете. Во сне он приступом брал Бастилию, оборачивал вспять отступающие дивизии, дрался на баррикадах, тонул вместе с «Варягом», переходил с Суворовым через Альпы, водружал над Рейхстагом изрешеченное пулями знамя и сидел в острогах за правду... В общем, мечтал.

Леонид Волоколамов был самым старшим среди своих новых знакомых. Накануне поступления в институт ему исполнилось двадцать лет. Внешне он напоминал голодного волка, который не видел добычи уже несколько дней, потому сильно похудел, утратил веру в быстроту ног, но еще не разочаровался в живости своего ума. Его поступки носили излишне рациональный характер. Он с математической точностью просчитывал развитие любой ситуации, а выдвинутые им гипотезы, казалось, должны были стать аксиомами для людей, занимающихся прогнозами на будущее. Но он ошибался, ошибался жестоко и часто, потому как забывал, что живет в непредсказуемой России, где даром провидца обладают только юродивые и святые. Об этой непреложной истине он догадывался, но перестроить свои взаимоотношения с людьми, подстроиться под окружающую действительность не мог, так как жил умом, а не сердцем. В какой бы компании ни оказывался Леонид, он быстро восстанавливал



людей против себя, несмотря на то что был интеллигентным и старался взвешивать каждое свое слово. Определенно можно сказать, что Лёня представлял собой парня, замечательного во всех отношениях, но чужого. А чужаков, имеющих неосторожность разговаривать на русском языке без акцента (впрочем, как и с акцентом), у нас недолюбливают.

Ребята по уму, образованности и развитию обгоняли своих сверстников на несколько лет, но их аттестаты о среднем образовании пестрели тройками. Дабы не прослыть ботаниками, они никогда не заикливались на оценках, а знания, которые они впитывали, были им нужны только для того, чтобы получить ответы на интересующие вопросы, а также главенствовать в компании ровесников.

Скоро им предстояло шаг за шагом пройти шелковый путь от ветреного школьника, падкого на всякую мерзость и несущественную ерунду, до — не стоит бояться этих слов — настоящего гражданина. Предвосхищая события, скажем, что однажды молодые ребята запасутся терпением, резиновыми сапогами и начнут без усталости маршировать по бескрайним просторам государства в поисках одинокой повозки по имени Россия. Отыскав ее, они займут вакантное место ломовой лошади и попробуют сдвинуть все четыре чертовых колеса с мертвой точки. А если ничего не получится сдвинуть (ведь и такая может случиться оказия), то никуда больше не пойдут, но останутся, при разгрузке ненужного хлама надорвутся, а потом займут круговую оборону и хотя бы попытаются сохранить то добро, которое было накоплено предыдущими поколениями...

Глава 2

Институт в городе N намеревался отпраздновать пятилетие. По меркам человеческих представлений ему следовало зваться не иначе как Антошкой, уплетающим за обе щеки манную кашу, но с момента своего основания новорожденное дитя решило нагло миновать все известные нам стадии развития и становления личности, заставив величать себя Антоном Сигизмундовичем. Не пришитые к делу и не ужившиеся в других образовательных учреждениях кандидаты и кандидаты в кандидаты наук бросились устраиваться на работу в новоиспеченное детище постперестроечной эпохи. А оно, не растерявшись, приняло всех с распростертыми объятиями и в дальнейшем пожалело только о том, что назначило высокую зарплату, тогда как на первых порах можно было обойтись не просто нищенским, а вообще никаким вознаграждением за труд. Преподаватели рвались в бой, ректор не жалел денег на приобретение книг и учебников лучших отечественных и зарубежных авторов, три аудитории были оснащены компьютерами. Кирпичное здание в пять этажей, некогда являвшееся общежитием для студентов, учившихся в ГПТУ-57, формально приобрело статус института, но от этого быть общагой отнюдь не перестало. Можно переделать жилые комнаты под аудитории, избавить

полы и стены от винно-водочного запаха, но вытравить дух вольницы из потолков не сумеют никакие евроремонты. Так и произошло.

Анархия продержалась в вузе целый год. В первые же месяцы после своего рождения Антон Сигизмундович подарил городу сотни легенд о нестандартных методах обучения, которые заключались в том, что преподаватели не просто проводили пары, а будоражили мысль студентов, сталкивали лбами мнения, терзали неопытные умы новыми идеями и разработками, распяляли воображение, травили сильных ребят, доводили до кипения слабых и сжигали на эфемерных кострах инквизиции тех подопечных, которые выказывали равнодушие к предмету. Молодые люди не шли в институт, они бежали туда сломя голову.

Ошеломляющие результаты первой аккредитации потрясли скептиков. Молодой институт за глаза окрестили рассадником будущих квалифицированных специалистов, вольтерьянцев и патриотов. В институте не готовили специалистов словно яичницу на сковородке. Там их творили, как могут творить только талантливые скульпторы, которые в банальной гранитной глыбе видят Неизвестного солдата с малюткой девочкой на руках. Слава об Антоне Сигизмундовиче (будем в дальнейшем называть вуз так, чтобы никого не скомпрометировать) разнеслась по ближайшим городам и весям, несмотря на то что до первого выпуска было еще далеко. Маманы и папаны, переживавшие за судьбу своих чад, перестали терзаться сомнениями по поводу выбора учебного заведения. «Какие там оксфорды! Долой кембриджи! Пропади все пропадом, а также гарварды! Детей — на выкорм к Антону Сигизмундовичу!» — истошно вопили родители.

Как и следовало ожидать, неразумное дитя, решив, что оно уже большое и вполне самостоятельное, зазналось и подняло оплату за обучение. Прокатившись с ветерком на волне популярности, институт сорвал неплохой банк, а потом испортился, как это всегда бывает, когда в воспитательный процесс вмешивается денежный паводок. Финансовые потоки смыли анархию, словно какой-нибудь зловонный эпизод в общественном туалете. Плюс ко всему началась кампания по дискредитации Антона Сигизмундовича, потому что он стал опасен; в местных газетах появились заметки с такими заголовками: «Угомонись, Антошка», «Негосударственный вуз ведет себя как государственный», «Слишком хорошо — тоже нехорошо».

Статую Свободы свергли с пьедестала. Перед входом в учебное заведение воздвигли памятник диктатуре, в поднятую руку которой вложили польный череп. По прошествии некоторого времени мутная вода спала, и на горизонте высветился островок демократии. Неизведанное чудо показалось из мутной жижи, но потом оказалось, что всем просто показалось. Новый монумент приказал инакомыслию долго жить, и оно умерло.

Институт произвел зачистки. Неумные преподаватели, принесшие вузу честь и славу, были преданы анафеме и уволены. Ректор объяснил



этот шаг тем, что молодому учреждению отныне следует плыть по течению, довольствоваться скромной ролью шлюпки, войти в полосу тумана и лечь в дрейф, пока вокруг не улягутся бури негодования со стороны властей и штормы зависти, насылаемые другими вузами. Реакционный курс привел к студенческим бунтам, которые были жестоко подавлены на зимней сессии второго года. Двадцать храбрецов выбросили за борт, не дав им даже опомниться и как следует хлопнуть дверью в кают-компанию. Отчисления грозили принять характер поголовных, но часть ребят пожалела заплаченных за учебу денег и приспособилась к новым условиям, часть успокоилась в надежде на глобальное потепление, еще часть перебралась в андеграунд, откуда чертыхалась в адрес ректора и его лизоблюдов, попутно вспоминая славные дни, когда позволялось почти все, но этим никто не пользовался...

Промчались годы. Несмотря на то что студенческая вольница была вздернута на рее, качество образования в Антоне Сигизмундовиче подерживалось на нормальном среднем уровне. Никаких там тебе прений, политических баталий, творческих подходов и прочей мишуры, должных зажечь пламенный огонь в сердцах юношей и девушек. Нива образования колосилась обычной рожью, давала низкие стабильные урожаи и убиралась старыми комбайнами. Имея все предпосылки для производства сдобных булочек, печатных пряников, хрустящих вафель и пирогов с семгой, институт, однако, решил ограничиться выпуском ржаных лепешек, стандартизированных и сертифицированных. Валовая выпечка штампованных менеджеров высшего и среднего звена, подернутых грибковой прозеленью, наверняка бы завершилась тем, что ее бы не стали покупать на и без того переполненном рынке труда, но в дело вмешался его величество случай: в августе девяносто восьмого ректора избрали в местный парламент, и на капитанский мостик поднялась красивая женщина средних лет с уставшими глазами побежденного, но несломленного коммуниста. Взгляды, привитые ей комсомолом в юношеские годы, не стали разменной монетой в эпоху либеральных преобразований. Как честный человек, переживающий за судьбу страны, она не плевалась в адрес реформаторов, а с содроганьем наблюдала за тем, как обогащались ее бывшие соратники по партии, сначала пересмотревшие свои политические убеждения, потом — общечеловеческие нормы морали, далее — охотно подпавшие под власть золотого тельца. Она видела, что в ренегатов превратились не все, но многие. Молодемократы тоже показали себя не с лучшей стороны, но ее не радовали их бесчисленные провалы, потому что в истинном гражданине идеолог никогда не убьет человека.

Студенты — вот на кого она теперь надеялась, к ним устремлялись все ее помыслы, для них она намеревалась пожертвовать многим, так как, будучи хорошим психологом, разглядела то, что многим еще только предстояло разглядеть...

Глава 3

Старшекурсники, битые жизнью и сессиями, зевали.

Шумное сборище неугомонного племени первокурсников, искрившееся заразительным смехом, гвалтом безудержного веселья, девичьими перешептываниями, взорвалось тишиной, когда перед входом в институт появились два молодых человека. Один был одет в черный костюм, голубую рубашку, связанную синим галстуком, и широкополую шляпу, глубоко сдвинутую на лоб, вероятно для того, чтобы лицо оставалось скрытым от любопытных взглядов. Другой — в ботинки а-ля бульдожья морда, темно-зеленые брюки на черных подтяжках, рубашку в клеточку и серую кепку, по форме напоминавшую патиссон.

Оба парня защитили дипломы в июне девяносто девятого, при этом наш повзрослевший Антон Сигизмундович облегченно вздохнул, так как наконец-то избавился от двух буйнов-подпольщиков и подобных им архаровцев, которые вплоть до самого своего выпуска не переставали баламутить воду в институте с намерением вернуть славный девяносто четвертый. Неожиданное появление служащего Сибторгбанка, нашедшего работу по профессии, и бригадира старательской артели, устроившегося на предприятие своего отца, никогда бы не вызвало такую мертвую тишину, если бы не одно обстоятельство. То ли несколькими преподавателям, спустившимся покурить на перемене, основательно напекло голову, то ли еще по какой причине, но они, словно какие-нибудь школьники, сорвались с места и, бесцеремонно расталкивая растерявшихся первокурсников, быстрым шагом направились к недавним выпускникам. Как потом утверждали очевидцы, некоторые звероподобные кандидаты наук не только крепко пожимали руки молодым людям, но при этом даже не стеснялись нагружать свои гофрированные позвоночники легким поклоном. Весь честной народ, стоявший на улице, за исключением равнодушных представителей старших курсов, начал переглядываться, а некоторые студенты не преминули воспользоваться новым поводом для насмешки и стали копировать странное поведение едва знакомых им преподавателей, о чем, к слову сказать, в дальнейшем пожалели.

— Прямо панибратство какое-то развели, — соорудив на лице гримасу самодовольства, осмелился нарушить молчание рыжеволосый студент из молодых.

— Как думаешь, Семён, доживет ли этот зашкаливший борзومتر до зимней сессии? — спокойно спросил студент третьего курса Вадим Горчичников у своего товарища.

— Дожить-то доживет, а вот пережить — не переживет, — прозвучал ответ.

Но молодой студент не собирался успокаиваться:

— Я говорю — панибратство какое-то развели.



Вадим Горчичников протяжно зевнул и со скучающим видом заметил:

— К этому невоспитанному олуху, господа, прошу отныне применять прошедшее время: родился, вырос, с горем пополам окончил школу, поступил в институт, отчислен... Кстати, Пузырь с Митрохой что-то больно спокойно себя ведут. Помнится, было время, когда зарвавшийся «лимон» огребал и за меньшее.

— Так они теперь дипломированные специалисты, — сказал Семён. — Несерьёзно им со всякой полуграмотной шелупонью связываться.

Тем временем Пузырь и Митроха, вдоволь наговорившись со своими, теперь уже бывшими, преподавателями, зашли в беседку, сели на скамейку, колким взглядом обвели ребят, которых мы представили читателю, и завели такой разговор.

— Не правда ли, Пузырь, перевелся ныне студент? Ни петь, ни рисовать, ни на дуде сыграть, — начал Митроха.

— Правда, чистая правда, дружище, — ответил Пузырь, снял шляпу, достал из кармана пиджака папиросы «Беломорканал», закинул ногу на ногу и закурил.

— С прискорбием должен тебе заметить, что и людей-то не осталось, — ехидно заявил Митроха и расплылся в улыбке. — Не люди — гупешки аквариумные. От тополей — и то больше проку. Те хоть кислород выделяют.

— Конечно, не хотелось бы выражаться в присутствии distinguished «лимонов», но выделительная система человека по-прежнему выдает...

— ...гнусь. Ты ведь хотел сказать — гнусь, Пузырь?

— Ой ли, дружище? Вещи давно напрашиваются на то, чтобы мы стали называть их своими именами... Знаешь, на ум почему-то пришла история о нашем с тобой товарище. Надеюсь, в кладовых твоей памяти сохранилась история о Хоботяре?

— Да-а, — протянул Митроха. — Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Хоботяре.

— Озвучить ли ее, мой друг? Уместно ли сейчас?

— Самое время, самое время, — утвердительно закивал головой Митроха. — Но только коротко, предельно сжато, иначе лопнешь от напряги и в подлунном мире станешь одним замечательным человеком меньше.

— Хорошо... Жил Хоботяра, месил Хоботяра, вышибли Хоботяру, но люди не забывают о нем, пример, так сказать, берут... Ну как?

— Сама лаконичность должна гордиться тобой, а теперь уходим.

У всех шестерых первокурсников, сидевших в беседке, проступили на лице признаки агрессии: у одних — ярко выраженной, у других — еле заметной.

Молотобойцев взорвался первым:

— А ну, стоять! Вы на кого это тут намекаете?

— А намекают они на то, что я, ты, да и все мы — навозные черви, копошащиеся в вонючем дерьме! — вскипел Левандовский. — Это трудно понять из их диалога.

Магуров лениво потянулся, кое-как заставил свое грузное тело оторваться от скамейки, соорудил на своем лице что-то вроде недовольства по поводу всей этой мышинной возни, шагнул к выходу из беседки и загородил его. Загородить в Яшином случае означало — наглухо замуровать.

— Мы ждем ответа, господа, — спокойно заметил Волоколамов. — Я знаю Яшу два часа, но уже успел разглядеть в этом гиганте дикого зверя, не подозревающего о существовании слова «милосердие». Надеюсь, я не ошибся в своем предположении?

— Хотелось бы тебя разочаровать, однокурсник, но вот этими вот руками я действительно могу разорвать льва, — ответила «живая дверь».

— А слонов ты случаем не выгуливаешь на поводке? — подключился Бочкарёв.

— В далеком детстве бывало и такое... Так-то я вообще пакостный был. Играл в футбол Юпитером, бодался с носорогами, выпивал до донышка Байкал, дрался с динозаврами, сбивал из рогатки...

— Неужели — птеродактилей? — улыбнулся Бочкарёв.

— Нет, космические ракеты. За это мама лупила меня металлической хлопушкой размером со Вселенную, а папа ставил меня...

— ...на противотанковые ежи! — вырвалось у Бочкарёва.

Пузырь с Митрохой не выказали и тени страха. Дерзкое поведение юнцов провоцировало их на ответные действия, но они понимали, что напросились сами, а «лимоны» просто отстаивали свое достоинство.

— А я никуда не тороплюсь, Митроха, — сказал Пузырь. — Вижу, что ты тоже. Посидим, поговорим с молодежью. За жизнь поговорим, просветим их в плане того, что было и могло бы быть. Возможно, они и хорошие ребята. Кто их сейчас разберет... Они готовились перейти в седьмой класс, когда мы переступили порог этого института. — Голос Пузыря упал. — Мы были полны надежд, помнишь?

— Да.

— Мы влюблялись, дарили девушкам цветы, строили планы на будущее. А как мы дружили, помнишь? Я тебя спрашиваю: помнишь ли ты, как мы дружили?

— Не надо, Пузырь...

— Нет, пусть знают, как мы дружили! Так уже не дружат, черт тебя подери, Митроха!

— Замолкни!

— Колю Волнорезова, Димку Брутова, Стёпку Круглова помнишь?

— Заткнись! — побагровев от ярости, бросил Митроха.

— Нас было пятеро, мы зажигали на вечеринках, пили водку, упивались свободой, гуляли до зари, стояли друг за друга, когда кто-нибудь попадал в передрагу... Помнишь?

— Твой язык надо вырвать с корнем! — взревел Митроха. — Заглохни!

— Нас было пятеро. А сейчас сколько? Сколько нас осталось на выходе? Я тебя спрашиваю!..

— Двое! — рассвирепев, закричал Митроха. — Ты же сам знаешь, что нас осталось только двое!

— А где еще трое? Где? Куда подевались еще три человека? Отвечай!

— В земле, гад!

— А мы *на* земле, гад! — пригвоздил железный голос Пузыря. — И будь я проклят, если эти молокососы не дослушают меня до конца... Я вижу, что они заерзали. Им надо бежать на пары, Митроха. Им не терпится поднабраться ума, дружище, а мы тут с тобой нюни разводим. Этим ребятам ничего не грозит. Они попали в хороший институт. Их все-му научат, дружище.

— Ты действительно веришь в это? — вытерев лицо кепкой-патиссоном, отрешенно спросил Митроха.

— Верю, свято верю. А как же не верить-то? Во что же тогда остается верить, если не в это?.. А помнишь, как Волнорезов играл на гитаре? Наш местный Бродвей оживал, когда он пробегал по струнам. Машины сбавляли ход, чтобы услышать его пронзительно-чистый голос. Люди выходили на балконы при звуках его песен. Под него засыпал и с ним просыпался город. Коля ни разу не выезжал за пределы города, но казалось, что он побывал везде и перевидал все — так он пел!

— Я тоже слабать могу, — позволил себе заметить Молотобойцев.

— Слабать и я смогу, парень, — усмехнулся Пузырь. — А так, чтобы земля содрогалась, так, чтобы рождаться с началом песни и умирать на последнем аккорде... И кем их теперь заменить, пацаны? Это... как в футболе. Три кроваво-красные карточки не подрывают командного духа, но силы противников становятся неравными. Трибуны режут и требуют гола, но коллектив, лишенный ключевых игроков, вынужден перейти к обороне и выстраивать стену на подступах к штрафной площади. Проходит какое-то время, и ноги футболистов, играющих в меньшинстве, наливаются свинцом. В обороне возникают бреши, голы сыпятся один за другим... Мы не вышли в финал. Нас было пятеро, осталось двое.

— Девяносто пятый год. Три человека отчислены из института за неуспеваемость и призваны в ряды вооруженных сил... Гражданская война, — бесстрастно произнес Митроха.

— Первая чеченская кампания, — осторожно поправил Лёня.

— Когда свои убивают своих на своей территории — это гражданская война! — злобно процедил Пузырь.

— Там было полным-полно наемников из Прибалтики и арабских государств, эта война не может называться гражданской, — твердо произнес Левандовский.

— Когда-то белым тоже помогали интервенты, — отрезал Митроха. — Федералы гибли за целостность России, чеченцы — за независимость Ичкерии, уроды — за деньги...

Несколько минут длилось молчание.

— Я думаю, что все не так просто, — сказал Бочкарёв. — Правда металась от федералов к сепаратистам долгое время, не зная, к кому примкнуть, но... Но потом стали происходить страшные вещи. В чеченском лагере борцы за свободу слились с наемниками и ваххабитами, переняли у уродов антигуманные методы ведения боевых действий, и правда закрепились за нашими войсками.

— А разве уместно говорить о правде на войне? — удивился Женечкин, до этого не произнесший ни слова. — Люди убивают друг друга, а у них мамы, жены, дети дома плачут. Давайте лучше яблони сажать, встречать рассветы в горах, любоваться закатом, собирать ромашки в поле.

— Откуда ты такой взялся? — с недовольством спросил Митроха. — Первый раз таких странных вижу. Бред какой-то несешь.

Женечкин чихнул, несколько раз моргнул, а потом серьезно произнес:

— Так-то с Краснотуганска, а вообще-то... — Он осекся, когда увидел устремленные на него сочувствующие взгляды, поэтому не стал распространяться о том, как в своих грезах поедал синюю землянику и ночевал в лунном кратере. — Я ведь шучу, а вы и поверили. Пойду на пары, устал я с вами.

— Так тебя никто не держит, — расплылся в улыбке Магуров. — Иди, братишка.

— Я бы с радостью, да не могу. Ваша злоба мне с места сорваться не дает. Вроде все хорошие люди, а цепляются друг к другу. Дайте уйти, пожалуйста. — Женечкин увидел, что его вновь принимают за сумасшедшего. — Шучу, пацаны. Вот вы и опять поймались... Конечно, могу уйти, но уже передумал. — На лице Вовки неожиданно появился испуг, хотя для появления страха не было никаких предпосылок. — Вы меня, Пузырь и Митроха, простите, что я какую-то фигню сморозил. У меня ведь ветер в голове. Так мама с папой говорят... А за друзей ваших не переживайте. Они достойно погибли.

— Кто дал тебе право рассуждать об этом?! — с негодованием спросил Пузырь.

— Да ведь понятно же! — вскрикнул Женечкин и, согнувшись, схватился за сердце...

Глава 4

Июль девяносто пятого года. Война.

Уже полгода в республике не затихали бои. В чеченское пекло вводили свежие батальоны, и древние горы Кавказа сотрясались от топота армейских сапог. Танки, бронетранспортеры, боевые машины десанта, пушки и минометы полосовали израненную землю адской сталью смертельных снарядов, не зная, не желая даже знать, откуда проклянутся зерна безжалостных воинов, засеянных на пашне Ареса, фанатично преданных делу убийства, своим полевым командирам и скрытной тактике ведения боевых действий, которую называют партизанской.

Мобильные отряды вооруженных до зубов сепаратистов под покровом ночи спускались с гор, терзали занятые федералами города и аулы, убивали предателей, собирали у информаторов сведения о перемещении вражеских колонн и уходили в свое звериное логово зализывать раны, полученные в непродолжительных стычках с частями Российской армии. На этой войне не было передовой, ширококомасштабных наступлений, фронта и тыла. Здесь правили снайперы, лесные растяжки, фугасы и мины.

У незнакомого большинству россиян чеченского поселка на безымянной высоте располагался блокпост.

— Отделение, равняйся! Смир-р-рно! Гвардии младший сержант Волнорезов, выйти из строя! — рявкнул старшина Кашеваров. — Вы совсем охренели, мать вашу так! По линии контрразведки до меня дошли сведения, что воины-десантники, подчиняющиеся непосредственно мне, самовольно оставляют рубежи, которые доверила им Родина!

— По какой, по какой линии?.. — вмешался рядовой Брутов.

— По такой-разэтакой, мистер куриный мозжечок! Пожизненный наряд вне очереди! Не слышу, солдат!

— Есть!

— После афганской контузии мне заложило уши! Не слышу!

— Есть, товарищ старший прапорщик! — выпалил Брутов.

— Не могу разобрать твоих слов, гвардии ничтожество! Может быть, ты смеешься над своим командиром?!

— Так точно! — Сдержанные смешки в строю. — То есть... никак нет!

Старшина Кашеваров по прозвищу Кощей был взбешен. Военный до мозга костей, обветренный, как скала, худощавый и подтянутый, со шрамом на правой щеке, он был доволен тем, что подчиненные боятся его как огня. Жена ушла к другому, когда узнала о тяжелом ранении мужа под Кандагаром в Афганистане. После выхода из госпиталя, в котором он пролежал три месяца, проклиная всех женщин на свете, Кашеваров не скурвился и не спился, но семьей решил больше не обзаводиться. Его женой стала армия, детьми — солдаты, воспитывать которых, по его мне-

нию, было уже поздно, но перевоспитывать — самое время. Изнеженных слюнтяев, которых государство отрывало от мамкиной юбки и на два года передавало ему в руки, он превращал в настоящих мужчин и гордился тем, что после его школы жизни дембеля будут с ненавистью и уважением вспоминать старшину Кашеварова, который отдавал приказ грызть землю, и все грызли, потому как саперной лопаткой для рытья окопов пользуются сосунки из пехоты, а гвардейцы-десантники имеют ротовую полость не для того, чтобы задавать глупые вопросы, а как раз для оккупывания по периметру.

— Кто осмелился подсыпать пурген в чай своего боевого командира и таким способом хотел сжить его со свету через вонючую диарею? Кто решил, что в дневном рационе солдата должны присутствовать не только консервы, но и козье молоко, купленное позавчера у местного населения? Хотите, чтобы вам глотки перерезали?.. По чьей наводке, рядовой Брутов?

— Я! — вышел из строя Брутов, преданно глядя в лицо Кощя.

— Что — «я», недоделок?!

— Это сделал я... по наводке ефрейтора Круглова, которого подослал младший сержант Волнорезов, который, увидев, как загибается от недостатка витаминов рядовой Прунько, посоветовался с остальными, и они вместе решили...

— Отделение, равняйся! Смир-р-р-но! Марш-бросок — на восток! Конечная цель — остров Сикоку! Задача: добежать до места и принять неравный бой со Страной восходящего солнца! Две минуты на сборы! Полная выкладка! Кто посмеет вернуться живым, будет причислен к предателям и расстрелян на месте! Брутов — первый, я — замыкающий! Есть вопросы, сброд?

— Никак нет! — хором ответили бойцы.

Уже четыре часа гвардия бегала вокруг блокпоста, завидуя двум счастливицам, которые несли службу на мосту в ста пятидесяти метрах от места дислокации десантного отделения.

— Товарищ прапорщик, Япония — это ведь дружественная нам страна... — позволил себе заметить Волнорезов.

— Сегодня — дружественная, а завтра Курилы оттяпать захочет! — рявкнул Кощя, а потом добавил: — А за пререкания с командиром будете переправляться через Тихий океан вплавь. Мы уже как раз приближаемся к воде. Приготовиться принять положение пластуна!

— А жрать мы сегодня будем или нет?! — проскрипел Брутов.

— Когда Отечество в опасности, настоящий воин должен забыть о жратве! — крикнул старшина. — Держать темп, оголодавшие девицы!

— Не могу больше! — пробормотал ефрейтор Круглов и упал на землю.

Первая потеря несколько не расстроила Кощя, и он отдал приказ:



— Убитого взвалить на себя, младший сержант Волнорезов. Негоже бросать свои трупы в чужой земле.

— Есть! Брут, дуй за плащ-палаткой! Не переживай, Круглый! Всё в норме!

Так продолжалось изо дня в день: изматывающие марш-броски, стрельбы, рукопашные бои, конспектирование и обсуждение политической ситуации в стране и мире, чистка оружия, подновление фортификационных сооружений и парко-хозяйственные работы.

На следующее утро после описанных выше событий чеченскими боевиками было атаковано несколько блокпостов.

Чеченский пастушок, мальчик лет восьми — десяти, понял, что оказался в кольце огня, когда увидел, как неожиданно с разных сторон, рассекая ночную мглу, к блокпосту понеслись пунктирные линии трассеров.

Зашипела рация:

— На связи полевой командир Дзасоев.

— Слушаю, Дзасоев, — ответил старшина.

— Нам нужен мост, командир. Сдавайтесь, и я пощажу тебя и твоих людей. Если не послушаешь меня, сровню высоту с землей, и она станет равниной. Нас двести человек. На каждого твоего — по двадцать. У тебя минута. И помни, что матерям твоих бойцов не нужны «двухсотые».

— У тебя хорошие связисты и железная логика, Дзасоев, — холодно бросил Кощей. — И ты даже наверняка в курсе, что этой ночью мне было велено заминировать мост. Передай той штабной крысе, которая тебя проинформировала, что, получая приказ, я не дожидаясь утра, а исполняю его немедленно.

— Блефуешь, командир... Я бы знал, — засмеялся Дзасоев.

— Ты меня раскусил. Я в панике. Дрожу, не соврать бы, как осиновый лист на чеченском ветру. Но, как говорится, потрясусь, потрясусь — да и перестану. И совладаю я со страхом в тот момент, когда первая твоя машина в колонне сунется на мост. Подобью ее, потом укукошу последнюю, а вот середину обещаю не трогать — сама погибнет. Так зловредные духи шутовали с нами в ущельях Афгана, и уроки той войны не прошли для меня даром.

— Где ты воевал? — прозвучал по рации вопрос.

— Под Кандагаром.

— А я — под Баграмом, и нас однажды предали. Вас наверняка тоже не раз предавали, и ты это знаешь. Подмоги не жди. В тридцати километрах отсюда в «зеленке» — засада, и бэтээры не подойдут к вам. Пощади своих людей. Я даю тебе слово афганца, что в память о тех днях, когда мы воевали под одним флагом, я сохраню жизнь твоим десанникам, если ты поведешь себя благоразумно и сдашься.

— Хорошо... Я согласен принять твое предложение с небольшой оговоркой. Мы выйдем с поднятыми руками в том случае, если ты не только никого не тронешь из оставшихся со мной, но и оживишь солдат,

которым вы перерезали глотки у моста. Надеюсь, во фляжках твоих людей есть живая и мертвая вода. А вообще-то... я не верю тем, кто преступает через присягу.

— Я присягал Союзу! России я никогда не присягал! Жду ответа от тебя, иначе плохо вам будет.

— Мой ответ — нет! Попробуй взять нас, Дзасоев!

— Жаль. Ты мне нравишься. Тем хуже для тебя. От связи с твоим командованием мои тебя отрубают. Все. Конец связи.

Боевики обложили блокпост плотным кольцом. Старшина Кашеваров понял, что он и его бойцы обречены.

— Ничего, сколько-нибудь продержимся, — пробурчал старшина себе под нос, подозвал Брутова и приказал: — Две красные, одну белую!

Сигнальные ракеты взвились в небо, предупреждая кого следует, что в квадрате 333.746 завязался бой.

— Стёпка! Круглов, твою мать! Живой? — крикнул младший сержант Волнорезов своему другу, прижавшись спиной к мешкам с песком и меняя магазин автомата.

— Я-то? А че мне сделается? — прозвучал ответ. — Воюем! Че надо-то?

— Че, че... В очо! Пацан там чеченский с баранами... Знаю его. Кажется, Аслан... Справа внизу!

— Да вижу, вижу, Коля! Че делать-то? Не уходит ведь! Отец ему за баранов башку оторвет, н-на! Знаю этого горца, н-на!

— Че ты накаешь? В штаны наложил, что ли? Тащи ватман и маркер! Мухой, н-на!

Круглов метнулся в палатку, где хранился провиант, взял в правом ближнем углу свернутый в трубочку ватман, на котором любил рисовать в свободное время, и подбежал к Волнорезову:

— Все принес! Дальше-то че? Рисовать, что ли?

— Стёпа, ну ты баран! Внизу бараны — и наверху один! Если бы ты на лекциях поменьше художествами занимался и побольше за преподами записывал, то наверняка не оказался бы в этом дерьме! Баран, бараном и подохнешь!

— Взаимно, Коля! Меня — живопись, а тебя семиструнная сюда завела! Говори толком!

— Пиши маркером крупными буквами: «Вывести пацана и стадо. Один от вас, один — от нас»...

— Как думаешь, подействует? — задал вопрос Круглов, когда вывел последнее слово.

— Отделение, слушай мою команду! — вместо ответа закричал Волнорезов. — Прекратить стрельбу!

Услышав преступный приказ, старшина со всех ног бросился к сержанту. Ударив подчиненного прикладом по челюсти, прохрипел:

— Пристрелю, сука!

— Стреляй, — процедил Волнорезов, выплюнув два зуба. — Все одно — помирать!

— Товарищ старшина, пацан там! Аслан из соседнего аула... Спасти бы! Вот на ватмане накалякали! — заслонив друга, вступился Круглов.

— Что раньше молчали, писаря гребаные? — вмиг остыл Кощей, а потом зычно рявкнул: — Прекратить стрельбу!

Осажденный бастион затих. Наступило утро. Небесный дискобол, на протяжении миллионов лет метавший раскаленное солнце с восхода на закат, дарил последний день русским десантникам.

Полевой командир Зелимхан Дзасоев заметил, что противник прекратил стрельбу. Вооружившись биноклем, он стал внимательно осматривать укрепленный блокпост федералов, пока не обнаружил причину странного молчания десантников. Прочитав надпись на ватмане, Дзасоев отдал приказ о прекращении огня и, подозревая одного из боевиков, сказал:

— Соберешь стадо и выведешь мальчишку из огня. Один из русских поможет тебе. Пошевеливайтесь. У нас не так много времени... И все-таки эти без пяти минут мертвецы — хорошие солдаты. Клянусь Аллахом, мне жаль, что они встали у нас на пути.

И словно не было войны.

Младший сержант Российской армии Коля Волнорезов снял китель, сбросил сапоги, закатал до колен брюки, лихо сдвинул голубой берет на затылок, улыбнулся, засунул загорелые руки в карманы и, насвистывая какую-то веселую мелодию, бодрым шагом направился вниз.

— Ты смотри-ка, бард в пастухи заделался! — с завистью пробормотал ефрейтор Круглов.

— Что ты там мямлишь, сынок? — задал вопрос Кощей.

— Это я так, товарищ старшина. Сам с собою.

— Что-то мне твой голос не нравится. Съешь немного?

— Боюсь! Да, боюсь! А чего такого? Это мне задачу выполнять не мешает, — с вызовом в голосе пробурчал Круглов, а потом задумчиво продолжил: — Колька всегда и во всем был первым — на студенческих пирушках, в драках и любовных похождениях. Я всегда завидовал ему. Один он у матери, товарищ старшина. Она в нем души не чает. Вот я, к примеру...

— Отставить! — перебил Кощей. — Бог собрал на этой проклятой высоте отборную гвардию, и ты ничем не хуже твоего друга.

— Да вы только посмотрите на меня. Несклепистый тюфяк, лицо — тляпкой. Сам не знаю, как Волнорезов с Брутовым меня к себе подтянули. Они ведь никогда не давали мне почувствовать свою ущербность. Бывало, вляпаюсь в какую-нибудь историю, а эти уже тут как тут. Волнорезов самого черта мог заговорить и убедить его в том, что Степан Круглов успеет подготовиться к зачету, закроет долги перед сдачей экзамена. Подшучивал он надо мной, конечно, тупорылым идиотом обзывал, но это у него от избытка энергии и эмоциональности. Мятающаяся душа и светлая

голова, он всегда страдал оттого, что не может найти для себя настоящего применения. Оголенный нерв, в общем. А Брутов... Когда раздавали смелость...

— Я бы сказал — наглость и пакостность, — прервал старшина.

— Не знаете вы его, — зло бросил Круглов. — Его наглость — от глубоко запрятанной стеснительности, пакостность — от любви к разнообразию. Никто не знает, что у него очень чувствительная душа.

— А жрать мы сегодня будем или нет?! Голодным я подышать не намерен, товарищ старшина! «Не хлебом единым» — это не по мне! А вот мясом и салом — самое то! — прокричал веселый голос, который, без сомнения, принадлежал чувствительной душе.

Круглов замялся и пожал плечами, а Кощей не замедлил с ответом:

— Пообедаем с тобой в аду, Брутов! Там уже ждут пополнения! Я, как старший по званию, сразу же назначу тебя в наряд по кухне! Прапорщик Сатанинский уже доложил мне с того света, что котлы не чищены!

— Согласен! — отозвался Брутов. — Но с одним условием! Ужин в этих котлах я сварганю из вас, товарищ старший прапорщик! Думаю, что грешники оценят кашу из старшины!

— А поперек горла не встану, сынок? — рассмеялся Кашеваров.

— Никак нет! В капусту вас искрошу!

— Выходит, обедаем в аду?

— Так точно!

— Смотри, сынок! Не подведи своего командира!

В это время у подножия высоты, богатой густой и сочной травой, пытались сбить в кучу перепуганных животных чеченский боевик и русский солдат. Сначала их действия по сбору стада напоминали бессмысленную беготню. Коля и Умар, настроенные друг против друга, не желали реагировать на призывы раскрасневшегося мальчика объединить усилия.

— Ну вы!.. Ну вот!.. Ну вот опять все не так!.. Зря ты туда побежал, потому что тебе надо было сюда, а не здесь!.. Без вас я и то быстрее справлюсь! — запальчиво воскликнул парнишка, уже оправившийся после недавно пережитого потрясения.

— Да куда — туда-то? — развел руками Волнорезов. — Ты лучше этому, Аслан, скажи, чтоб он с того боку зашел!

— Хорошо, Коля. Сейчас скажу, только тебе туда надо. Не ходи возле меня, а то так до вечера не соберем, — заметил пастушок покровительственным тоном и указал пальцем место, куда надо было переместиться десантнику. — А ты... Как там тебя? Умар ведь? Там и оставайся! Все, все, не двигайся! Я их сейчас на вас, в коридор погоню!

Федерал и сепаратист стояли рядом и провожали взглядом Аслана, уводившего стадо в аул. Они старались не смотреть друг на друга, но думали об одном: о том, что глупо и страшно теперь стрелять и убивать,

после того как они помогли маленькому мальчику; о том, что война — грязное чудовище, нет в ней никакой романтики, а только непрерывный страх, вялое ожесточение сердец, выворачивающая кишки дизентерия, хроническое недосыпание, вечное неустройство и усталое равнодушие к чередованию жизни и смерти перед глазами.

Пастушок вдруг вздрогнул и обернулся, словно вспомнил о чем-то. Его глаза расширились, по телу прошла судорога. Увлечшись сбором стада, Аслан на какое-то время забыл о том, что была стрельба, а потом неожиданно прекратилась. В момент затишья он был озабочен только тем, как вывести баранов, сколько его блеющих подопечных убито, сколько ранено и как ко всему этому отнесется отец. Когда стадо оказалось в безопасности, он восстановил события раннего утра и все понял, а уже в следующую секунду со всех ног бежал к своим спасителям. Споткнувшись несколько раз и разбив при этом колени в кровь, пастушок подбежал к молодым парням и обнял обоих. Слезы душили Аслана.

— В-вы-ы... в-вы-ы! Не н-над-до! Пог-гиб-бнете! — всхлипывал пастушок.

— Что ты, что ты... — грустно улыбнувшись и погладив мальчика, стал успокаивать Волнорезов. — Все будет хорошо, не плачь только.

— Я и не плачу, — гордо выпрямившись, шмыгнул носом пастушок.

— Он не плачет. Он — настоящий джигит. Я, русский Коля, твой отец, тейп, к которому ты принадлежишь, — мы все гордимся тобой, Аслан, — бесстрастно произнес Умар.

— Правда? — слизнув зеленую капельку, повисшую на носу, воскликнул мальчик и весь засветился от сдержанной похвалы своего земляка.

— Правда, — произнес Волнорезов и надел на Аслана берет.

— Правда. Ты не бросил баранов, которых тебе доверили. Ты поступил как настоящий мужчина... А теперь тебе надо уходить. Я, как старший, приказываю тебе, — строго сказал Умар.

— Я понял. А вы? — спросил пастушок.

— Мы остаемся. Всё. Беги, — подтолкнул мальчика Волнорезов.

Умар погиб спустя десять минут после возобновления боя.

Два часа огрызалась высотка, сдерживая атаки неприятеля. Земля смешалась с небом в черном квадрате 333.746, гибли люди, протяжно стонали раненые, воздух насытился пороховой гарью, а громадной стране не было никакого дела до того, что где-то нарываяет гнойник.

После двухчасового боя в живых осталось четыре десантника: старшина Кашеваров, младший сержант Волнорезов, ефрейтор Круглов и рядовой Брутов. Изрешеченный бело-сине-красный флаг полоскался на ветру.

— Арабов-то сколько... Обкуренные — к бабке не ходи. Они-то куда лезут?.. Следующий штурм будет последним, пацаны. Теперь мне хотелось бы знать, за что мы здесь все поляжем, — сказал Волнорезов и

жадно припал пересохшими губами к фляжке. — Какая польза стране от двенадцати трупов? Отделили бы их к чертям собачьим!

— Присоединяюсь, Колян, — сплюнул Брутов.

— И ты, Брут? — прозвучал голос Кощея.

— Да, и я! И я, будь все проклято! Мне плевать, что здесь грохнут меня! Пусть лучше меня смолотит в этой мясорубке, чем какого-нибудь молокососа, но я должен знать — для чего?

— Крайних ищешь? — спокойно спросил старшина и впился глазами в подчиненного. — Их нет...

И была резня. Младший сержант Волнорезов подорвал себя гранатой. Зарезав штык-ножом трех арабов-наемников, с перерезанным горлом повалился на землю рядовой Брутов.

— Брать живыми! — закричал Дзасоев, ворвавшись на высоту.

Ефрейтора Круглова, раненного в ногу, вместе со старшиной, у которого после попадания пули развалило правую половину лица, поволокли к полевому командиру. Десантников пинали ногами, долбили прикладами и глумились над их беспомощностью. Безумный хохот озверевших нелюдей сотрясал высоту.

— Мама! Мамочка! Милая моя! Я не вынесу, не вынесу! — с перекошенным от ужаса лицом шептал Круглов.

Старший прапорщик хранил молчание.

— Что там у тебя, солдат? — обратился Дзасоев к Круглову. — Крест, что ли?

Ефрейтор стоял на коленях, его голова была опущена на грудь, руки свисали плетями. Грудь девятнадцатилетнего мальчика содрогалась от беззвучных рыданий, глаза были закрыты. Грязный, оборванный, затравленный, одуревший от побоев, залитый кровью, он уже не понимал, что происходит вокруг, поэтому не ответил на поставленный вопрос.

— К тебе обращаюсь. Сорви крест, обратись в нашу веру... и будешь жить, — усмехнувшись, предложил Дзасоев. — Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад — посланник Его.

— Не изгаляйся над ним, сука, если в тебе осталась хоть капля человеческого, — медленно выговорил старшина, делая акцент на каждом слове.

— Слышь, командир, не к тебе обращаюсь, да! — засмеялся Дзасоев, подошел к Кашеварову и ударил его ногой в живот.

Круглов поднял голову, открыл заплывшие от синяков глаза, бережно выпростал крестик из-под тельняшки и крепко зажал его в кулаке. Что-то необъяснимое и загадочное совершалось в душе юноши, но никто не заметил этого. Над ним продолжали измываться, а он смотрел на перекошенные от ненависти лица боевиков и плакал от счастья и жалости к ним, потому что неожиданно ему открылось то, что было недоступно их пониманию.



— Вы — другие. Я знаю... — тихо произнес солдат, поднял глаза к небу, а потом из его груди вырвался крик: — Господи, прости нам, ибо не ведаем, что творим!

— Кончайте! — бросил Дзасоев и отвел глаза в сторону.

— Этого? — спросил один из боевиков, указывая на Круглова.

— Обоих, — ответил полевой командир и, избегая взглядов, быстро пошел прочь.

Глава 5

Странное и удивительное было время, когда ребята подросли до вуза. Абсолютная монархия в новогоднюю ночь тихо и мирно уступила место монархии конституционной. Уходили в прошлое «малиновые пиджаки» с их прямолинейной тупостью, ханжеством, ограниченностью, бандитскими разборками и дерзкими предприятиями ради быстрой наживы. Улучшилась экология в городах, так как редко где теперь дымили трубы заводов и фабрик. Дошли до последней степени обнищания русские деревни. Сказочно обогащались сырьевики, банкиры и чиновники. Просто обогащались торговцы. Перестали жаловаться и бастовать бюджетники, потому что в этой сфере к концу девяностых остались только самые преданные делу люди. Интеллигенция, ополоумевшая от свалившихся на страну свобод, занимала койко-места в сумасшедших домах.

Поколение восьмидесятых, которое возмужало к миллениуму, было еще более странным, чем само время. Молодые люди сплошь и рядом представляли собой смесь бестолкового добродушия, легкомыслия и беспечности. Искрометное остроумие секунды ценилось выше глубокого ума; находчивость и умение зарабатывать деньги имели больше поклонников, чем честность и порядочность; независимость предпочиталась дружбе, а секс — любви.

От сессии до сессии живут студенты весело, и великолепная шестерка, представленная в первой главе, вела себя не просто весело, а прямо-таки буйно. Избавившись от пристального внимания школьных учителей, они жадно втягивали ноздрями воздух свободы. Вся наша шестерка угодила в группу № 99-6, которую в дальнейшем будут называть не иначе как «чумовой» — за богатую палитру характеров и талантов, соединенных вместе. Первое время активность студентов никак не проявлялась, не считая того, что женоподобный красавчик с утонченным юмором Артём Бочкарёв выкрасил волосы в брусничный цвет, еврей милостью божьей Яша Магуров раздался вширь и профессионально подлизался ко всем преподавателям, живчик Вовка за неугомонность и вертлявость на парах получил ласковое прозвище Мальчишка, твердолобый и самолюбивый Вася Молотобойцев начистил рожи нескольким студентам, холодный и рассудительный Лёня Волоколамов парализовал преподавателя по высшей математике решением наисложнейшей задачи со звездочкой, а ре-

волюционно настроенный Алексей Левандовский затравил на одном из семинаров молоденькую преподавательницу и устроил мини-бунт в студенческой столовой из-за таракана в борще.

Прошло три с половиной месяца. Студенты старших курсов забрасывали свою лень в дальний угол и брались за учебу, а вот первокурсники распоясались донельзя: не усвоив хотя бы элементарных понятий экономики из-за систематического отсутствия в институте, не запомнив даже многих преподавателей по именам, они изо дня в день обмывали получение статуса студента в дешевых забегаловках, на квартирах у местных и в студенческом общежитии с многообещающим названием «Надежда».

— Вовка! Женечкин! — забарабанив в дверь комнаты № 303, крикнул Молотобойцев и, не дожидаясь приглашения, ввалился внутрь. — Мы к тебе, Мальчишка! С нас — водяра, с тебя — харч!.. Я не один. Мы уже поддали, к тебе догоняться пришли. — Вася развернулся на сто восемьдесят градусов, театральным жестом распахнул дверь настежь и пробасил: — Заваливай, пацаны! Вовка сегодня принимает!

— Поцыки! — радостно воскликнул Женечкин, быстро почесал указательным пальцем под носом, юркнул под кровать, тут же выкатился из-под нее и упавшим голосом произнес: — Хавчик вместе с бабками кончился, а мама только на следующей неделе приедет. На китайской лапше живу.

Молотобойцева такой ответ не обескуражил. Он потянулся, хозяйским взглядом осмотрел комнату, пожурил Вовку за то, что дает в долг кому ни попадя, и начал отдавать приказания:

— Лёха, тебе надо будет реквизировать несколько картофелин у студентов из соседних комнат в пользу голодающих собратьев по вузу. — Молотобойцев с напускной серьезностью посмотрел на друга. — Только без лишнего кипиша, а то выйдет... как в прошлый раз. И зайди к Волоколамову, он мне с рефератом обещал помочь.

— Сделаем, Васёк! — осклабившись, бросил Левандовский и испарился.

— А ты, Яша, че разлегся? — продолжил Молотобойцев. — Отрывай-ка свои килограммы от кровати и дуй к девчонкам, они по твоей части.

— Зачем, блин?

— За репчатым луком, блин!

— А без него разве никак не обойтись? — мягко спросил Яша, вкрадчиво улыбнулся и обратился к Бочкарёву: — Брат, принеси воды, пожалуйста.

Артём удивленно вскинул брови, покачал головой и пошел выполнять просьбу.

Так уж как-то сразу повелось, что Яше Магурову нельзя было отказать. Самостоятельно он только ел, пил и спал. Это был не в меру упи-



таннй карлсон без пропеллера, которого следовало боготворить только за то, что он присутствует рядом и привносит в компанию лукавый дух загадочности.

Артём принес Яше воды, выслушал от друга ажурные благодарности и подошел к окну. За окном густо валил снег, покрывая застывшую землю пуховой периной. Тысячи ворон, облепив верхние этажи деревьев, извергали проклятья на всю округу. Хлопья медленно и отвесно падали вниз, ограничивая видимость. Мороз постепенно спал, образовался гололед. Машины включали ближний свет фар, снижали скорость. Было три часа дня. Артём увидел, как на дороге перед общежитием закрутило и вынесло на встречную полосу движения иномарку. Через секунду от утонченного Бочкарёва, которого за ужимки часто относили к «голубым», не осталось и следа: его губы презрительно сжались, глаза засверкали решимостью.

«Встречка, тупень! — мысленно предупредил он мужчину, сидевшего за рулем джипа. — Выворачивай вправо! Подставься, баба рядом с тобой... Красавчик... Теперь не дрейфь, скоро конец. — Визг тормозов, глухой удар. — Game over!»

Бочкарёв отошел от окна, молча налил себе водки и залпом выпил.

— Что там на улице? Ты на себя не похож, — сказал Молотобойцев.

— Тихо, — властно произнес Бочкарёв. — Схожу на вахту, вызову «скорую» и ментов. Водила — труп, баба вроде жива...

— Он реально какой-то не такой, — заметил Яша, когда Артём вышел.

— Это и есть его настоящее лицо, сейчас он как раз и был похож на себя, — беззаботно произнес Вовка, аккуратно разлил водку по стопкам и обратился к друзьям: — За всех, кто в эту секунду выпал из жизни... Не чокаясь.

— Не то мелешь... Не выпал, а ушел, — поправил Вася.

— И за тех, кто родился в эту секунду, чтобы однажды умереть, — сказал Яша.

Глава 6

Левандовский разжился картошкой на втором этаже у своей однокурсницы, студентки группы № 99-1 Наташи Сакисовой, и направился к Волоколамову, чтобы спросить его, когда будет готов Васин реферат по предмету «Научная организация труда студента». Комната № 214 была открыта, и Алексей зашел без приглашения. (Будучи местным, как Бочкарёв, Молотобойцев и Магуров, Левандовский не переставал радоваться тому, что ему не надо было жить в студенческом общежитии, как другим.) Он увидел мертвецки пьяного Волоколамова, спавшего на груди книг. Повсюду валялись пустые пивные бутылки и окурки. На столе, где Волоколамов с товарищем обедал и готовился к занятиям, громоздилась

пизанская башня из грязной посуды. Левандовский брезгливо поморщился и приступил к уборке.

Он чувствовал странное удовольствие, когда скрупулезно и последовательно наводил порядок в чужой комнате. Дело было отнюдь не в благодарности за услугу, которую выразит ему товарищ, после того как проснется и увидит вокруг чистоту, а совсем в другом: в ощущении реальной, почти диктаторской власти над беспомощным телом друга и его вещами.

Волоколамов уже двадцать минут скрытно наблюдал за Левандовским. Он испытывал нестерпимую жажду с похмелья, но терпел и не подавал признаков жизни. Он поклялся себе, что пробудится ото сна, когда комната будет сиять чистотой, потому что не было ни сил, ни желания помогать другу. Волоколамов не помнил, как он оказался на собственной библиотеке, вывалившейся из шкафа. Писательские труды, закованные в латы твердых переплетов, с каждой минутой все сильнее впивались в спину Леонида, как будто стремились разодрать его телесную оболочку, погрузиться в горячий ливер, разложиться там и стать его плотью и кровью. Это не входило в планы Волоколамова, его холодный рассудок противился проникновению чужеродных тел, но он продолжал терпеть.

— Интересно, долго ты еще будешь дрыхнуть? — спросил Левандовский, не рассчитывая на ответ.

— А сколько тебе требуется времени, чтобы довести начатое дело до конца? — сухо ответил человек, лежавший на куче из книг.

— Минут десять.

— Постарайся за пять.

— Что за тон, Лёнька? Ну что ты за человек!

— Как все...

Левандовского взбесили холодные реплики Волоколамова. В Алексее закипела желчь, угрожая выплеснуться в поток язвительных фраз, но он сдержался. Отсутствие огня в глазах друга всегда неприятно поражало Левандовского. Алексей был, что называется, продуманным романтиком, закаленным в горниле капиталистического реализма. Он, например, готов был с гитарой за плечами сорваться за туманом и за запахом тайги, если бы с точностью до сантиметра знал, где находится золотоносная жила, чтобы по возвращении домой сделаться миллионером и позволить себе непозволительную роскошь быть романтиком. Если бы команданте Че жил в наше время и обратился к Левандовскому за помощью, то последний, воспламенившись, не забыл бы спросить: «Каковы шансы на победу кубинской революции? Если пятьдесят на пятьдесят, то я — пас. Только сдохнем всем на смех. Кстати, Советский Союз выполнил обещание насчет поставки вооружения и боеприпасов?.. Не полностью?.. Тогда подождем, дорогой Че. Участь Данко меня не привлекает, предпочитаю видеть результаты от вложенных усилий».

— По какому поводу бухаешь? — спросил Левандовский.

— Ровно два года назад, чтобы не забрали в армию, я отказался от российского гражданства.

— Выходит, на радостях квасишь?

— Нет.

— С горя? — съязвил Левандовский.

— Тоже нет.

— Пацифист? Свидетель Иеговы? Идеальный противник существующего строя?

— Опять не угадал. Мне просто не по себе. Вроде как никого не убивал, а чувствую себя хуже убийцы. Не крал, а завидую сейчас последнему вору. Как будто меня вообще нет. Не для государства, а для себя нет. — У Волоколамова из стороны в сторону быстро заходила челюсть, так случалось с ним каждый раз в минуты сильного волнения. — У меня состояние нравственной импотенции, Лёха. Уже два года, как я не могу стать насильником, но и зачать, родить что-нибудь стоящее тоже не могу. Я не могу стать даже иудой, так как для того, чтобы предать, надо иметь что предать. — В глазах Леонида забегали огоньки безумия. — У тебя при себе паспорт? Паспорт гражданина Российской Федерации? Дай мне его!

— У тебя башню снесло, ты спятил! — произнес Левандовский и отшатнулся от друга как от прокаженного.

— Не больше, чем ты, не знающий, какой ценностью владеешь, какой жемужиной пренебрегаешь!

Алексей с жалостью посмотрел на Леонида и достал паспорт.

— Держи, если для тебя это так важно. Это всего лишь корочки, удостоверяющие личность. Можешь даже оставить документ у себя, а я сделаю себе новый. По утере.

— А по утере совести восстанавливают паспорт? По утере чести и достоинства, по утере смысла жизни?

— Ты загнался, — бросил Левандовский. — Выпей еще.

Волоколамов опорожнил бутылку пива и открыл паспорт. На его бледном худощавом лице появилась улыбка. Левандовский с удивлением наблюдал, как у Леонида постепенно разглаживались острые линии подбородка, а в арктических хрусталиках глаз началось глобальное потепление. Внешнее преобразование не шло ни в какое сравнение с преобразованием внутренним: в холодную душу Волоколамова заглянула короткая полярная весна — солнце обогрело сердце, на деревьях набухли почки и садовники разбили цветочные клумбы.

— Почему ты его в обложку не закатал? Истреплется ведь, ветошью станет! — заорал вдруг Волоколамов.

— Псих! — бросил Левандовский.

— А ты — сволочь! Где ты его носишь? Так я тебе напомню. В заднем кармане джинсов ты его носишь! Рядом с анусом он у тебя хранится! Чтобы достать паспорт, ты проделываешь такое же движение рукой, как

когда вытираешь одно место в туалете! Один в один! Давай туда еще пачку «мальборо» запихай, чтобы паспорт дешевым американским табаком пропитался, чтобы вонючий ковбой нашего двуглавого орла сношал!

— И запихаю! — взревел Левандовский.

— И запихай! Кто тебя просил у меня убираться?! Лучше бы ты сам убрался к черту!

— Куда подевалась твоя интеллигентность? В пьяном виде ты похож на неандертальца, на обезьяну! Посмотри на себя! Ты же животное! И куда подевалось твое преклонение перед Западом?! Может, я его с окурками подмел?! Ты же еще вчера был готов заглядывать им в рот, подстилкой стаять, ботинки лизать, потому что они-де — великие нации, а мы — дерьмо! А сегодня про ковбоя с паспортом мне несешь чушь.

— Твари мы! — опустившись на табуретку и вцепившись в волосы, отрешенно произнес Волоколамов, и подбородок его задрожал. — Водку третий месяц жрем, всех баб в общаге уже того... — В глазах Леонида вскрылись реки, начался ледоход, но пока ни одна капля не вышла из берегов. — Я хотел стать государством в государстве, Лёха. Передвижной державой, самодостаточной единицей. Вы все время упрекаете меня в холодности, а это была всего лишь независимость, территориальная целостность страны, которую я годами создавал внутри себя. Государство — это машина, оно по определению бездушно. — На глазах Леонида выступили слезы. — Машина может сломаться, но боли при этом чувствовать не должна.

— Должна, но не обязана, параноик. Разнойся еще... — бросил Левандовский, с неудовольствием почувствовав, что после слов друга у него самого на душе заскребли кошки. — Книг-то развел, яблоку негде упасть. Я бы на твоём месте...

— И ведь как с инстиком-то нам повезло, Лёха, но никто не ценит, — перебил Волоколамов. — Ты видел, что некоторые препода на парах вытворяют, какие мысли пытаются в нас заложить? О долге, чести, общественном благе, гражданском мужестве говорят. И это в провинциальном-то вузе! Не в столичном, в заштатном! Нонсенс. Я не ожидал, совсем не ожидал, хотя... помнишь Пузыря с Митрохой? Они намекали.

— И я рад, что в Москву или Питер поступать не поехал. Там сейчас в большинстве своем золотая молодежь учится, а мне с ней не по пути. В настоящий момент в столичных вузах готовится элита, которая уже не будет иметь ни малейшего понятия, что такое народ. Это вовсе не значит, что выпускники МГУ, выучившись за родительские деньги, выйдут из стен своего учебного заведения бесчестными и глупыми. Нет, я не о том. Одновременно с нами на исторической арене появятся, может быть, умнейшие, компетентнейшие и образованнейшие люди, но их оторванность от народных истоков будет настолько велика, что мы столкнемся с дипломатами для дипломатии, политиками для политики, экономистами для экономики, юристами для юриспруденции. Народ будет казаться им

спивающимся иностранцем, с которым они по какой-то нелепой случайности проживают на одной территории. Их даже судить за это нельзя... А вспомни девятнадцатый век, Лёнька. Вспомни, как кипели универсы обеих столиц, как на каждое событие в жизни страны отзывались. Во многом, конечно, тогда заблуждались студенты, но боролись же, не было у ребят равнодушия. С преподами действительно повезло. К примеру, взять Иванковского. Это же сколько литературы надо для одной только лекции по политологии перелопатить, чтобы довести до нас самую объективную и важную информацию. Тонны, блин! Тонны! И так ведь он каждый раз готовится. А где благодарность?.. Ему в прошлом году за принципиальность на экзаменах тачку изуродовали, на дверцах новой машины «козел» и «сука» в отместку написали. — Левандовский хмыкнул. — Я бы еще мог понять, если бы просто колеса прокололи, а то ведь мужику машину перекрашивать пришлось.

— А толстячок Печерский?.. Почему про него забыл? Месит ведь мужик.

— Или Лепешкина!

— Штольц!

— Тивласова, Карпенко, Жданова!..

— Сам ректор! — воскликнул Волоколамов, глаза его сузились до щелок, и он процедил: — Но я их всех ненавижу! Ненавижу за то, что они в наших с тобой сокурсниках ответного блеска в глазах вызвать не могут. Подхода не знают. Того не понимают, что у большинства студентов даже примитивной подготовки нет, что в семьях, с которых все должно начинаться, говорят не о литературе, искусстве или гражданских доблестях, а о деньгах, карьере и тряпках. Тут с азов начинать надо, а у преподав нет на это времени, и я начинаю их презирать, себя презирать. Ненавижу наши тесные и убогие хрущевские кухни! Ненавижу за то, что они пришли на смену столовым, в которых в незапамятные времена текли неторопливые беседы о высших ценностях в большом кругу друзей и родных. Из столовых выходят гении, с кухонь выползают злодеи; эта мысль красной нитью в любом классическом романе проходит — понял?.. Помнишь, как я на паре с историчкой поругался? Один-единственный раз меня прорвало. Не потому поругался, что с ней не согласен был, нет! Чтобы заглохла — вот почему! Мне ее жаль стало, ведь почти никто не слушал, о чем она говорила, а те, кто слушал, посмеивались. Я ведь святые мысли, которые она тогда озвучивала, на поругание не хотел отдать. Она теперь ненавидит меня, а я за нее жизнь положу. В армию побоялся идти, а за нее — в огонь и в воду!

— А я смеялся?.. А Мальчишка, Бочарик, Васька, Яша — смеялись? Пацаны не по дням, а по часам меняются. Хоть кого возьми. Я внимательный до характеров. Точно тебе говорю, что Васёк два месяца назад и Васёк сейчас — разные люди. И с Яхой, и со всеми нами так.

Идет не взросление, а что-то другое, страшное... Может, препода влияют, новый коллектив, наше общение друг с другом, как думаешь?

— Все вместе влияет, — выдохнул Волоколамов, обдав перегаром Левандовского.

— Да быстро как-то...

— Я бы сказал — экстерном.

Левандовский залпом выпил бутылку пива и заявил:

— Книги — зло!.. Бей их!

А потом случилось страшное: комната наполнилась безумным хохотом. Как будто бесы вселились в Алексея и Леонида: они стали с остервенением швырять книги в стену.

— Кто сказал, что рукописи не горят?! — взорвался Левандовский.

— Булгаков!

— Без сопливых! Я к тому, что это он через край хватил! На костер его!

— Сжечь, без базара! Но тебе не дам! Он мой! У меня с ним старые счета! — закричал Волоколамов.

— А Гюго — мой! Благодаря этому человеку, я никогда не буду счастливым!

Книги были подожжены. Едкий запах дыма распространился по комнате. В руках Волоколамова горели «Мастер и Маргарита», в руках Левандовского полыхали «Отверженные». Глаза друзей хищно светились, но никто из них уже не хохотал.

— Брось книгу. Сгоришь к чертям, — сказал Волоколамов.

— А сам почему не бросаешь?

— Тебя не касается... А ты?

— Не твое дело, — огрызнулся Левандовский.

В комнате запахло паленым мясом. Оба друга побледнели, заскрежетали зубами, но ни один звук боли не сорвался с их губ. В их поведении не было никакой юношеской бравады: им вдруг сделалось стыдно за свой проступок, и они его искупали.

— Брось! Это всего лишь книга! — взвыл Левандовский. Мужество с каждой секундой оставляло его, из глаз покатались слезы, но он терпел. Мысль о том, что правая ладонь может не вынести испытания огнем и подведет его, испугала Алексея, и он не раздумывая схватился за «Отверженных» еще и левой рукой, как будто хотел равномерно распределить пламя, тем самым ослабив его действие.

— Как скажешь! — отозвался Волоколамов на предложение друга, ощерился и разжал пальцы. Роман Булгакова упал на пол, и Леонид тут же наступил на горящую книгу голой ступней.

Неизвестно, чем бы все это закончилось, если бы в комнату не вернулся сосед Леонида и не раскидал бы инквизиторов по углам.

Перебинтовав друг друга, ребята поднялись к Вовке.

— Чего перевязанные? Случилось че? — спросил Магуров.

— Все нормально. Давайте бухать, — ответил Волоколамов.

Пили до трех часов ночи, пока не вышли все деньги. Вахтерша была задобрена тремя коробками шоколадных конфет, поэтому сквозь пальцы смотрела на вакханалию в комнате № 303. Когда гости разошлись, бедный Мальчишка еле держался на ногах. У него раскалывалась голова, в глазах двоилось, ему хотелось спать, но он вспомнил маму, которая бы не одобрила бардак, и приступил к уборке. Сегодня Вовка не хотел пить. Он любил веселье, но на дух не переносил спиртные напитки. Мальчишка мирился с нездоровой обстановкой студенческих пирушек, так как ребята раскрепощались и становились похожими на детей — задорных и способных на милые его сердцу безобидные шалости и глупости.

Убравшись, Мальчишка лег в постель, укрылся пуховым одеялом, сжался в комок и по детской привычке засунул руку под подушку: там его всегда ожидала приятная прохлада. Люди часто разочаровывали Женечкина, но он не переставал верить в них, потому что опирался на счастливые воспоминания из детства и мало кому понятные вещи, как эта прохлада под подушкой, которая никогда его не подводила. Засыпая, Вовка изобразил гудок паровоза, отрывистые команды машиниста, пожелал маме спокойной ночи и обратился к Богу:

— Разбуди меня, пожалуйста, в пятнадцать минут восьмого. Я не стал бы Тебя беспокоить, но завтра утром голова будет болеть, без Твоей помощи никак не обойтись. И поцыков тоже. Особенно Бочарика, а то его пушкой не поднять. Его вообще-то можно попозже... Например, к восьми. Да-да, к восьми. Он в институт на такси или на своей тачке поедет. Да, признаюсь Тебе, что я ему завидую. Завидовать нехорошо, грех, а я все равно завидую. Пьет больше всех, но никогда не пьянеет. Только я не об этом. У него такие огромные внутренние силы, такой ум, а он предпочитает просто острить и быть поверхностным. Тут какая-то серьезная травма, хотя Ты и сам все знаешь...

Морозный воздух после душевой Вовкиной комнаты освежил Молотобойцева. Он попрощался с друзьями и, пошатываясь, побрел домой. По дороге он вспоминал о своем психически больном брате, который редко выходил за пределы своей комнаты.

Молотобойцев стыдился идиота Ванюши. Он любил брата, но чувствовал, что его любовь хуже ненависти. Он видел в Ванюше бесполезное существо, почти растение, и такое отношение к родному человеку мучило Васю. Он старался ни с кем не заговаривать о больном брате, словно хотел убедить себя и окружающих, что того нет. Он его никогда, никогда не бросит, но брата — нет.

У Васи болела душа. Чем больше он старался стереть брата из памяти, тем ярче, отчетливей и несчастней виделся ему Ванюша. Погруженный в себя, Молотобойцев никого и ничего не замечал вокруг. На перекрестке улиц Мира и Артельской он остановился.

— Налево пойдешь — сифилис найдешь; прямо пойдешь — домой попадешь и маму расстроишь; напра... — Молотобойцев поперхнулся, потому как то, что он услышал, ликвидировало все его сомнения. — Направо пойдешь — проблему найдешь, но и совесть, даст бог, успокоишь.

За ларьком кричала девушка, и Вася побежал на звук ее голоса.

Три подонка сорвали с девчонки шубу, повалили на землю и пытались наяву проделать с девушкой то, что мысленно проделывают три четверти мужчин со всякой мало-мальски симпатичной женщиной, при этом считая себя образцами добропорядочности. Молотобойцев был сыном своего времени, поэтому ничему не удивился. Страха он тоже не испытывал, так как его детство прошло на улице, где слабаков высмеивали и презирали. Не единожды побывав кровавым сгустком, Молотобойцев со временем научился драться и игнорировать боль. Его называли храбрецом, и он соглашался с таким определением, но в глубине души чувствовал, что отвага происходит от привычки и опыта: привычки к физическому страданию и опыта накопленных боев в одиночных и массовых стычках. Слившись с придорожным тополем, Вася решил на какое-то время остаться незамеченным. Что-то удерживало его от немедленного вмешательства, и он просто наблюдал за попыткой изнасилования. Молотобойцев спокойно отметил про себя, что на таком лютом морозе у подонков вряд ли что получится. «Сидела бы дома, дуреха. Шарисься по ночам... Странно, что перестала звать на помощь. Не жертва, а разъяренная тигрица какая-то», — подумал Вася.

— Ладно, ладно, кобеля ненасытные. Всех обслужу, только шубу не забирайте... В очередь, — вдруг скомандовала девушка.

Васю передернуло. Он сначала не поверил своим ушам, но через несколько секунд вынужден был поверить глазам. Борьба за обладание телом прекратилась. Девушка поднялась с земли, отряхнулась от снега, надела шубу, прислонилась к ларьку и приказала:

— Рыженький, начнем с тебя. Только быстро.

Вася вышел из-за тополя:

— Доброй ночи, дамы и господа! Вижу, у вас тут очередь. Кто последний?.. Рыжий, тебе придется пропустить меня вперед, потому что инвалиды духа обслуживаются вне очереди. — Вася мельком взглянул на девушку, сплюнул и тут же отвернулся от нее. — Ничего, с пивом потянешь. Распрягайся, милая. Сейчас я тебя жестко наказывать буду за то, что ты меня своим поведением со второй группы инвалидности на первую перевела. Я аж отрезвел, ребятки! — Молотобойцев рассмеялся. — Надо же так! Одни — сволочи, другая — хуже, чем шалава... да и я, выходит, не герой, не рыцарь... Как жить-то теперь?

— Ты откель взялся, инвалид? — спросил высокий парень с изрытым оспой лицом.

— Отсель, гребень, — рубанул Вася. — Ты вообще судьбой обделенный, понял? Фишка даже не в том, что твоя харя напоминает поле



битвы — с лица воду не пьют, не в этом дело. Практически у всех на плече имеется прививка. Как ты думаешь, что она означает? Не напрягайся, сам ответи. Означает она то, что хотя бы в какой-то период детства мы были кому-то нужны: маме, папе, бабушке, воспитателю детского дома или хотя бы врачу в роддоме. — Насильники опешили. — А ты вот никому не был нужен. Прививка от оспы есть у самого последнего бомжа, попрошайки с вокзала, последней проститутки с панели. Через прививку в плечо кто-то заботился о нашем лице на всю жизнь, а ты его потерял. Знаешь, что такое уже в детстве потерять лицо? Хочешь, я расскажу всю твою биографию от начала до этой минуты, дрянь?

Последнее слово Вася выплеснул в воздух вместе с кровью уже из горизонтального положения. Сжавшись до предела, Молотобойцев прикрыл голову руками и терпеливо ждал, когда выдохнутся противники, чтобы в подходящий момент начать контратаку. Он по опыту знал, что минуты через две его враги потеряют бдительность, и это станет началом их конца. Вася умел и любил драться, его боевой нижний брейк с каскадом ударов и подсечек был бесподобен. Он решил, что начнет с рыжего, который, конечно, не успеет даже вскрикнуть после падения на землю, как к нему присоединятся два его товарища.

— Поехали, — произнес Молотобойцев знаменитую фразу Гагарина, и его ноги быстро описали окружность.

Рыжий рухнул на Васю.

— Спина... задыхаюсь, — где-то в сторонке прохрипел парень с изрытым оспой лицом.

— Этот гад мне руку сломал... руку сломал... сломал руку! — перекатываясь по земле, причитал третий насильник.

— Два-один в пользу меня, — подытожил Молотобойцев. — Делай отсюда ноги, девка! — Рыжий молотил Васю кулаками. — Веселей, гнида! Убей меня! Невыносима такая жизнь!

Глава 7

И грянула сессия.

Ранним декабрьским утром преподаватель по философии Радий Назибович Ибрагимбеков, за мушкетерскую бородку и одухотворенное лицо прозванный студентами Арамисом, пешком направился в институт, чтобы принять экзамен у головорезов из шестой группы. Он был одет в серый костюм, кожаную куртку и норковую шапку. Несмотря на скверное настроение, на его лице то и дело появлялась улыбка триумфатора, потому что сегодня он был намерен раздать всем сестрам по серьгам. Полный негодования Радий Назибович решил, что на экзамене не будет жалеть студентов, как они не жалели его своим преступным отношением к предмету. Арамис уже давно пришел к выводу, что людей, знающих и любящих философию, осталось ровно столько, сколько самих философов; и он был

недалек от истины, когда думал, что фамилия Гегель стала произноситься реже, чем словосочетание «вельми понеже». Ибрагимбеков был странным и наивным. Он все никак не мог дожидаться появления идеальных студентов, которых институт пытался вырастить. Разве мог предположить Радий Назибович морозным декабрьским утром тысяча девятьсот девяносто девятого года, что слова, которые он произнесет на экзамене, вышвырнут на арену российской действительности нескольких борцов за народное счастье, к которым потом примкнут сотни людей... Но за пять дней до миллениума, казалось, ничто не предвещало рождения первой колонны.

Разложив экзаменационные билеты на столе, Радий Назибович с грустью посмотрел в окно и произнес:

— Сейчас или никогда... Здесь все кончено... Они давно зовут, они оценят меня по достоинству. — Он открыл дверь и уставшим голосом обратился к студентам: — Кажется, у вас это последний экзамен... Хорошо. Долго я вас не задержу. Заходите-ка все разом.

— А разве не по пять человек сдавать будем? — спросил Мальчишка.

— Припухни, Вовка, — загудели студенты.

Группа № 99-6 зашла в аудиторию, расселась и притихла. Студенты почувствовали халяву; группа напоминала натянутую струну.

Ибрагимбеков всматривался в лица ребят, и ему хотелось плакать от жалости к себе и к ним, потому что он принял судьбоносное решение, которым еще ни с кем не успел поделиться. Радий Назибович неловко одернул полу пиджака и тяжело вздохнул; плуты из шестой группы вздохнули с ним в унисон, чтобы у расстроенного преподавателя не возникло сомнения в их сочувствии его горю. Потом у Радия Назибовича задрожал подбородок, задергался правый глаз, и студенты в едином порыве для симметрии задергали левым.

Когда Арамис начал говорить и споткнулся на втором слове, умная девушка с грудным голосом, Ира Щербачка, чуть все не испортила:

— Радий Назибович, что с вами?.. Мы все сегодня готовы на сто процентов.

Последняя фраза явно была лишней, и на Ирину зашипели. Поздно. Арамис приободрился.

Чтобы переломить ситуацию, Молотобойцев, подобно отважному Гастелло, для общего дела пошел на смертельный таран:

— Говори за себя, Ира... Радий Назибович находится сейчас в таком состоянии, что вранье может еще больше расстроить его. Будем смотреть правде в глаза: для меня Диоген ассоциируется только с пустой бочкой — не более.

В роли Александра Матросова неожиданно для всех выступил Магуров:

— Да, брат, что тут поделывать... Я... То есть, конечно, все мы... Да, все мы ничего не знаем о Ницше.



Радий Назибович схватился за сердце.

— Да, но это вовсе не означает, что мы не любим его, — слащавым голосом произнес Бочкарёв. — Мы обожаем Ницше, души в нем не чаем. Чтобы любить человека, совсем не обязательно его знать. Не за его учение, а просто так любим. Это лучше, это выше!

Радий Назибович побледнел и в изнеможении облокотился на кафедру.

— А я их всех знаю! — подскочил Женечкин. — Знаю, а сказать не могу. Зато лягушачий хор изобразить могу! В подробностях!

— Сядь, сядь... — загомонили студенты.

— Вы не поняли, — огорчился Женечкин. — Не одну лягушку, а целый болотный хор!

— Это, конечно, меняет дело, но Арамис и так не в себе, а ты тут со своими жабами лезешь, — ушпинув друга за мягкое место, тихо произнес Левандовский, поднялся в рост и пошел ва-банк: — Мы с Лёней... В большей степени, конечно, Лёня... В общем, мы с Лёней серьезно подготовились к сдаче экзамена. Ведь так, Леонид?

«Вот гад! И меня подвязал. Сейчас начнет — не остановишь», — подумал Волоколамов, спалил Алексея взглядом, но вслух произнес:

— Да, Алексей.

— Так вот, — продолжил Левандовский. — Мы с моим другом знаем о философах и их постулатах абсолютно все! Более того — ни один факт из биографии того или иного искателя мудрости не был обойден нами при подготовке к экзамену! — Во время этого пламенного спича через аудиторию уже летела записка, в которой значилось: «Ты, гад такой, когда подробно о ком-то начнешь говорить, этот кто-то должен быть Кант, иначе отмазывайся сам. Волоколамов». — Остается только удивляться, как плеяда замечательных деятелей, практически не повторяясь, а чаще дополняя и углубляя идеи друг друга, продвигала человечество в постижении истины все дальше и дальше. — Левандовский незаметно ознакомился с содержанием подsunутой ему записки, но решил еще немного поплутать в дебрях риторики, чтобы потешить публику и довести Леонида до сердечного приступа. — Карл Маркс! Как много в этом звуке для сердца русского, советского слилось. Но нет! Не будем, не будем о Марксе, потому что тогда неизбежен разговор о его друзьях — Энгельсе, Кларе Цеткин, Розе Люксембург и Владимире Ульянове. Они нанизываются на автора «Капитала»... как добрый шашлык на шампур. — Услышав сие откровение, вся группа № 99-6 в срочном порядке полезла доставать неожиданно упавшие на пол ручки, и только наивному Радию Назибовичу было не до смеха: он весь проникся ораторским пафосом и искренними интонациями Левандовского, поверил в глубокие познания разошедшегося злодея и даже поторопился сравнить своего студента с Демосфеном. — А великий Никколо?! Чу, что я слышу?! — Левандовский презрительно скривил губы. — Кто посмел, у кого поднялся язык произнести фамилию



Паганини под сводами храма Мудрости? Жалкий музыкант не достоин упоминания! Не достоин! Не достоин! — Пена вдохновения выступила на губах трибуна. — Как есть только один Николай — Николай Гоголь, так и есть только один Никколо — Никколо Макиавелли! Этот гений, этот, простите за выспренный слог, глашатай эпохи Возрождения, этот, не побоюсь этого слова, указующий перст Реформации бросил вызов гниению, открыв собой эпоху горения!

— Остановись, мгновение... — прошептал Радий Назибович.

— Но нет! Нет! Тысячу раз нет! Всеу об этом гиганте? Никогда! — иступленно воскликнул Левандовский. — Через годы, через расстоянья устремимся на быстрокрылых грифонах в апельсиновую рощу Эллады. — Левандовский со значением закрыл глаза, и группа затаила дыхание в предчувствии увлекательного путешествия по Древней Греции. — О боже, что я вижу! Кто там бродит в прохладной тени деревьев?! Белоснежная туника! Сандалии! Это же он! Это же сам Сократ с учениками!.. Быстро все обратили внимание вон на того бойкого и любопытного мальчишку, который одной рукой ковыряет в носу, а другой чертит палочкой на земле... Неужели вы не узнали его? Это же Платон! Он пока молод, как оливка, но уже дерзит, уже о чем-то там спорит с учителем, негодник. — Левандовский с укоризной погрозил пальцем в пустоту. — Не дерзи, Платоша, не зарывайся до времени. Сократ пока сто крат тебя умнее, почитай его как отца, а мы в знак благодарности тебя потом почитаем. — Лицо Левандовского изобразило крушение надежд. — Вот так всегда! Они удаляются, звуки их беседы относит к побережью ласковым ветром. Интересно, о чем же они говорят? — Левандовский не очень хорошо знал древнегреческую философию, но это его отнюдь не смущало. — Об истине, бесспорно! Об истине, — и я вызову на дуэль всякого, кто будет утверждать обратное! Я знаю то, что ничего не знаю. Сколько людей, столько и мнений, а истина — одна! Одна!

— Демосфен, — произнес загипнотизированный Радий Назибович и прослезился.

«Демагог», — подумала группа № 99-6 и прослезилась от смеха.

— Подробнее о Платоне, Алёша... Мы в восхищении, — зло произнес Волоколамов.

Левандовский понял, что пора красиво перевести стрелки на Канта:

— О Платоне можно говорить бесконечно, но, к моему глубокому сожалению, наше время ограничено... Демокрит, Сен-Симон, Шопенгауэр, Монтескье, Фурье, Вольтер, Кант... Не стоит продолжать! Да-да, Кант! Как выстрел звучит фамилия! Как будто молнии прорезали тьму, как будто кто-то разорвал грубую телесную оболочку и вынул из нее трепещущее сердце мысли! Кант, Кант, Кант!.. Вы слышите?! Что в имени тебе моем?.. Мой храбрый Леонид, мой спартанский царь, я не могу говорить об этом человеке спокойно, меня охватывает священная дрожь, а

философия требует сосредоточенности и спокойствия духа. Эти две добродетели есть у тебя, поэтому поднимись и скажи, друг!

— Выдающийся философ Кант... — поднялся было Волоколамов, чтобы уже наверняка размазать по стене Арамиса в хорошем смысле этого слова, но был прерван.

— Ребята, я тронут до глубины души, — сказал Радий Назибович. — Может быть, сейчас я слышал только то, что хотел слышать, но все равно. Спасибо. Я уезжаю в Соединенные Штаты Америки, ребята. Меня пригласили на работу в Пенсильванский университет. О причине отъезда распространяться не буду, потому что вы все равно не поймете. Через меня прошли тысячи студентов, и лишь в единицах я увидел то, что мне было нужно. — Голос преподавателя дрогнул. — С этой страной все кончено, а в обреченном государстве я жить не собираюсь. Давайте зачетки и покиньте аудиторию. Не переживайте, у всех будет «отлично»... А теперь уходите. Экзамена не будет.

Обрадованная группа сорвалась с места, чтобы за шесть секунд соорудить стопку из зачетных книжек и исчезнуть за дверью. К чести студентов надо сказать, что, жалея чувства преподавателя, они покинули аудиторию бесшумно.

Только ушли не все. Пять человек остались сидеть на своих местах. Бочкарёв достал чупа-чупс и поместил его за щеку; в аудитории зазвучали страстные причмокивания. Левандовский демонстративно начал напевать: «Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу вырастаем в землю тут...» Молотобойцев достал из папки игральные карты, произвел над ними шулерские махинации, подсел к Женечкину и предложил:

— Сыграем, Мальчишка. В дурака.

— Давай не будем.

— А я сказал — будем. Я тебе даже поддамся, чтобы ты с полным основанием мог произнести: «Вася, в аудитории уже есть один дурак, которого нельзя оставлять в одиночестве. Так тебя, Васёк, я оставил в дураках ему за компанию. Ты остался, Васька. И в аудитории, и в дураках, что равносильно».

Радий Назибович сглотнул слюну и подумал: «Господи, неужели?..»

В это время Волоколамов уже вскочил на стул и, холодно улыбнувшись, произнес:

— Стих.

— Просим, просим, — заплодировал Левандовский. — Жги, Лёня! Глаголом жги!

— Уже один раз жгли с тобой. И не глаголом, а глагол. Поэтому — степ. — Преподаватель и ребята, оставшиеся в аудитории, две минуты тупо наблюдали, как танцевал Волоколамов. — Ну как?

— Сносная дробь, — выгацив чупа-чупс изо рта, заключил Бочкарёв и снова занял рот кругляшкой на палочке.

— Да, средненький степ, но ничего, с пивом покатит. Чечетка у тебя получилась бы лучше, — сказал Молотобойцев и, вскрыв козырь, обратился к Женечкину: — Опять крести, Мальчишка. Дураки, как говорится, на месте.

Фарс не мог продолжаться долго.

— Почему остались в аудитории... или в дураках, что, по мнению одного из вас, равнозначно? — спросил преподаватель.

Студенты ощетинились, внутренне подобрались — и пошло-поехало...

— Мне не нужна ваша пятерка, Радий Назибович. Ставьте мне «неуд», потом можете ехать куда угодно, а я остаюсь. Остаюсь и в аудитории, и в дураках, и в обреченной, как вы сказали, стране. Остаюсь, потому что люблю... — Левандовский замялся, потому что хотел сказать «Родину», но застеснялся, почувствовав, что это слово слишком интимное, чтобы озвучить его при перебежчике, что при таком бросовом употреблении рукой подать до написания этого слова со строчной буквы, что над ним, Левандовским, неизбежны насмешки, пока он своими делами не завоюет себе право говорить об этом, потому решил остановиться на нейтральном понятии: — ...пельмени! Да, потому что я люблю пельмени. Че вылупились?.. Без комментариев!

— А вы, студент? — взволнованно спросил преподаватель у Волоколамова.

— Я терпеть не могу пельмени, но предпочитаю не любить их в том месте, где происходит лепка. Знаете, в последнее время они состоят из одного теста, с мясной начинкой напяр. Скажу вам по секрету, что и мясо то не стопроцентное, свинину непременно с соей перемешают. В пользу сои, конечно, а не мяса. Когда вырасту, стану лепщиком пельменей. — Взгляды Волоколамова и Левандовского пересеклись. — И не надо так на меня смотреть, Лёха! Не надо. Я же не врагом народа собираюсь стать, а безобидным лепщиком пельменей, которые ты так любишь. Труд — рутинный, но почетный. Простите, что мудрствую лукаво.

— Гнилой базар развели, — развалившись на стуле и скрестив руки на груди, пробасил Молотобойцев. — Пусть катится на все четыре стороны, никто не держит. Я остаюсь, потому что остаюсь... Как Портос дрался, потому что дрался. Баба с возу — кобыле легче. Баню, соленые огурцы и Сан Сергеича Пушкина, чай, не заберет с собой, поэтому — скатертью дорога! Пусть подавится своей пятеркой... Я все сказал.

— Пельменям и гамбургерам предпочитаю сексуальные отечественные бублики. Они такие круглые, такие нежные и гладкие, что не передать. Их можно грызть, лизать, медленно погружать в горячее лоно чая, а также тыкать в дырку мизинчиком, — перегнав чупа-чупс из-за левой щеки за правую, с эротической интонацией сказал Бочкарёв и поднял руки вверх, как будто собрался сдаться в плен. — Все! Не буду, не буду, не

буду! Я имею в виду совсем не то, совсем не то... Что имею, то и введу... вот что я имею. Все! Не буду, не буду, не буду!..

— А зачем куда-то уезжать?! Это лишнее, это не надо! — перебив Бочкарёва, встрепенулся Мальчишка. — Мы уже в Америке! Она пробралась, она в нас!.. Кстати, а где шельма Магуров?

— Я здесь, — появился в дверях Яша. — Я ненадолго отлучился. Желудок подвело, бегал в столовку перехватить... Радий Назибович, вы мне еще не поставили оценку? — Студенты улыбнулись. Левандовский — ехидно, Волоколамов — грустно, Молотобойцев — презрительно, Женечкин — добродушно, Бочкарёв — глазами. — Тройка меня устроит. Как говорится, ни нашим ни вашим. ..

Преподаватель был в ужасе и даже не имел сил скрыть это. Он стал во фронт и с достоинством поклонился ребятам со словами:

— Приветствую героев новейшего времени.

— О чем это вы? — спросил Вовка.

— Поймете в свой час, юноша. Почему вы не смеетесь над моими словами и дурацким поклоном? Смейтесь же, мне будет легче. Смейтесь же, иначе я не выдержу, потому что, потому что...

— Не смейте продолжать! Ни слова больше! Я вам запрещаю! — крикнул Мальчишка и одарил преподавателя таким взглядом, что у того все похолодело внутри. — Пацаны, зачетки на стол. Все на выход.

Когда парни покинули аудиторию, Женечкин плотно прикрыл за ними дверь и упавшим голосом произнес:

— Вы уверены?

— Да.

— Шансы избежать, уклониться, обойти, понаблюдать просто со стороны — есть?

— Никаких.

— А на благополучный исход?

— Самые прозрачные. Один процент из ста.

— Скольких недосчитаемся в конце?.. Не лгать.

Радий Назибович отрицательно покачал головой.

— Понятно... Наша самая сильная сторона?

— Непредсказуемость... Ни одному смертному не будет дано предугадать ваш следующий шаг.

— Не навредим?

— Только себе, кажется.

— Мне пора. Будем считать, что экзамен состоялся. Меченым выставьте четверки, остальным — «отлы», как обещали. Запишите наши фамилии: Магуров, Бочкарёв, Левандовский, Волоколамов, Молотобойцев и Женечкин.

— Но почему вам по четверке?

— Кому больше дано — с того больше спрашивается. Еще вопросы?

— Мне уезжать?

— Нет. Когда все начнется, мы должны знать, что в городе есть хотя бы один человек, который будет понимать, что происходит. Вмешиваться в события вам запрещаю, иначе все испортите. До свидания... И никому про нас ни слова.

Женечкин нашел друзей на крыльце института.

— О чем базарили, Вовка? — спросил Магуров. — У меня нехорошее предчувствие.

— Сам не знаю. Он гнал... и я гнал. Мистика и гон, гон и мистика, а в результате у нас — по четверке.

— Вы с Арамисом друг друга стоите, ничего удивительного, — заметил Левандовский. — Только мне тоже как-то не по себе, да и Яшка тут еще... Его редко чутье подводит. — Алексей посмотрел на ребят и увидел, что они взволнованны, но ни за какие деньги не станут говорить о том, что их сейчас мучит, чтобы не накликасть беду. — Проехали, пацаны... Кажется, несостоявшийся экзамен на самом деле чересчур состоялся. А теперь обо всем забыли.

— Подведем неутешительные итоги прошедшей сессии, — сказал Волоколамов. — Прорвались мы через нее чудом, а Артём с Мальчишкой — вообще с долгами. Подходы к учебе надо менять, иначе отчислят.

Весь день после экзамена Радий Назибович был сам не свой. Вечером он сообщил некоторым коллегам по институту о своем открытии. Реакция преподавателей была однозначной:

— Не может этого быть, ведь никаких предпосылок... ведь в свое время сами пытались, но не смогли. Потом хотели других воспитать, но все тщетно. Тут какая-то ошибка, недоразумение...

— Не верю, коллега. Я внимательно наблюдала за первым курсом, со многими беседовала, прощупывала. У них каша в голове. Балласт. Ни ума, ни сердца!..

— Самообман, Радий Назибович. Выпейте чайку и ложитесь-ка лучше спать. Утро вечера мудренее...

— Сколько?.. Шесть человек?.. Не один, не два и не пять, что ли? Не великолепная семерка, не святая троица, не двенадцать апостолов, не двадцать шесть бакинских комиссаров, а заурядная шестерка?.. Почему не называете фамилий?.. Как — нельзя?.. Кто запретил? Они запретили?.. Я смеюсь? Смеюсь — это мягко сказано, меня сейчас просто в клочья разнесет!..

— Ты себе надумал, дружище. Это все нервное перенапряжение. Они над тобой посмеялись...

Все телефонные разговоры Радий Назибович заканчивал одинаково:

— Вы есть неверующий Фома, Такой-то Такойтович. Мне вас жаль. Я плююсь в трубку и прерываю с вами дружбу.

Напоследок Арамис решил позвонить ректору, Ларисе Петровне Орешкиной. О своем решении он не пожалел.

— Вы уверены, Радий Назибович?

— Говорю же, что сегодня я их видел своими собственными глазами.

— Какие они из себя?.. Коммунисты есть?

— Не знаю...

— Подумайте, подумайте... Политические убеждения, моральные принципы...

— Вы ставите меня в тупик... Всякие есть. Мне пока не совсем понятно, что может связывать таких разных людей, но не вызывает сомнения, что они — друзья. Ребята, как мне кажется, идеально адаптированы под эпоху. Такие же, как все, но и отличаются от своих сверстников. Все шесть — лидеры; если говорить образно, то одни — военного толка, другие — дипломатического. В общем, странный секстет. Думается, что для них не будет безвыходных ситуаций, потому что они играют в одной команде: когда один выстрелит и откровенно промажет, то другой в эту же самую секунду попадет в яблочко. Странно и страшно, да?..

Глава 8

Когда Арамис беседовал по телефону, в общежитии «Надежда» студенты праздновали окончание сессии. В комнату отдыха, которая занимала половину первого этажа, набилось человек пятьдесят полупьяных ребят. Студенты, разбившись на группы, травили свежие анекдоты, делились друг с другом последними новостями, обсуждали прошедшие экзамены и рассказывали смешные истории из студенческой жизни.

— Ей-богу, не лгу с этой проклятой Тамарой Павловной! Она ко мне подкатывает, а я ей: «Не смешиваю учебу с личной жизнью». Вот так прямо и сказал, — уже успел наврать с три короба в одном из стихийно образовавшихся кружков Бочкарёв. — Вот с места не сойти, если обманываю!.. Или вот еще казус... Наш Арамис, Химический Элемент Назибович, в свободное от работы время бутылки по мусорным бакам собирает. Своими глазами видел! — Поняв, что ему не верят, Артём ввел подробности: — Я сам в шоке был! Думал, бомж какой-то, а присмотрелся — философ. Лицо опухшее, куртка на спине в двух местах прорвана, на ногах — стоптанные «аляски». Только на голове новая кожаная кепка на меху: бережет мозги-то от переохлаждения, боится застудить извилины, чтобы Аристотель в них ангиной не заболел. Вот так вот роется своей палочкой в поисках «чебурашек», а вечером отмоется, надушится и новым рублем в аудиторию — шашть! — Насладившись гомерическим хохотом, Бочкарёв для пущей правдивости встал на сторону преподавателя. — Вот вы ржете, а у человека, может, философия такая. Бомж — олицетворение свободы на земле. Никаких обязательств, думок о будущем, как у зверушек и птичек. Покушать нашел — радость, в ментовку не попал — радость. Выпить удалось, переночевать — счастье. Счастье ведь не бывает маленьким или большим, не измеряется в тоннах или миллионах. Оно

либо есть, либо его нет. Вся фишка в запросах. — Бочкарёв неожиданно для всех сник. — За скачущим воробышком полюби наблюдать, за работающим муравьем, и такие горизонты откроются, что и не передать словами... Вроде как досрочно в рай попадешь.

Еще перед одной группой студентов Женечкин показывал миниатюры. Ему ассистировал Магуров. Дамы были в восторге от пипеточной Моськи, лающей на Слона. Парни хохотали над репризой «Серп и молот», потому что роль колхозницы с растрепавшимися косоньками — и где только был раздобыт парик? — исполнял упитанный до кровомолочности Яша. Вовка, игравший рабочего, бил Якова Израилевича несуществующим молотом и приговаривал:

— Жни, тетка, жни. Не выполняем план, Коба накажет.

Когда внимание зрителей стало ослабевать, Женечкин отозвал Магурова в сторону, о чем-то быстро посоветовался с другом и громко возвестил:

— Миниатюра последняя — «Ленин на броневике».

— Идите сюда!..

— Давайте к нам!..

— Зачем в сторону отошли?..

— Ближе к публике надо!.. — посыпались возгласы.

На это Вовка голосом вождя мирового пролетариата резонно заметил:

— Товарищи, броневик революции не может передвигаться сам по себе, его необходимо заправить. Генеральный спонсор заправки — немецкая разведка!.. На карачки, Яков Израилевич!

Выпивший Магуров, не сообразуясь с приличиями, встал на четвереньки, обозначая бронированную машину. Владимир Ильич со всей силы зарядил Яше пинком под зад и взвизгнул:

— Горючее в баке! Трогай, политическая проститутка! Мы еще покажем этой буржуазной дряни, где раки зимуют! Зачатый в моей голове декрет «О мире и земле» уходит в декрет, чтобы скоро родить в ночь не сына, не дочь, а красный Октябрь!

— Больно же... Послабже не мог ударить? — пробубнил Яша.

— Бил по системе Станиславского, чтобы никто не усомнился в реальности происходящего.

Вовка уселся на броневик, запихал большой палец под жилетку, и машина, безбожно сигналив, с крейсерской скоростью устремилась к центру комнаты. Движение стального колосса революции с вождем наверху было замечено. Группы общавшихся между собой студентов стали распадаться. Разговоры стихли. Магуров и Женечкин не успели проехать еще и половины пути, а их институтские товарищи в ожидании занимательной комедии уже расселись на зеленых креслах, стоявших по периметру помещения.

— Битый небитого везет, — хихикнув, шепнула миловидная блондинка своей подруге Галочке. — Вот бы ему на лацкан мою брошь при-

цепить. Было бы потрясно: Ленин с брошью... Какой он все-таки симпатичный!

— Который? — спросила Галочка.

— Оба, особенно тот, который наверху, — часто заморгал глазками, ответила блондинка. — Венок ему бы тоже пошел.

— Терновый... — не удержался от замечания Молотобойцев, сидевший справа от подружек, а про себя подумал: «Чую, неспроста ты все это затеял, Мальчишка-Кибальчишка. Подписать нас под какой-то фигней хочешь, столкнуть в пропасть, из которой потом не выбраться». — Он стал озираться в поисках остальных друзей.

Первым Молотобойцев увидел Волоколамова. Леонид был бледный как мел. Двадцать минут назад он по всем пунктам разбил двух третьекурсников, утверждавших, что западная демократия нам не подходит. Волоколамов с убийственной логикой доказал обратное, но удовлетворения от победы не чувствовал. Несмотря на то что ребята соглашались с его выводами, в конце спора они все-таки ядовито бросили ему в лицо: «Все так... да не так». Волоколамов с теплом смотрел на Вовку. Этот человек, которому удалось оседлать даже хитрого Яшу, был ему ближе всех друзей. Леониду вспомнилось, как однажды на семинаре по истории экономических учений он хвалил Адама Смита, на что Левандовский со злобой произнес:

— Ты западник, Лёня. Ты опасный человек, ведь любишь не их джинсы и машины, а идеологию! Лучше эмигрируй. По-хорошему прошу.

Тогда Вовка, который, как всем казалось, всю пару витал в кучевых облаках, рисуя на листке перистые, вступился:

— Лёха, ты гонишь. Лёнька — свой! Он же среди наших полей и церковей вырос! Пусть и в городе, но поля и церкви рядом были... Ой-ой-ой, сейчас ведь опять не поймете меня, опять станете говорить, что я чепуху понес... Как же мучительно тяжело с вами... — Вовка закрыл лицо руками, отклонился назад и быстро-быстро замотал головой, как это делают дети, когда их что-то сильно напугает. — Лёха, ну как же... ну за что же ты постоянно Лёньку травмишь? Ведь он от чистого сердца об Адаме Смите, ведь ему же никто не заплатит за то, что он о шотландском экономисте вот так вот! Просто Лёнька наши подходы справедливо и несправедливо ругает, западные взгляды — справедливо и несправедливо возвышает... Ты вот, Лёха, Россию хвалишь, Запад же категорически отвергаешь, а так нельзя, так до национализма скатишься. Ты — настоящий славянофил, потому что художественную литературу, православие и нашу самобытную историю любишь и знаешь. Сейчас малограмотных и необразованных фашистов — пруд пруди, а славянофилов почти нет. Когда от других лучшее брать научимся, первую половинку себя найдем. Только даже с передовыми западными принципами избирательно надо; ты здесь Лёньке подмогой должен стать — сверяясь с многовековой исто-

рией, укладом и традициями, перепроверять то, что он безоглядно брать начнет... И самим отдавать. Это обязательно, что самим — тоже. Вот она — твоя роль, Лёха. Тебе проще, чем Лёньке, потому что отдавать у нас в крови. Так вторую половинку себя найдем. Лёнька берет лучшее, ты отдаешь лучшее; Лёнька берет у Европы и Америки мудрость холодного западного ума, ты отдаешь Европе и Америке мудрость горячего русского сердца! — Вовка вскочил со стула. — Вы же одного поля ягоды, только Лёнька — кислица или брусника, а ты, Лёха, приторная малина. Варенье бы из вас обоих сварить. Кисло-сладкое, с горчинкой, чтобы зимой лечиться, чтобы вкусно и полезно было. Сейчас ведь зима, люди болеют, а вы, — Вовка махнул рукой, — вы в одну банку лезть не хотите... Вас только в охотку и хватать. Поймите, что нам сейчас все нужны, кроме равнодушных и сволочей. Если вы будете с Лёнькой отдельно, то оба — враги России.

Никто тогда не понял Женечкина...

Мальчишка благополучно доехал до центра комнаты и скомандовал:

— Тпру-у, родной! Речь толкать буду.

Студенты покатывались со смеху. Пошли выкрики:

— Бомби, Вован!

— Яшку не раздави!

— Флаг ему в руки!.. В углу с совковских времен стоит!

— Давай, Володя! Имя у тебя подходящее: тот — Ленин, ты — Женин!.. Даже Женечкин!

— Люда — молодец! Он уже с флагом! Реквизит, блин!

— Флаг красный, а сам — белый! Ха-ха! Че бледный такой? Взбледнулось?

— Вся власть Советам!

— Долой Советы!.. Царя!

— Борису на царство?! За смуту — на кол!

Подняв руку, Мальчишка призвал всех к тишине. У него было трагическое выражение лица, потому что актер комедийного жанра не может позволить себе даже улыбку, если она, конечно, не предполагается ролью. Роль Владимира Ильича Ленина в отечественной истории улыбок не предполагала, и лицедею Вовке это было известно.

— Товарищи рабочие, крестьяне, солдаты, матросы и студенты! — обратился Женечкин к присутствующим, и голос его дрогнул. — Россия во льду! Нет, не в огне, а именно во льду! Ледниковый период, товарищи! Часть людей — заморожена, другая часть — отморожена! — Следующие пять предложений потонули в хохоте. — Смеетесь? А я плакать хочу! Не за горами то время, когда на контакт с нами выйдут внеземные цивилизации, а мы, мы... Как мы их примем? Что мы им покажем?.. Только бы не боеголовки! Вот только ядерное оружие им предъявим, и они улетят! — Мальчишка помолчал. — Им только нравственность наша нужна — вот! Чтоб как братья были! Тогда примут нас

в Содружество Вселенной и помогут, продвинут нас и в технике, во всем продвинут!..

Левандовский и Молотобойцев подсели к Волоколамову.

— Смеются... — сказал Волоколамов.

— Хохочут, — произнес Левандовский.

— Как кони ржут, — заключил Молотобойцев.

— Это конец, — произнес Волоколамов.

— Это начало, — заключил Левандовский.

— Вы прекрасно понимаете, что происходит, — сказал Молотобойцев. — Это судьба... Назад пути нет.

— Пути назад нет, — согласился Левандовский.

— Нет назад пути, — не отличился оригинальностью Волоколамов. — А теперь кое-что попробуем. Идея одна есть... Я сейчас все усугублю. Поближе к реалиям усугублю. Подальше от космических далей, поближе к реалиям. — Леонид облизнул пересохшие губы и слотнул слюну. — Короче, слушайте меня. Сейчас я вызову рвоту, чтобы студентам желудок промыть. Поставлю прививку. В малых дозах болезнь привью, чтобы начал вырабатываться иммунитет. Ничему не удивляйтесь, купайтесь в тему по ходу дела. Лёха, сначала дай мне слово не вмешиваться и быть на моей стороне, что бы я там ни говорил... — Левандовский утвердительно кивнул. — А ты, Вася, готовься к бою. Посмотрим, все ли так плохо. Мальчишкой и Яшей придется пожертвовать. Подмигнете Бочкарёву, как начну, чтобы по курсу был.

— Все сделаем, как сказал. Вперед! — бросил Молотобойцев.

Волоколамов вплотную подошел к Женечкину и начал громко аплодировать. Студенты притихли, потому что лицо Леонида не выражало ничего хорошего. После непродолжительных оваций Волоколамов оставил Мальчишку в покое, встал на колени и начал дергать «броневик» за нос. Яша сморщился от неприятных ощущений и завалился на бок, уму-дрившись при этом подмять под себя Вовку.

— Что смотрите? — спросил Волоколамов, не дав актерам опомниться после падения. — Клоуны! Шуты гороховые! Мигом поднялись и освободили мне место!

«Броневик» быстро пришел в себя:

— Офигел, что ли?

— Рот закрой! — отрезал Волоколамов.

— Лёнька, что с тобой? — спросил Женечкин.

— Заткнись и ты. Россию продавать буду.

— Не надо! Это не надо! Не смей!.. Мы с Яшкой лучше мушкетеров изобразим. Тебя не берем. — Вовка стал оглядываться по сторонам в поисках Левандовского, Молотобойцева и Бочкарёва. — Лёха, где ты тут? Будешь Атосом?.. Артём, как насчет Арамиса? Или хоть Вася!

— Атос убит на дуэли! — откликнулся Левандовский.

— Арамис канул под Ла-Рошелью! — крикнул Бочкарёв.

— И если Портос на пару с гасконцем в ужасе не рассосутся со сцены, то их постигнет та же участь! — пробасил Молотобойцев.

Волоколамов был удовлетворен. На его лице вспыхнул румянец, серые глаза засветились. Он попросил, чтобы принесли стол, красную скатерть и молоток, сказав студентам, что игра, в которой он призывает всех принять участие, будет называться «Аукцион. И смех и грех».

— Тихо всем! Тишина! — крикнул Волоколамов. — Итак, приступим. Первый и последний лот на сегодня — Россия. Первоначальная цена — сто рублей, больше она не стоит. Выкрикиваем на понижение. Понижая — не зарываемся. Рубль скинули — и довольно. Обоснование обязательно. Для особо одаренных напомним, что Россия, или Российская Федерация — это такая холодная страна, в которой мы живем, зябнем и прозябаем. Площадь — семнадцать миллионов донельзя запущенных квадратных километров. Население — около ста пятидесяти миллионов человекоубов. Столица... теоретически есть, но практически — отсутствует. Основные источники дохода: вонючий газ, черная жидкость и два твердых тела, которыми успешно топят не только печки, но и экономику, потому что в парадоксальной северной стране, которая выставляется на торги, экономику можно легко утопить даже в твердых телах, вопреки законам физики. Государственный язык — матерный, с вкраплениями русского. В общем, тон задан... Поехали!

— Тон задан, — прозвучала реплика Бочкарёва. — Задан — от слова зад! Дерьмо страна! Девяносто девять рублей!

— Завуалированно, но принимается, — сказал Волоколамов и стукнул молотком по столу. — Активней, студенчество! Активней, бурсаки! Девяносто девять рублей — раз, девяносто девять рублей — два...

Так Россия в очередной раз пошла с молотка. Не пошла — полетела: за десять минут цена на шестую часть суши была сбита до семидесяти рублей. Радовало одно: если в девяностых продажа страны осуществлялась без каких бы то ни было правил и закулисно, то в общезнании «Надежда» студенты придерживались строгого регламента торгов, определенного Волоколамовым, и хищного желания заполучить государство по дешевке от народа не скрывали. У большинства ребят было приподнятое настроение от коктейля из возбуждения и веселого озлобления после возлияний в ознаменование окончания сессии. Языки развязывались. Каждому хотелось, а главное, имелось что сказать при опускании цены. Обстановка накалялась. Волоколамов ни на секунду не забывал о том, что перед началом торгов мат был возведен в ранг государственного языка, и горячо приветствовал нецензурную брань. К чести Леонида надо сказать, что авторов примитивно-пошлых реплик он безжалостно выключал из игры и апелляций не принимал: мат должен был не резать, а ласкать его чувствительное ухо.

Магуров и Женечкин с тоской смотрели на происходящее и непрестанно повторяли слово «измена».



Девчонки, к огорчению Волоколамова, площадные выражения в ход не пускали, но только потому, что участия в торгах не принимали. А вот если бы на аукцион выставлялся Генка Прокудин, изменивший не какой-то там незнакомой и малоинтересной стране, а реальной и до боли родной Вальке Карамашевой из шестой группы, то со всей ответственностью можно сказать, что мы бы еще и не такое услышали. В общем, представительницы прекрасного пола воротили свои прелестные носики от презанимательных торгов; зато теперь, спустя годы, автор даже при всем желании не имеет права обвинить их в разбазаривании государства, которым с воодушевлением занималась сильная половина. Да, порой женская пассивность бывает лучше мужской активности...

Когда цена России понизилась до семидесяти рублей, Волоколамов пришел в бешенство, так как увидел, что еще никто не затронул главные государственные недостатки. Теперь Леонида устроила бы только драка.

— Что ты орешь?! — напал Волоколамов на лопухого парня. — Сам-то понял?.. Прочисти локаторы и слушай сюда! Если один мент тебя на дороге обул, так ты думаешь, что я дам тебе право с целой страны цену сбивать?! Что у нас, по-твоему, все менты такие?! Облом тебе, а не шестьдесят девять рублей за лот № 1!.. И всех предупреждаю, что свои эгоистические претензии оставляйте при себе, а то так и в минус можно уйти.

— Оборзел... оборзел... — загудел народ то ли в адрес Волоколамова, то ли в сторону ушастого парня.

— Олигархов — как собак нерезаных! Доволен? Шестьдесят восемь рублей! — выкрикнул парень по прозвищу Шнырь.

— Не принимается! Как собак — это нас, а их — горстка, с гулькин хрен, — понял? — парировал Волоколамов. — Олигархи — это не проблема! Проблема — их сверхдоходы! Всех убить, все отнять — это не по мне! Новое поколение политиков оставит им два-три процента от совокупной прибыли — и баста! Это во много раз больше, чем просто хлеб с маслом, так что все останутся довольны!.. Слабо работаем, слабо!.. Пятиминутный перерыв! После возобновления торгов мат использовать запрещается!

Смех стал переходить в глухой ропот. Запахло жареным. У многих глаза налились кровью.

Молотобойцев сжал кулаки, потому что почувствовал, что ситуация выходит из-под контроля.

Магуров и Женечкин демонстративно покинули торги.

Бочкарёв достал из-за уха побывавшую в употреблении жвачку, засунул ее в рот и стал надувать и лопать пузыри. В его голове вновь всплыла гениальная, как ему казалось, фраза: «Стихотворный яд, отравиться наизусть», — с которой он пробудился, счастливо прожил день и намеревался заснуть.

Левандовский не переставал завидовать Волоколамову:

— Мою роль взял, Лёня. В моем стиле работаешь. Я бы, конечно, играл по совсем другому сценарию, но теперь уже поздно. Ты на трибуне, я — в народе. Доигрывай, раз взял с меня слово. Будь все проклято. Перегораю.

Волоколамов вспотел. Он скинул пиджак, в два приема избавился от серого галстука, глотнул воды из графина и расстегнул две верхние пуговицы рубашки, словно хотел сказать: «Стреляйте! Моя грудь открыта для пуль».

Частичное обнажение вызвало у девочек томные вздохи.

Волоколамов хватил молотком по столу и возвестил:

— Продолжим торги! Мы остановились на цене семьдесят рублей за страну. Итак... семьдесят — раз, семьдесят — два, семьдесят...

Тридцать колец выпалили разом, чтобы превратить грудь Леонида в дуршлаг и не дать ему произнести преждевременное «Три! Продано!» Цена дрогнула, но устояла, потому что из-за какофонии Волоколамов не смог определить, кто в него попал, а кто промахнулся. Странно, что человек, который еще пятнадцать минут назад был готов сбавить страну по дешевке, теперь уцепился за семьдесят рублей и намеревался оборонять эту цифру до последней возможности.

Когда дым от последнего залпа рассеялся и тишина практически восстановилась, Волоколамов сгреб со стола украшенную бахромой красную скатерть и накинул ее себе на плечи, не забыв предварительно выхлопать из нее пыль. Он стал похож на спартанского царя Леонида, ставшего у Фермопил на защиту раздираемой усобицами Греции. «Семьдесят рублей — или смерть!» — читалось в глазах Волоколамова.

Смех выветрился из комнаты. Разгоряченные студенты вскочили с насиженных мест и взяли Волоколамова в кольцо, словно какого-нибудь негодяя Паулюса. Попав в окружение, «спартанец» приободрился, так как терять было уже нечего. О почетной сдаче на милость покупателей не могло быть и речи.

— К порядку!.. Выкрикиваем по очереди.

И все смешалось...

— Нищие кругом! Бомжи! Шестьдесят девять рублей!..

— Не принимается! Ты сам лично хоть одному нищему подаль!..

— Шестьдесят восемь! Беспредел чиновников!..

— Ты же их сам взятками плодишь! Семьдесят — раз!..

— Дороги разбиты!..

— Зато дураки в целости! Это тебе не Европа! Перепад температур на дорожном покрытии! Плюс тридцать — летом, минус тридцать — зимой!.. Семьдесят — два!..

— У стариков пенсия какая! Шестьдесят девять!..

— Шестьдесят восемь! Скатываемся к тоталитаризму!..

— Бога забыли! Шестьдесят семь!..

— Насчет пенсий! Старикам собственные дети должны помогать, а ты на государство бочку катишь, спишь и видишь, как родителей в дом престарелых сплавить! Семьдесят — раз!..

— В армии — развал! Дедовщина!..

— Отслужи сначала — раз! Мы тут водку жрем, а они сейчас в караулах мерзнут, тебя, между прочим, охраняют... два! Семьдесят рублей...

— Алкоголизм! Наркомания! Проституция! Бандитизм! Тунеядство! Холуйство!.. Шестьдесят девять!..

Кольцо из студентов с заключенным в нем Волоколамовым сжалось до опасных пределов.

— Сволочь!

— На себя посмотри, шкура!

— Да я не тебе! Я вон тому!

— А я как раз тебе!

— Наших бьют!

— Остыньте! Держитесь в рамках! Оттащите этих! Быстрее, а то вахтерша ментов вызовет!

— Убери руки! Кто дал ему право Россией распоряжаться?!

— Хочет и продает! Гражданские свободы, понял?! Свобода слова! Тронешь его — зарюю!

— А мы — тебя!

— А мы — вас!

Вокруг стола завязалась греко-римская борьба, все против всех.

— Семьдесят рублей — два! Иссякли?! Вы — не студенты! Вы — пэтэушники! — крикнул Волоколамов, смещенный вместе со столом на три метра вправо.

— А я горжусь этим. И на станке детали вытачивал. И любил свою работу. Меня девчонка бросила, потому что зарабатывал мало. Поэтому станок на экономический факультет променял. Что ты можешь знать о рабочих, овца тупорылая?! — прорвавшись через толпу студентов, прохрипел в лицо Леониду третьекурсник Егор Кузнецов и, сплюнув, ударил «спартанца» в правый глаз.

Волоколамов растянулся на полу, но молоток из рук не выпустил. Молотобойцев бросился к другу на выручку.

— Стоять, Васька! Я заслуженно получил! — крикнул Леонид и обратился к обидчику: — В друзья тебе не набиваюсь, пролетарий. Пошел ты. Просто приятно жить рядом с тобой. Параллельно тебе. Разрешаю надругаться над ценой. Даешь обвал!

— Тридцать! — выкрикнул бывший пэтэушник.

— Хрен тебе, а не тридцать! — бросил Волоколамов, рывком поднялся на ноги и хлестким ударом разбил обидчику нос. — Квиты... Это тебе за то, что ты за тридцать сребреников страну хотел купить... Не быть тебе экономистом, кефарь. Возвращайся-ка лучше к станку. Там ты сейчас нужнее, только там гордиться тобой буду... Семьдесят отечествен-

ных и хоть как-то подкрепленных золотом рублей — раз! Семьдесят непредсказуемых, но до боли родных рублей — два!..

И снова все смешалось:

— Москва на доллар подседа! Наркоманка! Да что там — молится на бакс! Мамоне поклоняется! Сорок пять рублей!

— И что с того, что поклоняется? Свобода вероисповедания!

— Не Москву покупаем — Россию! Столица отдельным лотом идет!

— Сепаратист!

— От слепошарого придурка слышу!

— Из-за какого-то дерьма цапаетесь!

— Так дерьмо разложилось и вонять уже начало — вот и ссорятся!

По всей территории зловоние поползло! В Сибири, на Дальнем Востоке — везде смраднѣй дух!

— А русским духом и не пахнет! Только в сказках и остался!

— Не хочешь — не дыши!

— Пусть разлагается! Как разложится — удобрением станет! Москва — удобрение! Недурно звучит, а?!

— Принимается! — воскликнул Волоколамов. — Сорок пять рублей — раз! Баба ягодка опять — два!

В это время дверь комнаты распахнулась и Магуров с Женечкиным внесли внутрь накрытый белой скатертью стол. Яша осведомился у девушек, не продали ли еще Россию, и подмигнул Мальчишке — мол, действуй.

Открылись альтернативные торги.

— Ни за какие деньги не продается государство, которое, которое, которое... и еще много раз которое, — заторопился Вовка. — Первый и последний лот на сегодня — Россия! Первоначальная цена отсутствует! Выкрикиваем даже не на повышение! Нет, не на повышение, а просто от сердца, которое и подскажет обоснование! Напомню, что Россия, или Российская Федерация — это такое место на Земле, куда определил всех нас бог в двадцатом веке, оснастив при этом великой историей, чтобы нам уже было на что опираться! Площадь — самая большая в мире, чтобы именно мы распоряжались на огромных пространствах!.. Население у нас относительно небольшое, но зато какие возможности выпадают на каждого отдельного человека. Основные источники дохода: газ, нефть, древесина и каменный уголь. Стыд и срам, конечно, что все так запущено, но зато стартовый капитал уже есть и работает на нас, пока учимся. У нас всего этого так много, так много всякого сырья, что даже при всем желании страшные люди не смогут разворовать природные богатства в ближайшие годы. Кишка у них тонка, а там и мы на ноги встанем! Бесценная она у нас! Бесценная! — Мальчишка стал хватать воздух ртом, он задыхался, но на два слова его все-таки хватило: — Родина, ребята!

— Уродина! — мгновенно подыскал однокоренное слово Левандовский и встал рядом с Волоколамовым. — Мне хочется прижмуть к тебе,

Мальчишка, но я дал слово Лёньке. Прости!.. Надеюсь, все в курсе, что брокеров, играющих на понижение, называют «медведями»? С этой секунды я в команде красных «медведей» Волоколамова.

— А ты, случаем, не забыл, Лёха, что кроме «медведей» на фондовых биржах существуют еще и «быки», играющие на повышение? В общем, я с белыми «быками» Женечкина, — сказал Бочкарёв и занял место позади Вовки.

— Ломаного гроша за Россию не дам! — рубанул Молотобойцев. — Нет, пусть мне еще доплатят за то, что я здесь живу! К черту «быков» на пару с Вовкой, Яхой и Артёмом! Да здравствуют «медведи»! Красные «медведи» Волоколамова!

В комнате началось деление. Студенты спорили, к кому примкнуть.

Потом на улице ребята устроили драку «стенка на стенку». Когда Леснянский с выбитой челюстью отполз в сторону и услышал разговор двух катавшихся по снегу парней, то понял, что сделал правильный выбор.

— Это тебе за Россию! — врезал первый второму.

— И тебе — за Россию! — отплатил второй первому.

Страна с замиранием сердца следила за дерущейся молодой порослью и плакала от счастья. Она вспоминала конец семнадцатого века и юного Петра сотоварищи. Да, тогда все начиналось со штурмов снежных крепостей потешными полками, постройки игрушечных ботов и пушек, которые стреляли репой. Но пройдет совсем немного времени, и потешные «преображенцы», «семёновцы» и «измайловцы» станут ядром регулярной армии, ботики вырастут в корабли военно-морского и торгового флота, а пушки ударят настоящими ядрами под Полтавой...

Глава 9

В обед следующего дня шесть человек, украшенных синяками, стояли на ковре у ректора, опустив глаза долу. Зачинщиками драки являлись только Волоколамов и Женечкин, но с давних пор повелось, что стукачок, в обязательном порядке присутствующий на любой более или менее взрывоопасной сходке, считает своим долгом перевыполнить план по закладыванию людей на двести процентов.

Лариса Петровна Орешкина не спешила начать разговор. Она полчаса занималась изучением бумаг, лишь изредка бросая недовольные взгляды на провинившихся парней. Другьям уже стало казаться, что все, может быть, еще обойдется, как грянул гром.

— Ничего не чувствуете, молодые люди?.. Я о запахе. Интересно, чем так неприятно может пахнуть? И ведь регулярно проветриваю помещение, а этот запах появляется вновь... Не знаете, чем так дурно пахнет?

Парни старательно потянули носами в надежде обнаружить источник зловония, но были вынуждены развести руками.

— Не напрягайтесь. Пахнет отчислением, — с убийственным равнодушием произнесла Лариса Петровна. — Я знаю этот запах, уже привыкла к нему.

— Это от Яши. Он вчера помыться забыл, — неудачно пошутил Бочкарёв.

— Боюсь, юноша, что вас тоже чистым не назовешь, — заметила Лариса Петровна. — Посмотрите на свое синюшное лицо. От вас же просто смердит вчерашним побоищем.

В кабинете ректора зазвонил телефон; Орешкина отвлеклась от ребят. Магурову хватило сорока секунд, чтобы жестами объяснить друзьям, что дальнейшие переговоры проведет он.

— Итак, кто из вас спровоцировал драку? — закончив телефонный разговор, спросила Лариса Петровна.

— Понимаете, — вкрадчиво начал Магуров, — тут такое дело, что это как бы была не совсем драка...

— Резня, — подсказала Лариса Петровна.

— Нет, ну что вы, — мягко возразил Магуров и продолжил понижать статус вчерашнего происшествия: — Не резня и не драка. Может, стычка... Нет, даже и не стычка, а так — крохотное недоразумение. Я бы даже сказал — спортивное состязание. Удары ногами почти не использовались. Бокс — вот подходящее слово. Бокс с элементами вольной борьбы.

— Бог ты мой, как все, оказывается, безобидно, а я-то думала... Настолько безобидно, что аж восемь человек в милицию забрали. Служители закона, конечно, в отличие от вас наплевали на правила бокса и употребили дубинки, да?

— Они-то?.. Они — да... Разве они могут знать, что бокс — это спорт настоящих джентльменов? — гордо встряхнув головой, не без обиды в голосе произнес Магуров, выдержал театральную паузу и совершил экскурс в историю: — Английские короли не гнушались боксерских перчаток, небезызвестный Шерлок Холмс считал своим долгом изредка поколачивать Ватсона.

— Что-то по вашим заплывшим физиономиям не видно, что вчера вы использовали боксерские перчатки, подобно британским монархам, — заметила Лариса Петровна.

— Русский стиль, — беззаботно отмахнулся Магуров. — Такая разновидность, знаете ли. Радикальное ответвление от эталонной, привычной модели бокса. Не должны же мы слепо копировать англичан.

— Причина драки? — спросила ректор, заметно смягчившись.

— Банальная история... Самая банальная, — сказал Магуров. — Из-за девчонок. То есть... из-за одной девчонки.

— Не одной, а одинокой, — вмешался Левандовский.

— Так женись. Тебе и такая сойдет, — бросил Волоколамов.

Чтобы угодить всем, Магуров начал лавировать:



— Понимаете, Лариса Петровна, у особы, о которой идет речь, нет возраста, потому что ее лицо скрывает вуаль. Немного странно для нашего времени, но факт. Для одних она — смазливая девчонка-несмышлениш, для других — мудрая женщина в расцвете лет, для третьих — беззубая карга, впавшая в маразм. Одни говорили, что никто не сравнится с ней по красоте, другие утверждали, что она — само безобразие. В общем, спор, Лариса Петровна, между нами разгорелся нешуточный.

— Зато никто не остался равнодушным к упомянутой даме. Если говорить образно, одни хотели видеть ее раздетой, другие — одетой, — вставил свое слово Бочкарёв.

— Что-то вы меня путаете... Вы можете внятно ответить, где она живет, работает, с кем общается, как ее зовут?

— Ее адрес — не дом и не улица, — загадочно произнес Магуров. — Несмотря на то что мы имеем дело с видной женщиной, работает она, по общему мнению, прислужгой в чужом доме, потому что ничего серьезного пока делать не умеет... Имя забыл. То ли Рита, то ли Роза, то ли Рима... Нет, не то... Может, Росанда?.. Иностранное, по-моему, какое-то имя.

— Я те дам — иностранное... — сказал Левандовский.

— Ты прав, ты прав, — быстро согласился Магуров. — Имя у нее, конечно, русское.

— Относительно недавно она была в паспортном столе и изменила имя, — вклинулся Волоколамов. — С нашего на иностранное. Сейчас она испытывает вполне понятные неудобства, потому что так ее называть никто не привык; новое имя должно обкататься, прижиться, так сказать.

— Раиса, Рената, Розалия, — продолжал лавировать Магуров, как тридцать три корабля.

Страшная догадка осенила ректора: «Неужели о них вчера говорил Радий Назибович?! Шесть человек. Все сходится. Разные, умные, с фантастическим сиянием в глазах. Точно они. Только почему говорят загадками, таятся, конспирируются?..»

Лариса Петровна Орешкина была прежде всего женщиной, а потом уже ректором и коммунистом, поэтому помимо воли на ее лице проступила жалость к ребятам. Задиры уловили кардинальный перелом в настроении ректора и нагло воспользовались моментом, наперебой выдав по фразе:

— Синяки украшают мужчину...

— Больше не будем...

— Команду КВН организуем, и институт прогремит...

— За учебу плотно возьмемся...

— Отчислить нас всегда успеете...

— Вы красивая и мудрая женщина, это сразу видно...

Лариса Петровна подошла к Мальчишке. Этого парнишку ей было жаль больше всех. Вовкино лицо напоминало грозненскую площадь

Минутка на второй день после штурма, потому что на нем невозможно было разглядеть ни одного живого места, кроме небесно-голубых глаз, светившихся из воронок-глазниц.

— Ты-то куда полез? — ласково спросила Лариса Петровна и погладила Вовку по голове. — Кто тебя так?

— Свои, чужие... все приложились, — бодро ответил Женечкин. — А так-то, конечно, свои. Вчера все свои дрались, чужих не было.

— И ты не в обиде на них?

— Что вы... На своих грех обижаться.

— Так убежал бы. В следующий раз — убегай, — посоветовала Лариса Петровна.

— Я бы с радостью, только некуда. От себя не убежишь... Участвовать в драке — плохо, потому что обязательно замараешь руки в крови. Но удариться в бега — еще хуже: руки останутся чистыми, а совесть заляпаешь тем, что в трудную минуту не со всеми был.

Лариса Петровна отошла от Вовки и села за стол. Она запретила себе спрашивать парней о том, что ее по-настоящему волновало, но женское естество возобладало.

— Может быть, имя этой женщины — Россия?

В мгновение ока лица ребят стали непроницаемыми, из их глаз повеяло холодом.

— За кого вы нас принимаете? Разве мы похожи на идиотов?.. Если так, то лучше отчисление, — грубым тоном произнес Молотобойцев.

— Многих женщин знаю, но среди них нет ни одной с таким глупым именем. В даунах я ходить не намерен... Отчисление, — поддержал Бочкарёв.

— Красивое имя. Не глупое, а красивое имя, — поправил Левандовский. — Пусть и красивое, но смеяться над собой я не позволю. Сегодня же забираю документы.

— Некрасивое имя, — холодно заметил Волоколамов. — Женщина, за которую я дрался, не имеет ничего общего с Россией. Какой дурак будет биться за то, что не имеет материальной оболочки? Одна духовная, да и та с гнильцой. Я вам не воздухофил, Лариса Петровна... Отчисление.

— Я с поцыками. Пропадут они без меня, да и я без них... Отчисляйте... — сказал Женечкин.

— Остановитесь, пацаны! Одумайтесь! Простите их, Лариса Петровна! Не то они говорят... Академ! Не нашим и не вашим: академ! — стали лавировать все тридцать три корабля Магурова, но только лавировали, лавировали, да не вылавировали. — Но год терять, а потом опять на первый курс... Какой смысл? Уж лучше отчисление, а следующим летом в более престижный вуз поступим.

Лариса Петровна была растеряна — она не знала, как вести себя дальше. Не сомневалась только в одном: никуда она их от себя не отпустит.

— Я что-то задумалась. С нами, женщинами, это бывает, — произнесла Лариса Петровна. — Так о чем вы сейчас говорили?

— Всё вы прекрасно слышали. Ложь! Лжете всё! Уходим, пацаны! Здесь нам больше нечего делать, — нахамил Молотобойцев.

Лариса Петровна была мудрой женщиной, поэтому не обиделась на слова Васи. Она даже про себя поблагодарила нахала за то, что он, сам того не понимая, подыграл ей, так как теперь ничего не надо было придумывать для того, чтобы парни изменили решение. Лариса Петровна пустила в ход универсальное женское средство, от которого размягчаются до состояния лебяжьего пуха даже самые суровые мужчины: глаза ректора увлажнились, и она произнесла фразу, уникальную по своей простоте и силе воздействия:

— У вас нет сердца...

А после она сайгаком начала скакать от стенки, из которой доставала фотографии и вырезки из газет, к рабочему столу. Парни с удивлением наблюдали за ней. Лариса Петровна молодела на глазах, и ребята подумали, что она еще очень даже ничего, вот только сменить прическу, подобрать подходящий макияж, поработать над стилем — и хоть сейчас под венец.

— Молодые люди, обещайте, что не будете смеяться надо мной, — сказала Лариса Петровна.

Друзья утвердительно кивнули.

Лариса разложила фотографии на столе и начала рассказывать:

— На этих фотокарточках я в молодости... Вот это маленькая девочка с огромными белыми бантами — октябренок Ларисонька. Как жаль, что сейчас не носят гольфы, правда?.. Не находите, что гольфы идут малышам?.. Здесь — пионерка Лариска по прозвищу Утюг, потому что всегда тщательно гладила школьную форму... На этом снимке мне вручают комсомольский билет. Видите, как я волнуюсь? Это сейчас партии меняют как перчатки, а в мои времена вступали пусть и в одну, но раз и навсегда... На этой фотографии Лариса на правах парторга выступает на партийном собрании... А здесь я уже второй секретарь горкома.

— Это, конечно, все замечательно, но за семьдесят лет коммунисты угробили страну, — деликатно заметил Волоколамов.

— Вы говорите штампами, юноша, — не обиделась Лариса Петровна. — Сволочи, которыми изобилует всякий государственный режим, безусловно, издевались над страной, а вот настоящие партийцы, коих тоже было немало, хотели сделать наше государство процветающим. По-моему, коммунистов можно разделить на три поколения. Первое поколение — братоубийцы. Второе — защитники Отечества, антифашисты. Третье — строители светлого будущего. — Лариса Петровна вздохнула. — Сейчас многие смеются над утопическими идеями, но вы должны смотреть на историю беспристрастно. Да, было очень много грязи, но и немало хорошего... А наши песни, ребята?! Как были прекрасны наши песни! «Землянка», «Прекрасное далеко»... Из старых кинофильмов берите любую

песню — не ошибетесь. Сами фильмы берите — и здесь не промахнетесь: бессмертные комедии, героические ленты о войне, детские фильмы. Там ведь о вечных ценностях: чистой любви, бескорыстной дружбе, честности, порядочности, доброте, трудолюбии, патриотизме, жертвенном служении людям и братстве народов. Нравственность не имеет цвета, не бывает красной или белой.

— Благодаря таким замечательным людям безобразная система продержалась очень долго, — произнес Волоколамов. — Семьдесят лет продержалась. От своего дяди я наслышан о вашей честности, скромности, невероятной принципиальности на партийной работе. Вас любили простые люди, вам верили... но это не комплимент. Вы заблуждались сами и других вводили в заблуждение. Люди, подобные вам, отодвигали наступление демократии... Вы отсрочили приход западников, приход правых сил.

— А я вот, Лёнька — славянофил. И уж точно — левый, потому что на твоём фланге ультраправые националисты гнездо свили, потому что гарные хлопцы из твоей свиты, дав свободу, отняли у людей землю и промышленность, — сказал Левандовский. — Знаю, что «левый славянофил» звучит странно, но мне все равно... Зачем людям свобода без земли, заводов и фабрик?

— Нужно вырастить средний класс, — бросил Волоколамов.

— А откуда он, по-твоему, должен взяться? Не из народа разве?

Увидев, что между Леонидом и Алексеем снова назревает ссора, Магуров решил переключить внимание на себя:

— Я вот, к примеру, центр.

— Не нашим и не вашим, — решил позубоскалить Бочкарёв.

— Зачем ты о нём в таком тоне? — с негодованием произнес Женечкин. — Или ты забыл, сколько раз Яшка нас выручал, примирял, спонсировал? Некоторые уже бы тут глотки друг другу перегрызли, если бы не его постоянное вмешательство. Он — центр, и центр настоящий.

— Ты-то сам чьих будешь? — улыбнулся Бочкарёв.

— Не понял...

— Чей холоп, говорю?

— Только не смейтесь, — серьезно сказал Женечкин. — Верхний я. Партия чистых облаков. Богу служу... Инопланетяне, ребяташки, лешие, эльфы, волшебники, гномы всякие в одной команде со мной, потому что их тоже Господь создал. — Вовка задумался. — Или мог бы создать, если бы люди заслужили сказку, доросли до нее.

— Если ты — верхний, то я тогда — нижний, — с грустью произнес Бочкарёв. — Принадлежу к партии грязных страстей. На мой взгляд, главная из них — ненормальная тяга к женщинам. Надеюсь, что у меня получится переманить своих однопартийцев к тебе, Мальчишка. Надо только разобраться в причинах, почему во все времена убийство, воровство, ложь считаются преступлениями, а прелюбодеяние романтизируется...



Лариса Петровна подумала: «Пока все без четкого царя в голове, но определенно с ромашками в сердце». А вслух сказала:

— Делаю вам последнее предупреждение, молодые люди. И запомните: драка — не решение проблем... Можете идти.

Как только ребята покинули кабинет, Орешкина начала звонить коллегам. Она не просила, а приказывала:

— Во втором семестре к Волоколамову, Магурову, Левандовскому, Женечкину, Бочкарёву и Молотобойцеву — особое внимание. С перечисленных студентов спрашивать строже, чем с остальных. Ни в коем разе не заигрывать с ними, иначе сядут на шею. И не вздумайте подстраивать парней под себя, ломать их убеждения. Лишь слегка направляйте и дорабатывайте ребят, занимайтесь огранкой, а не распиливанием... Что?.. Не слышу вас... Что-что?.. Нет, не алмазы. Обычные буяны. Просто я поручилась за них перед родителями.

Глава 10

31 декабря 1999 года вся страна готовилась к встрече нового тысячелетия. Тоннами строгались традиционные оливье, исключительно для запаха покупались не менее традиционные мандарины, раскладывалась по тарелкам «какая гадость эта ваша заливная рыба». Советское шампанское, которое в другое время не переносилось на дух, расходилось в магазинах со свистом, чтобы ровно на одну минуту в году под бой кремлевских курантов и залпы праздничного салюта единым фронтом выступить против диктаторской власти водки и с последним ударом часов героически погибнуть в неравной борьбе. Нестареющая Барбара Брыльска, иронизируя по поводу прорухи судьбы на первом канале, в очередной раз долго не могла сделать выбор между двумя городами федерального значения, потому что в глубине души мечтала о Красноярске. На второй программе гнали к исправлению бессмертных «Джентльменов удачи» параллельно Барбаре, чтобы перессорить домочадцев, разделить их в канун светлого праздника на тех, кто за классику любовного треугольника, и тех, кто за милого вора Крамарова. Тридцать первого декабря каналы ОРТ и РТР по негласной договоренности будили только лучшие чувства в людях, чтобы уже завтра с удвоенной энергией вновь взяться за старое. Компьютерщики боялись сбоев в программах, потому что три девятки должны были смениться на нули.

Наши друзья решили справить Новый год вместе, сняв двухкомнатную квартиру в центре города. Чтобы не утруждать себя лишними хлопотами и ничего не забыть, ребята четко распределили обязанности. Местные взяли на себя горячие блюда, холодные закуски и салаты, иногородние — спиртные напитки и фрукты.

Было девять часов вечера. Левандовский и Волоколамов накрывали на стол. Женечкин вырезал из белой бумаги снежинки и лепил их на окна.

Молотобойцев развешивал по квартире гирлянды и шарик. Бочкарёв, развалившись на диване, смотрел телевизор. Магуров спал.

— Просыпайся, Яшка, — сказал Женечкин и стал трясти друга, растянувшегося на полу. — Хватит дрыхнуть, а то так новое тысячелетие проспийшь.

— Еврей свое не проспит, не беспокойся, — буркнул Магуров и перевернулся на другой бок.

— Яков Израильч, елку достать надо. Тебе одному это под силу. Как без елки-то? — произнес Молотобойцев.

— Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Хотите, чтобы я у вас весь год на побегушках был? Не поперет, — не сдавался Магуров. — Нашли крайнего... И вообще, у меня аллергия на хвою.

— На работу у тебя аллергия, — рассмеялся Левандовский. — Как командовать, так ты мастер. Пора меняться, Яша. Потрудись-ка на общее благо.

— Командовать тоже надо уметь, — мягко заметил Магуров. — Только дураки сплеча рубят, приказывают, а ты научись искренне интересоваться человеком, принимать его таким, какой он есть, возвеличивать его достоинства... и тогда он сам для тебя все сделает, просить даже не надо. Всем советую почитать Дейла Карнеги, много полезного для себя почерпнете.

— Ты — лучший, Яша! Ты — гений! Сходи, пожалуйста, за елкой! — патетично произнес Волоколамов.

— В твоих словах неоправданного пафоса много, а елей струйкой должен сочиться, — принялся за обучение Магуров. — Пусть кто-нибудь еще попробует. Ни ругать, ни хвалить толком не умеете. Вы должны научиться находить подход к любому человеку, понятно вам? С вашими методами далеко не продвинетесь, в самом начале проиграете. Хотя в тысячу раз лучше других будете, а вас все равно обставят. Принципиальность — это смерть. Например, не нравится тебе человек, не согласен ты с ним — и ты ему об этом в лоб. Что ж, поздравляю вас с еще одним нажитым врагом. А вы прогнитесь, гордость свою в одно место запихайте, если человек вам для большого дела нужен. Гордецы никогда ничего значительного не добивались, принципиальные тоже до финиша не добежали. И любите врагов... ясно вам? Любить врага — вовсе не значит принимать его взгляды. Не надо грубить, кричать и плевать. Всех без исключения любите, уяснили? Добрых, злых, некрасивых, хитрых, наглых, жадных, всяких... понятно?.. Любите и используйте людей. Используйте и сами выручайте тех, кто в вас нуждается. Идите наверх не по трупам, а по своей гордыне и принципиальности, потому что наверху будете иметь больше возможностей помогать тем, кто остался внизу.

— А помните, поцыки, как Яшка всю группу выручил? — воскликнул Мальчишка. — И ведь никому ничего не сказал, тихушник. Семинар по экологии. Препод в бешенстве. Все думали: хана, встряли, промежу-



точный контроль ни за что не пройдем. А Яшка откуда-то узнал, что у Марины Алексеевны дочка тяжело больна и нигде нет нужных лекарств. Яха бы и так ей помог, потому что у него куча полезных связей по городу, а тут вообще в тему пришлось. Мы погибать собираемся, а тут раздастся стук в дверь. Заходит человек и передает Марине Алексеевне посылку, а на посылке написано: «Бог милостив». Не «Яша» написано, а «Бог милостив». Внутри — лекарства. У нашего друга лукавое, но доброе сердце, понимаете вы это или нет? Это же рукотворное чудо было. Это же, это же...

— Ладно уже... Хватит. Я ничего особенного не сделал, — растрогался Магуров. — Елку вам действительно без меня не достать, а то фиг бы пошел... Но я ее не понесу. Как хотите, а не понесу...

— Ну и плут! — расхохотался Молотобойцев. — Умер, а ногой дрыгнул!.. Я понесу. Ты, главное, достань ее в девять часов вечера, а я уж как-нибудь донесу, не переломлюсь.

— Не красный и не белый... Касторский! — произнес Бочкарёв, оторвавшись от телевизора. — Буба Касторский. Оригинальный куплетист Буба Касторский. Национальность: одессит. Яша, он же Буба, он же — лондонский аэропорт «Хитроу», радушно принимающий плохих и хороших, сильных и слабых, чтобы быть в курсе всех событий, иметь козырные карты, сводить и разводиться целые государства. Пропадем без тебя, пропадем.

Через сорок минут Магуров достал не только елку, но и костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Ребята не стали украшать лесную красавицу: все сошлись на том, что живая природа не нуждается в искусственных блестяшках. Но звезду на макушку Мальчишка все-таки водрузил, заметив друзьям:

— Как будто она прямо с неба упала. Так Землю с космосом породним.

Пять минут до третьего тысячелетия. Новогоднее поздравление Бориса Николаевича Ельцина. Страна в шоке. Пьяные трезвеют, трезвые пьянеют, потому что Сам уходит. Двадцать миллионов в оцепенении повторяют за президентом: «Я ухожу в отставку». Сто миллионов вздыхают с облегчением: «Король умер» — и тут же с надеждой в голосе восклицают: «Да здравствует король!» Еще двадцать миллионов спокойно произносят: «Я принимаю пост».

Бой курантов, хрустальный звон бокалов и крики радости:

— С Новым годом! С новым счастьем! Здоровья, радости, веселья! Ура-а!

Потекли первые минуты третьего тысячелетия. Левандовский поднялся из-за стола и сказал:

— С этой минуты начинает свое существование тайное студенческое общество, которое мы давно хотели организовать. По-моему, момент подходящий. Надо придумать название.

Пошли предложения: «Сибирское братство», «Союз спасения», «Череп и кости», «Россия и Космос», «Гламурный респект», «Содружество патриотов», «Яша и компания», «Провинциальный прорыв», «Союз шести», «Национальная идея», «Незолотая молодежь», «Судьба и Родина», «Веселье ребята», «Русский стиль», «Три плюс три», «Небрезгливые падальщики», «Два плюс четыре», «Возвращенцы к истокам», «Мудрый сплав», «Коалиция храбрецов», «Вольные каменщики», «Шесть минус ноль», «Евразийский секстет», «Молодая гвардия», «Сказка и былль», «Легенды нового века», «Безусые зачинщики», «Революционный сдвиг», «Дети подземелья», «Эволюция и песок», «Люди и хлеб», «Вера и правда», «Кнуты и пряники», «Физики и лирики», «Грешные праведники», «Праведные грешники», «Западники и славянофилы», «Сердца на блюде», «Неписанная Русь», «Пансионат духоведов», «Господь с нами»...

— Господь с вами... Какой «Господь с нами»? — возмутился Женечкин. — Поцыки, не зарывайтесь, пожалуйста. Нельзя. Грех... Все это не подходит. Мы предлагаем либо то, что уже было, либо начинаем заимствовать то, что уже есть, либо глумимся, либо ударяемся в пафос... А надо — просто и со смыслом. Представьте, к примеру, что мы — дежурные по классу. Не надо в начале деятельности много на себя брать, а то надорвемся, и на всю жизнь нас не хватит. Будем пока просто стирать с доски всякую гадость и писать на ней стихи, подметать полы, поливать цветы, мыть окна, чтобы через них свободно проникал солнечный свет, приучать к порядку одноклассников, а там, может, и дорастем до чего-то более серьезного... В общем, какие-нибудь дежурные...

— ...по стране, — добавил Бочкарёв.

— Дежурные по стране... ДПС... Решено. Думаю, что никто не против. Отныне мы называемся «Дежурными по стране», — сказал Волоколамов.

— Символ — красная повязка дежурного. Как в школе, — произнес Левандовский.

— Клятва на верность обществу должна быть простой, — подключился Молотобойцев. — Никаких кровопусканий в чашу Грааля, мистических обрядов посвящения и прочей ерунды... Заводим журнал, заносим туда свои фамилии, а напротив фамилий не расписываемся, а ставим крестики. Двойной смысл получится. С одной стороны, ставим крест на себе, на своих амбициях и желаниях, с другой — становимся ближе к народу, потому что неграмотные люди из низовой прослойки когда-то расписывались именно так.

На том и остановились. Магуров старательным почерком переписал в тетрадь фамилии и инициалы парней, потом все расписались. Женечкин предложил посмотреть город с крыши. Взяв с собой шампанское, друзья покинули квартиру.



Мороз давил за тридцать. Воздух был настолько чистым и прозрачным, что, казалось, стоит только протянуть руку — и можно собирать звезды в лукошко. Все реже слышались залпы праздничного салюта, потому что победоносные армии новогоднего фронта в спешном порядке покидали город и развивали наступление на запад. Люди не спали. Из окон многоэтажных домов лился свет. Не обращая никакого внимания на холод, разогретые алкоголем горожане выходили из подъездов, соединялись в толпы и шумными компаниями валили на городскую елку в Белогорский парк. Там можно было встретиться с друзьями и старыми знакомыми, поздравлять и быть поздравленным, покататься на горках, поиграть в снежки и поводить хороводы.

Друзья стояли на краю крыши, смотрели вниз и молчали. Первым заговорил Мальчишка:

— Поцыки, я должен обязательно сказать вам, что из нашей затеи ничего не выйдет. Нет, я не к тому, что надо остановиться. Просто раньше ни у кого не получалось, и я хочу, чтобы вы были готовы к этому.

— А как же тогда идти вперед? — спросил Магуров.

— Переквалификация, — ответил Женечкин. — Все любят славу, успех, деньги, а вы влюбитесь в бесславье, неудачи и безденежье. В такое еще никто не влюблялся. Если сможете, станете обладателями страшной силы, просто необоримой, поцыки. То, что будет ломать и корезить других, вас будет радовать и вдохновлять. Среди провалов вы будете чувствовать себя как рыба в воде, сможете принимать правильные решения, когда другие начнут опускать руки. Научитесь любить неудачи, мечтать о них, хвалиться ими. Коллекционируйте рубцы на душах... как марки. Помните, что железо закаляется не на лазурном побережье, а на страшном огне. А нужная форма придается ему не через поглаживание, а через удары молотом о наковальню.

— Понятно, Вовка. Не продолжай, — произнес Молотобойцев. — Теперь вот о чем... Нам не надо устраивать тайные собрания, как это делают все общества. Организация — не для самой организации, а для простых людей, которым мы хотим помочь. Надо идти на самые трудные участки и менять там ситуацию, вот и всё. Найдем последователей там — найдем везде. Наша задача — не свержение существующего строя, а его безболезненное реформирование. Эволюционный путь, в общем. Я сейчас конкретно к Левандовскому обращаюсь. Эволюционный, Лёха. Только эволюционный. Баррикады — не выход. Я ни разу не слышал, чтобы даже самый мерзкий политик сказал нам с высокой трибуны: «Режьте, убивайте, крадите». Ни разу. Этого достаточно, чтобы я терпел их беззакония.

— Я с тобой согласен, Вася, но в низы не пойду, — сказал Волоколамов. — Туда сейчас лучше не соваться, иначе хребет поломаешь. Изменить ситуацию можно только реформами сверху... Отупевшее быдло. Спившийся, ничего не понимающий плебс.

— Это быдло и плебс — великий русский народ, — бросил Левандовский.

— Темное царство. Ни нашим ни вашим... Темное царство, — выступил Магуров в роли третейского судьи.

— А я вот о чем подумал... Каждый из нас должен научиться бороться в одиночку... Надо расстаться, — тоном, не терпящим возражений, произнес Бочкарёв. — Пусть каждый выберет себе участок, а потом расходимся. На все про все — месяц. Время «Ч» — 1 февраля. Место общего сбора — общежитие «Надежда».

Наступила зловещая тишина. Парни задумались.

— Внедряюсь в местную фашистскую организацию «Русское национальное единство», — хладнокровно произнес Левандовский.

Услышав эти слова, Магуров вздрогнул, серьезно посмотрел на Алексея и сказал:

— А мой участок — «шанхай»... Район нищеты.

— Pushkin street... Проститутки, — бросил Бочкарёв.

— Деревня... Еду в деревню, — выбрал сегмент Молотобойцев.

— Войду в молодежный парламент республики, — сказал Волоколамов. — Что-то они там закисло. Растрясу ребят. Всё у них там «как будто» и «понарошку». Я им устрою такие «игрушечные» парламентские чтения, что мало не покажется.

— Детдом, — скромно произнес Женечкин. — Детдом «Золотой ключик». Подбирать буду... Ключик к несчастным детям подбирать.

Бочкарёв разлил шампанское по бокалам. Кто-то из друзей сказал, что вот тут, стоя на крыше, они зависли между небом и землей: от людей оторвались, а к облакам пока не прибились.

— Пацаны, а мы не чокнулись? — спросил Молотобойцев.

— Нет еще, — авторитетно заметил Женечкин. — А надо бы... Фужерами и самим.

Под тост «За удачную кампанию!» парни осушили бокалы до дна и разбили их.

Меж тем месяц, не отвлекаясь, продолжал пасти звездное стадо, чтобы люди, ориентируясь на его мерцающих подопечных, даже в крошечной тьме не сбились с пути. Он, как никто другой, знал, что через некоторое время его обязательно сменит солнце...

(Окончание следует.)



Александр ГАБРИЭЛЬ

ОСЕНЬ НА ГРАНИ ЗИМЫ

* * *

Присесть на лавочку. Прищуриться
и наблюдать, как зло и рьяно
заката осьминожки щупальца
вцепились в кожу океана,
как чайки, попрощавшись с войнами
за хлебный мякиш, терпеливо
следят глазами беспокойными
за тихим таинством отлива,
и как, отяжелев, молчание
с небес свечным стекает воском,
и всё сонливей и печальнее
окрестный делается воздух.
Вглядеться в этот мрак, в невидное...
От ночи не ища подвохов,
найти на судорожном выдохе
резон для следующих вдохов.
Но даже с ночью темнолицею
сроднившись по любым приметам —
остаться явственной границею
меж тьмой и утомленным светом.

КАА

Стародавнее ломится в сны, прорывается изнутри,
и попробуй остаться чистеньким, в стороне...
На подъездных дверях было внятно написано: «Жид, умри!»
А когда я стирал эту надпись, то думал: «Не мне, не мне...»

Ну, а время вползало в души, хотело вглубь,
изменяло фактуру судеб, как театральный грим...
А отец собирал каждый лишний и даже нелишний рупь,
чтоб свозить и меня, и усталую маму на остров Крым.

Мы пытались продраться сквозь засыхавший клей,
 оценить недоступных книг глубину и вес...
 Жизнь казалась длиннее, чем очередь в Мавзолей,
 но размытою, как повестка съезда КПСС.

Мы Антонова пели персидским своим княжнам,
 исчезали по каплям в Томске, в Улан-Удэ.
 Все, что думалось нам, что однажды мечталось нам —
 по стеклу железом, вилами по воде...

Притерпевшись давно к невеликой своей судьбе,
 я смотрю и смотрю, терпеливый удав Каа,
 как скрипучий состав, дотянувший до точки Б,
 задним ходом, ревя, возвращается в точку А.

КУСОЧЕК ДЕТСТВА

Ах, детство ягодно-батонное,
 молочные цистерны ЗИЛа!..
 И небо массой многотонною
 на наши плечи не давило.
 Тогда не ведали печалей мы,
 веснушки на носу у Ленки,
 ангина́ный кашель нескончаемый,
 слои зеленки на коленке.

Вот дядя Глеб в армейском кителе
 зовет супружницу «ехидна»...
 И так улыбчивы родители,
 и седины у них не видно,
 картошка жареная к ужину,
 меланхоличный контур школы,
 да над двором летит натруженный
 хрипящий голос радиолы.

Вот друг мой Ким. Вот Танька с Алкою.
 У Кима — интерес к обеим.
 А вот мы с ним порою жаркою
 про Пересвета с Челубеем
 читаем вместе в тонкой книжице,
 в листочек всматриваясь клейкий...

И время никуда не движется
 на жаркой солнечной скамейке.



НЕ СЕЗОН

Слезы от ветра шалого вытри
в сумрачной мороси дней...
Как ни смешай ты краски в палитре —
серое снова сильней.
Серые зданья, сжатые губы,
мокрого снега напев...
День безнадежно катит на убыль,
еле родиться успев.
Туч невысоких мерзлые гривы —
словно бактерии тьмы.
Осень на грани нервного срыва.
Осень на грани зимы.
И черно-белым кажется фото,
лужи вдыхают озон...
Эх, полюбил бы кто-то кого-то...

Но — не сезон. Не сезон.

КРОССВОРД

Я с ней не был знаком, даже имени я не знал.
Чуть припухшие губы, легкие босоножки...
Был в руках у нее на кроссворде раскрыт журнал
с молодой еще Андрейченко на обложке.

Я лишился привычной легкости Фигаро;
я слагал варианты, но не сходилась сумма...
До чего ж малолюдно было в тот день в метро
в два часа пополудни, в субботу, в районе ГУМа.

Эта встреча казалась даром от Бога Встреч,
даже воздух вокруг стал пьянящим, нездешним, горним...
Но куда-то, не зародившись, пропала речь,
встав задышливым комом, дамбой в иссохшем горле.

А когда она вышла, досрочно сыграв финал,
что осталось во мне:
ощущенье беды, тоска ли?
И глядел в потолок незакрытый ее журнал
с неразгаданным номером двадцать по вертикали.

В СТАРОМ ДОМЕ

Мир еще сохраняет и цвет, и объем;
вдалеке — океана седой окоем...
И покуда мы дышим, покуда живем —
эта жизнь сохраняет интригу.
Хочешь — смейся, а хочешь — качай головой:
мы однажды окажемся вместе с тобой
в старом доме, засыпанном легкой листвою,
не входящей в Плющевую лигу.

Даже если не веришь — придумай, пригрезь.
Это будет не завтра и будет не здесь:
только быстрого ливня искристая взвесь,
дом и комнат его обветшалость...
Будет вечер — улыбчив, хитер, сероглаз.
Мы придумаем вместе Олимп и Парнас,
и, возможно, случится у нас и для нас
то, что прежде ни с кем не случилось.

Хоть в реальности мир — неприветлив, не наш,
ноют руки и плечи от тяжких поклаж,
да и сам я — бегун, растерявший кураж
на тревожных бескрылых фальстартах,
но никак не могу я не думать о том,
как мне дорог волнующий этот фантом:
твой непойманный взгляд, тот заброшенный дом,
что не сыщешь на гугловских картах.

* * *

Предугадай-ка: осознаешь, нет ли,
бесстрастный, словно камни пирамид,
когда в последний раз дверные петли
земного скрипа истоцат лимит.
Невидная окончится эпоха,
и в пригоршне едва звучащих нот
прозрачный иероглиф полувдоха
незримый нотный стан перечеркнет.
Твой путь земной — ни шаткий и ни валкий —
на этой гулкой точке завершив,
взлетят куда-то к потолочной балке
растерянные двадцать грамм души,
где и замрут, как мир окрестный замер,
и где, платки в ладонях теребя,
глядятся в ночь опухшими глазами
немногие любившие тебя.

Геральд МЕЕР

ЯКОВ И АННА

П о в е с т ь *

22 марта.

Ну вот, докатилась. И пусть! Плевать на все... и на тебя! Да-да-да! И на тебя плевать, гнусный Яшус, двуликий Янус Шварцман! И повторю: проститутка! Не девки, которых ты охмуряешь, а ты сам!

Хотя, конечно, и они. Галка тоже виновата... И что я поддалась, пошла за ней к ее новым знакомым... И нарвалась: пили что-то, Галку аж стошнило, и она упелелась в соседнюю комнату. Я услышала стоны, вошла. Парень был на Галке. Она и не сопротивлялась.

А тут второй кобель... Я его оттолкнула, а он опять на меня. Словом, врезал мне от души. Правда, только по морде. Сволочь!

А Галка и ее новая любовь уже храпели. В обнимку.

Я плац с вешалки — и на улицу. Чувствую, что физиономия в крови. В кармане зеркальце. Взглянула... Ужас!

Домой стыдно. И так захотелось рассказать-поплакаться. Тебе рассказать... Привыкла с тобой в дневнике разговаривать. Но дневника не было. И тебя рядом не было. Где ты там? С кем ты там? И как угадала: ноги принесли к твоему другу.

Ка-Ка — тоже сволочь! — не тормознул меня, не предупредил. В коридорном зеркале — красно-синюшная физиономия. Я от нее — в комнату, чтоб спрятаться. И вдруг — ты. И девица рядом... Я опешила... Ха, и ты глаза вылупил. Я — назад! И тебе в глаза: «Проститутка!»

Девка твоя наверняка это на свой счет приняла. Ничего, переживет.

Галка тоже все переживет. А моя «пропитая» физиономия... вернее, моя «русская морда», конечно, окончательно пала в твоих глазах вместе с ее обладательницей.

Но нет, это не мы, это вы все... да-да, не мы, а вы, мужики, проститутки! Только берете не наличными, а натурой. Все вы, русские и прочие кобели, сволочи. И ты в том числе.

* Журнальный вариант. Окончание. Начало см. «Сибирские огни», 2015, № 7.

23 марта.

Да, я вышила. И еще буду!

Недавно где-то вычитала, что, пока человек живет, он должен любить и верить людям, иначе никогда не будет счастлив. Но это не про меня. Все потеряно — все, что имела раньше. Нет никого и ничего — ни матери, ни его. Некого любить, некому верить. Полное несчастье.

Жизнь... Все дорожат и хранят ее, берегут. Зачем?!

Смерть... Все ее боятся. А мне иногда хочется с ней подружиться. Все невзгоды разом и кончатся. Будет спокойно, только холодно. И это не малодушие. Для того чтобы убить свою жизнь, нужны воля и мужество.

Но нет, не я буду убийцей. Пусть эти записки станут обвинением тебе. Читая их, люди будут судить тебя. Впрочем, нет, судить тебя буду я. Тогда мне будет уже безразлично, и я тебя не пожалею. Ты уйдешь вместе со мной. Я заплачу тебе за все, гадкий обманщик, трусливый жмот! Да, жадный, хитрый, корыстный трус! Ты не дал мне ничего — ни радости, ни покоя — и взял у меня все — мою ласку и искренность, мою мечту и надежду. Ты подло сбежал, оставив меня с тоской и болью, и опять ходишь, негодяй, по земле и продолжаешь обманывать людей своим пылким красноречием! Ты заплатишь за все эти жуткие поступки!

Что мне сделать, чтобы утолить свою мстительную ненависть и злобу? Не знаю. Я хочу только твоего унижения, чтоб и тебя била судьба, чтоб ты попал в аварию, чтоб ты совсем — да-да! — умер жестокой, мучительной смертью. И чтоб тебе ни в чем не было удачи. Об этом я даже могу помолиться Деве Марии. Помнишь, она мне как-то помогла? Она и тут мне поможет, я верю в это.

Видишь, как я жестока. И хочу остаться такой! Чтобы не плевали в душу разные подлецы и самоуверенные люди, которые ничего не ценят. Сама буду плевать на них, чтобы всегда оставаться спокойной и довольной.

Сейчас меня убило горе. Пройдет время, я оправлюсь, успокоюсь, но этого не забуду и тебе не прощу. Был еще один человек, ненавидевший тебя, — моя мать. Она говорила мне об этом, но я ее не слушалась. Будь у нее сила, она задушила бы тебя, гадкого. Но она уже была больна, не могла мстить. Но она мстит тебе сейчас, лежа в могиле. Ведь я так просила ее об этом! Это была моя последняя просьба, когда я сидела ночью у гроба, когда мы оставались в последний раз одни. Мама понимала меня, и я могла плакать. И потом, на людях, мои сухие слезы она тоже понимала. Понимала в последний раз.

Она должна исполнить мою просьбу. Чтоб у тебя, гнусный изменник, никогда в жизни не было любви, никогда не было удачи. У тебя меньше воли, если ты расстался со мной. Твоя расчетливая натура заставила сделать это, но не воля. Ты подлец, а у подлецов нет воли. Все другое есть, но только не воля. А у меня она есть! И я докажу тебе, и себе, и всем. Вот

возьму и брошу эту дурацкую привычку... и даже привычки, которые появились у меня опять же благодаря тебе! Да, я больше не буду пить много вина. И не буду — да, да, напишу! — не буду сама себя ласкать, думая о тебе. Клянусь! Но нанесенных тобой обид я никогда не забуду и сполна заплачу тебе, жалкий еврей, поганое отродье! Будь ты проклят! Пусть земля всегда горит под твоими ногами, паршивый урод. Берегись, подлая тварь! Я буду мстить. И если у меня будут дети, они будут мстить твоим детям, жидовская твоя морда!

Стихотворение Яши Шварцмана

Я совсем непьющий —
 Это знает каждый.
 На пол не плюющий,
 Некурящий также.
 Выбрит, накрахмален,
 В карты не играю.
 Кодекс я моральный
 Наизусть весь знаю.
 И плачу я взносы
 Очень аккуратно.
 И на все вопросы
 Отвечаю внятно.
 И всегда с билетом
 Езжу я в трамвае.
 Только счастья нету.
 Почему — не знаю.

11 октября.

Так вот... Все равно буду писать.

Прошло уже больше года, как мы расстались. А кажется, что только вчера.

Сейчас уже где-то много... много времени, но я все-таки вернулась домой. Пьяная.

Я совсем изменилась. Как узнала, что ты в какой-то длительной командировке, так целое лето и осень всё кучу, кучу...

И все-таки... чем дольше наша разлука, тем острее понимаю, что все больше и больше люблю тебя. Милый Яшик, я люблю, понимаешь, люблю тебя! Пусть вино, папиросы, мальчики и мужчины, но я люблю тебя.

Яшка, милый, ты не представляешь, каково вот так вернуться пьяной домой — пьяной от вина, твиста, парней, пьяной от всего, что вокруг, и понимать, что по-прежнему любишь своего Яшку Шварцмана... Это прекрасно! Прекрасно, что чисто-чисто любишь его, несмотря ни на что. Даже очень любишь и скучаешь. И мечтаешь хотя бы увидеть его такое любимое и милое лицо, немного сутуловатую фигуру. Мне больше ничего и не нужно, так как за всем плохим (нет-нет, милый, я буду верна тебе

всегда, пусть ты и не вспоминаешь обо мне, верна, даже когда кто-то меня целует!) скрывается какое-то большое, чистое чувство.

Неужели я и в самом деле люблю тебя, Яшка?! Я, самолюбивая эгоистка, и вдруг люблю тебя... В это никто не верит. Мне и раньше говорили, что я люблю тебя только ради себя. И уж тем более сейчас, когда меняю... как перчатки.

Яшка, а ведь это не так. Со мной ты всегда. Пью я — ты пьешь рядом. Целуюсь с кем-то — это ты целуешь меня...

Нет-нет, сплю всегда одна. Даже если и гуляю где-то далеко, всегда возвращаюсь домой: вдруг ты придешь, а меня нет дома.

Вот розы стоят в вазе. Их подарил другой. А помнишь ту розу, красную?.. Как я берегла, как целовала ее... Это была твоя роза. А сейчас... Сейчас нет ничего твоего.

Яшка, милый, я люблю тебя. Слышишь, люблю... Люблю.

А ты, сволочь, молчишь! Плевать я на тебя хотела, когда каждый день пью... И, может быть, меня кто-то любит.

А я люблю тебя... и я плюю на них. Как хорошо было раньше. Но не было хохмочек. А сейчас такие хохмочки, такие хохмочки, что я хочу спать.

13 октября.

Говорят, что лирическое настроение и любовь приходят весной, а у меня все наоборот. Глубокая осень, выпал снег, а я мечтаю, люблю без взаимности. Сегодня я совершенно трезва. Я хочу говорить с тобой, но ты от меня далеко. Даже черты твои размылись в моей памяти. О тебе напоминает только фото передо мной. Милое лицо, когда-то такое близкое, родное... Странно, эти неодушевленные глаза смотрят на меня с каким-то осуждением, что я даже отвожу свой взгляд.

Яшка, любимый, ведь ты даже не догадываешься в эту ночь, что я говорю с тобой. Конечно, в твоих глазах я сейчас другая: веселюсь, давно забыла тебя... Так многие считают. Мне и самой иногда так кажется. Но когда я вспоминаю о тебе, меня охватывает сладостное волнение, какого я не испытываю с другими. А это значит, что ты мне очень дорог, несмотря ни на что, и я люблю тебя. И если бы ты только намекнул, я б простила все. Хотя я не знаю, что надо прощать... Обиду? Но я сама виновата, я совсем не ценила того, что имела. Мои мелкие, вечные недовольства постепенно подтачивали нашу любовь. Я не смогла глубоко разобраться в своих чувствах и руководствовалась только своим глупым гонором и эгоизмом, забывая порой о тебе. Я жила для себя, поэтому потеряла тебя. Хотела иметь все, а отдавала взамен слишком мало.

Я помню, как ты мучился, когда приходил ко мне на диванчик, а я была не слишком ласкова с тобой. Я, конечно, стеснялась родителей за стенкой... и боялась вновь попасть в Галкину «командировку». Хотя, конечно, можно было предохраняться. Но главное, что я хотела — чтобы

ты был со мной всегда, открыто, не тайно. Поэтому, может, неосознанно дразнила-хитрила, мечтая и надеясь.

Да, я помню... Помню, как однажды, обнимаясь и целуясь, почувствовав твой трепет и желание, случайно дотронулась рукой до... А потом уже и не случайно ласкала его. Ты изнемогал, стонал, извивался, и я сама была в дикой неге, ощущая выход твоего желания...

Потом ты вроде бы успокаивался, но сердился, молчал чуть ли не весь оставшийся вечер. И уходил от меня с плохим настроением. Сейчас-то я понимаю: тебе не нравились только такие ласки. И мне они не нравились... только такие. Но я не знала, как надо сделать, чтоб и овцы были целы, и волки сыты.

Мне кажется, что сейчас я могла бы ласкать-целовать тебя так, как ты бы сам захотел. Галка говорит, что мужчины это любят... Губы нежнее, чем руки: я целовала бы тебя всего-всего, я ласкала бы тебя всего-всего...

Но дело сделано, ничего не вернешь. Осталась от тебя одна фотография.

Сейчас о нас с тобой не сплетничают. Считают, что я давно тебя забвела. Но я люблю тебя еще больше, чем раньше. Ни к кому другому у меня нет никаких чувств. Даже становится страшно, что эта пустота останется во мне навсегда. Вот и ты когда-то написал, что время разрушает даже камни. Я часто вспоминаю эти слова...

Яшик, ты всегда останешься для меня таким, каким был со мной — нежным и заботливым; таким я всегда любила тебя. И люблю. Ты мне очень дорог. И пусть ты не вспоминаешь меня, мне ничего от тебя не надо, добрые, искренние чувства к тебе я храню в своей душе... и буду всю жизнь гордиться ими. Боже, как все было чисто и прекрасно! Этого, увы, не вернуть.

Я буду делать все ради тебя: следить за собой, оканчивать институт, обставлять квартиру. Буду, как прежде, возвращаясь с занятий, смотреть на твое окно. И пусть оно не будет гореть, пусть ты будешь с другой, пусть что угодно, а я буду любить тебя. Никто и ничто не сможет заставить меня делать иначе.

Яшка, Шварцман, как я хочу тебя видеть! Иногда среди ночи готова встать и пойти к тебе. А ты совсем не ждешь. И чем ты занимаешься, о чем думаешь, я не имею ни малейшего представления. И вот лежу сейчас и вспоминаю-мечтаю о том, что было раньше, но совсем не о том, что есть сейчас и будет потом. Потому что сейчас и впереди — пустота...

Перечитывая написанное, обнаружила, что пишу в старой, почти пустой тетрадке, которую когда-то использовала для учебы: записывала переводы английских слов. И внизу, на исписанных сейчас листочках, перевернутый словарь на букву «N». Перевод слов: «около», «возле», «заметка», «шпаргалка», «записная книжка», «теперь», «ничего»...

Какое же пророческое совпадение с сегодняшними мыслями... Можно из этих слов составить даже что-то осмысленное: «возле (около) заметок записной книжки теперь ничего и никого нет». И шпаргалок нет. И тебя нет. Пиши что хочешь.

Но ради чего? Ради кого? Все перевернулось...

18 октября.

Не могу уснуть...

Что я должна сделать, чтобы ты пришел? Или забыть свою гордость, гонор, забыть все на свете и самой прийти к тебе? Позвонить? Если есть у тебя ко мне что-то, если ты хочешь... бери у меня все. Искренне или играючи, чисто или грязно. Бери... как хочешь.

Боже мой, какая тоска, какое отчаяние! Знаешь, раньше я все плакала, а сейчас и слез нет, все окаменело во мне.

Стихотворение Яши Шварцмана

— Что ты плачешь, милая девочка?
 Слезкам-сосулькам капать не надо.
 Сколько игрушек праздничных рядом!
 Зайчик с лисичкою полечку пляшут.
 Вот улыбаются Кати и Маши —
 Куколки милые:
 Яркие платица,
 Глазки счастливые —
 Всем нравятся.
 Что ты плачешь, милая девочка?
 Спроси у дочурки, нежная мама,
 Может, ей белую нужно панаму?
 Ленты лиловые?
 Платице синее?
 Зайчика нового
 Купить в магазине?
 Слезкам-сосулькам не надо капать...
 — Что купить тебе, милая доченька?
 — Папу.

20 октября.

Видела сон, видела тебя...

Ты говорил, что всегда придешь, если я тебя позову. Так я зову тебя. Но это недушевленное фото молчит и не может ничего сказать мне. Как я хочу, чтоб исполнился мой сон наяву. Я была как сумасшедшая весь день после него. Ты пришел ко мне, и я была счастлива весь день, хотя это был только сон. Яшка, милый... Яшечка мой, Яшутка лохматенький, дорогой мой Яшка... Я люблю тебя. Глупый ты глупый, где ты бегаешь, что ты ищешь?.. Приди и возьми мою любовь. Неужели ты еще не набегался?..

24 октября.

«Как переменялось все на свете!
 Обручи катают старики,
 Ревматизмом мучаются дети...»

Состояние непонятное — радоваться или грустить, плакать или смеяться? Неужели это правда? Неужели я видела тебя, неужели это был ты? Неужели мы целовались... и это был не сон? Встретились — и будто не расходились; расстались — словно не встречались... Столько мыслей и чувств, что не знаешь, как выразить. Наша встреча получилась такой, какую я и хотела: без всякого обмана, просто и прямо. Кроме как увидеть тебя, другой цели у меня не было. Я знала, что мы поговорим, и ты уйдешь. Это было не слияние душ, это было просто свидание душ.

27 октября.

Иванова, бедная Иванова! Конечно, можно осуждать ее. Но лучше бы сначала ближе узнать и понять. Почему мы с ней сошлись? Нет, выпивки тут ни при чем. Ведь чаще мы видимся с ней на диванчике, говорим о своем житье-бытье, обсуждаем и осуждаем, вспоминаем и грустим. Галка никогда не унывает, всегда весела. В ней много легкомыслия, задора, гонора, самовлюбленности, но эта смесь делает ее несчастной. Так она говорит сама о себе. Другие о ней иного мнения.

Иногда мне тоже не нравятся ее поступки, но я не берусь осуждать, буду как смогу оправдывать в глазах других. А как же иначе, если делится она со мной самым сокровенным... и никто не знает о ней больше, чем я. Правда, иногда я тоже не могу найти оправдания ее поступкам. Но почему-то редко делаю ей замечания, редко возражаю. Ее взбалмошность доходит до вульгарности. Может, потому что она не находит того, что ищет...

Я никогда не писала об этом, но сейчас скажу: когда-то она завидовала мне и говорила, что хотела бы познакомиться с еврейским парнем, так как они заботливые, ответственные. А ты на нее всегда злился. Видать, боялся, что она меня совратит. Глупый.

Почему вдруг пишу о ней? Она мне сегодня не понравилась, я не поняла ее. Когда она пьяная — такая дура! Вспоминает сразу все, что было у нее плохого, и начинает закатывать истерики. Так она страдает. И это тоже нужно понять.

30 октября.

Ах, Яшка, Яшка, Яшка... Скажи, почему мы должны быть так далеко друг от друга? Ведь мы нравимся друг другу. Я уже не говорю о любви.

И вот скоро придет время, когда я перееду в новый дом, новую квартиру, и ты даже не будешь знать, где я живу, в какую дверь стучать. Даже не сможешь случайно встретить меня с занятий: я буду возвращаться дру-

гой дорогой. А я буду ждать... Нет, я не буду пить, курить, изменять тебе. Я не хочу этого. Я буду учиться, думать о тебе, любить тебя...

Скоро праздник, а я не жду его, хочу, чтоб быстрее прошел. Тогда смогу позвонить тебе и увидеть тебя, если ты захочешь этого.

Яшик, Яшик, вредный чертик, ну почему тебе не вернуться? Если бы было как раньше... Нет, чтоб еще лучше, в миллион раз лучше! И те бесконечности поцелуев хочу, чтоб они были мои и только мои. «Мои», «мой»... какая частная собственность. Если б ты находился рядом, я была бы самым счастливым человеком и это счастье делила бы с тобой. И наше счастье мы сумели бы уберечь от всех невзгод. Да только вот опять «бы» мешает...

23 декабря.

Ну вот, Шварцман, пишу уже в своей новой квартире. Она мне очень нравится. Правда, прибавилось много хлопот, суеты, беготни. Но что бы я ни делала, каждую минуту думаю о тебе, — и мне кажется, это все я делаю для тебя.

Я хочу (нет, я просто мечтаю!), что когда-нибудь ты будешь рядом со мной, спать в моей комнате на новом гарнитуре. Ты будешь приходить каждый день сюда... как домой. Нет-нет, не «как»! Ты будешь приходить сюда домой, и я буду ждать с работы моего милого Яшика, готовить ему вкусные обеды и стирать сорочки, чтоб он всегда был доволен. И я буду очень сильно любить его днем и ночью. Мы никогда не будем ссориться, у нас будет все хорошо-хорошо — лучше, чем у всех людей Земли. Мы должны быть вместе. Иначе зачем мне эта громадная квартира?

Не нужны мне никакие ухажеры, всякие там летчики-испытатели с их большими деньгами или другие жаждущие поклонники. Единственное, что я хочу, — это любить тебя, все делать для тебя, чувствовать тебя рядом, быть вместе с моим милым Яшиком.

Ну скажи, чего тебе еще не хватает во мне... и я обрету это. Я сделаю все-все, чтоб тебе было хорошо... и ты был доволен. Ты не волнуйся и не беспокойся: я тебя никогда не предаю.

Теперь я готовлюсь к тому дню, когда смогу пригласить тебя к себе. Буду надеяться, что тебе у меня понравится. Хочу, чтоб ты был хорошим и умненьким, хочу, чтоб ты любил меня, хочу, чтоб ты был со мной рядом.

Хочу и верю в это.

Яшка, Яшка, что ты делаешь со мной, идиот?!

1 февраля.

Вот и еще один год. Еще одна любовь... новая любовь.

Эх ты, кура-ряба. Закружить тебя, красавец, закрутить так, чтоб ничего не соображал, закружить-закрутить, разнести и бросить. Кому ты нужен? Туда и стремись, а здесь — нет. Ничего нет, просто игра, идиотская игра.

Вот так, красавчик! Думал, что меня заарканил? А я другому отдана...

Надоело все. Ты тоже надоел. Неужели думаешь, что я люблю тебя? Нет. Никогда этого не было... просто так, от скуки и безделья или бездумья, безумья, безволия... Никого мне не нужно. И тебя тоже. Пустой какой-то. Конечно, каждый надеется. И я, наверное, надеюсь. И как кукла иду, волочусь за тобой, за мечтой-любовью. Играй мной, красавец-молодец! Играй сильнее и яростнее! Хочу любить так, чтоб земля кругом пела и трещала!

Но нет, не получается. И не получится.

Если бы это был ты... Но это не ты, Яшка.

Неужели «буду век ему верна»?..

24 марта.

Скажи мне, человек Шварцман, в чем смысл жизни? Ты когда-нибудь задумывался над этим? Так в чем же? Одних увлекает и даже удовлетворяет работа, другие видят все в крепкой, хорошей семье, в детях. Раньше меня не привлекало ни то ни другое. Я просто хотела жить, любить... и побеждать! Вот и жила и любила. Как мне хорошо, весело жилось! И все же мечтала о чем-то необыкновенно прекрасном, о своих алых парусах...

Взрослела, и мечты стали рушиться: чем душевнее они были, тем тяжелее оказывался проигрыш. Но я не хотела учиться проигрывать. Наверно, поэтому поддалась красавчику... Да, я стала завидовать легкомысленным людям. Пусть они будут такими не какой-то определенный период, в период «гона», как когда-то высказался Ка-Ка, а все время — до старости. Они ко всему относятся легко, просто, без всякой боязни и рассуждений. Не только мелочи, но даже крупные неприятности не портят им настроения, не мешают жить. Они не страдают и не разочаровываются. Им вольготно, хорошо, весело.

Но вот что-то мне не весело...

Умные люди говорят, что в жизни надо найти себя и свое место. Но не до старости же искать его, так и жизнь пройдет. Но и жить, как живут сейчас многие, пусто, серо, никчемно, тоже не хочется. Как тогда быть? Сегодня у меня нет грез, желания мои вполне реальны. Но речь не о замужестве, как мечтают многие девчонки. Я просто хочу доброго, заботливого, понимающего меня человека. Я боюсь душевного одиночества. Я потеряла какую-то опору. И не могу ее вернуть. Не могу вновь найти, обрести... И Галка не может. И надо самим достойно плыть по житейским морям-океанам, делать свою жизнь лучше, чище...

Галка! Я обращаюсь к тебе. Давай для начала откажемся от этих привычек — курить и пить! Проявим волю и бросим! И целоваться не будем просто так, не по любви... И пусть это будет первым нашим шагом к новой жизни. А если мы нарушим свое слово....

Итак, вперед! К новой жизни. Да поможет нам бог!

Вот, пишу клятву...

Клянемся!

Жизнь — это борьба, и нам надо бороться за свое счастье.

Клянемся, что никогда не падем низко, ни перед кем не унизимся, будем гордыми и уважающими самих себя.

Клянемся, что больше никогда не возьмем в рот табачную гадость. И вино будем пить только по праздникам. И в меру!

Клянемся, что никогда не нарушим нашу дружбу. Радости и беды станем делить поровну и всегда помогать друг другу во всем. Никогда не будем лгать друг другу. А если разведемся, никогда не забудем о нашей дружбе.

Клянемся!

Антонова (подпись).

Иванова (подпись).

Стихотворение Яши Шварцмана

О, как хочется к этой женщине!
 Дайте волю моей любви!
 Что за ритм меня гонит бешено
 К рукам и губам твоим!
 Я ворвусь в твою дверь заветную,
 Тыщу «нет» не услышу я...
 Утром встанешь — не надо сетовать,
 Что опять не застала меня.

22 ноября.

Целых пять дней мы были вместе. Мы почти не выходили из квартиры — любили друг друга... Но с тех пор прошла целая вечность.

Шварцман, милый мой Шварцман, самый хороший, самый искренний и честный, ласковый и нежный... столько времени пролетело, а ты для меня остался прежним. Я все так же люблю тебя. Вот скоро снова позову тебя, и ты поймешь.

Яшка, как ты мог позволить, чтобы мы разошлись? Это было необдуманно... «молодо-зелено», как ты сказал. И привело к тому, что после двух лет нашей разлуки я первый раз изменила тебе. По-настоящему изменила.

Нет, я не раскаиваюсь. Что произошло, то произошло. К этому меня что-то привело. И ты в тот вечер, вечер моей измены, был у моих окон. Я чувствовала это, видела твою мелькнувшую тень. Да, да, это был ты. Ты не мог не прийти.

Какая жестокая ирония судьбы! Как могло случиться, что мы растоптали нашу чистую, искреннюю любовь? Что мы нашли взамен? Ничего, кроме пустоты. Пустота — это страшно...

Ты помнишь, как мы, нагулявшись по городу, покупали жирную маринованную селедку, черный хлеб и шоколадный батончик и чуть ли не бежали ко мне на диванчик? И там с аппетитом и радостью уплетали сначала селедку, а после сладко «расцеловывали» шоколадный батончик. И в глазах было темно от нежности и ласки.

Я часто вспоминаю эту селедку и шоколадный батончик... как что-то солено-сладкое, грустное и веселое...

Иногда, после долгих поцелуев и ласк, упершись друг в друга лбами, мы вдруг встречались взглядами, зрачок в зрачок. О чем мы думали в эти мгновения? Я — о своем счастье быть с тобой. А ты... Я до сих пор не знаю. Неужели в твоём сердце уже тогда была пустота? Нет, нет и нет! Я знаю, твоё сердце было переполнено. Сомнениями и вопросами...

А сейчас? Ты ищешь или просто бегаешь? Думаешь, я не заметила: когда мы пять дней были вместе и однажды вырвались из дома в магазин, ты задержал взгляд на одной девице, даже оглянулся. Что, у этой девицы бедра были шире и талия тоньше? Фигушки! Я сразу оценила. Так тебе что, меня было мало? Мы ведь все эти дни почти не вставали с кровати...

А помнишь хохмочку, которую я тогда выдала? Случайно, правда. Мы были вместе... близко. Я открывала глаза и видела над собой твой приоткрытый рот, искорки твоих глаз. В какую-то сладостную паузу, когда ты всем телом прижался ко мне, я вдруг обхватила тебя ногами, как бы затянув аркан на твоей спине, и у меня вырвалось: «Все, не отпущу тебя больше... не отпущу!» И уже почти с осмысленной улыбкой добавила: «Теперь так и останемся на всю жизнь». Ты тоже улыбнулся и хотел приподняться. Но я крепко держала тебя в своих объятиях и только повторяла: «Все, Яшик, все, так и останемся... так и останемся». Ты еще слегка дернулся, пытаешься освободиться. «Так и останемся... так и останемся...» И вдруг я увидела в твоих глазах... если не испуг, то уж точно не юморную растерянность. Хотя вскоре и посмеялись вдоволь.

Эх, Яшик, Яшик... Трусишка. Вырвался на свободу. Но я тебя никогда и не хомутала. А могла бы давным-давно заарканить. Никогда раньше об этом не думала. Хотя могла бы и подумать, и сделать. Как тогда Маша. Вот и я могла бы организовать дитя «на память». А ты ведь не Ка-Ка. Да и твои родители помогали бы мне, а не тебе: я знаю, вы люди совестливые, ответственные. Для вас дитя — святое.

Я слышала, что метисы получают красивыми и умными. Вот и наша доченька, Любушка, была бы красивой и умной. А что? От меня внешность, от тебя — мозги. Хотя я и сама не совсем дура. Но душа была бы точно общей — доброй и смелой, понимающей и мирной.

Размечталась... Но ты не бойсь, я никогда бы не решилась на такое. Я ведь хотела и хочу, чтоб и ты меня любил. Не временами, а всегда. А ты все бегаешь, бегаешь... Конечно, ты не просто бегаешь, ты ищешь. Но мне показалось, что ты в пустом поиске. Как и я. «Да ты и сама теперь не захочешь вернуться ко мне». Нет, это неправда! Я позвала тебя ради



этого, а ты не понял меня. Видимо, подумал, что я, как иногда раньше, решила вильнуть хвостом. Неужели ты думаешь, что я могла влюбиться в этого человека? Да никогда в жизни! Это просто увлечение, которое, может быть, и возникло у меня, чтоб заглушить боль разлуки с тобой, забыть тебя и даже, извини, отомстить тебе. И ты не можешь не знать этого.

Да, мне льстит, что этот красивый проходимец, породистый жеребец отдал мне предпочтение. И сделал предложение. И мне даже нравится, что многие опять завидуют мне. Но я понимаю, что он использует меня, как использовал других женщин до нашей встречи, которые кормили и поили его. Думаю, что и сейчас он не со всеми из них расстался. У него вечный гон. Хотя, наверное, сопьется совсем... и от его гона ничего не останется.

Я не выйду за него замуж, иначе буду самой несчастной женщиной. А если такое и случится, то лишь назло тебе. Но это будет недостойным рабством. Разве о нем я мечтала и мечтаю? Хочу, чтобы рядом со мной находился теплый человек, с которым у меня много общего. Мне не нужны страсти и ласки этого альфонса. Мне ничего от него не нужно!

Яшик! Милый мой! Плюнь на все, и я развею в прах твои мысли, что ты никогда не будешь счастлив со мной. Прости мне мою измену и все обиды, которые я причинила тебе, вернись, милый! Я сделаю все, чтоб ты был счастлив со мной. Никогда не услышишь от меня грубого слова. Я создам тебе уют, о котором мечтаешь. Я разделю твоё увлечение поэзией. Твои стихи (а ты признался, что иногда их пишешь), если даже они никому не понравятся, будут нравиться мне! Я буду до конца своих дней предана тебе и только тебе. Неужели ты не веришь мне?

Ладно, пусть я не убедила тебя, тогда скажи: неужели ты хочешь, чтобы твоя Анютка была самой несчастной женщиной? Имей хотя бы каплю жалости.

Ты сказал, что у меня «шлюховатая натура». Но разве ты сможешь упрекнуть меня хотя бы в одной измене за годы, что мы были вместе? Нет. И после разлуки я была верна тебе. И вот случилось... Ты должен простить, ведь я люблю тебя.

«Что у тебя осталось ко мне?» — спрашиваешь ты, и я отвечаю: любовь. А это ведь не только близкая связь и сила привычки.

Муж... Нет, только не он! Все мое существо сопротивляется от одной только мысли об этом. Этого не должно случиться. Но если вдруг произойдет — мне конец! И виноват будешь ты. Виноват потому, что истощил мои силы, нервы, терпение... Помогите мне...

Не нужны мне его бицепсы-трицепсы, не нужны его страсти. Хочу твоей теплоты и ласки, хочу тебя, только не его. Он просто бродяга, его удел — «катиться дальше, вниз», а нам — любить и быть счастливыми. Вспомни, что ты любишь свою Анютку, ведь лучше нее никого у тебя не было. А в тех, кто был, ты не находил того, что тебе нужно.

Это не истерика, а крик моей любви. Пойми же меня правильно. И не говори снова, что я играю и лгу. Это правда, только услышь ее!

Вот, была я трезвой, а стала...

Эх, Яшка, Яшка, мне тяжело, что меня могут обвести вокруг пальца, затуманить мозги, опустошить душу. Но я сумею постоять за себя и не попадусь на удочку. Нужно быть такой, какой я была раньше, и никакой слабиночки, иначе дело дрянь.

А вообще... мне не нужно ни тебя, ни красавчика. Никого мне не нужно. Одной спокойнее. А так нервы можно распатать и быстро состариться. А это совсем никому не нужно.

«Люби себя и будь счастлива и горда этим...»

Люблю себя. Но это скучно. Да и как — только себя... Надо часть любви отдавать другому. А этот другой отдаст часть своей любви мне. И получится одна большая любовь — большой живой бриллиант, сверкающий и весомый камень любви. Ведь любовь — это не только красивость, но и тяжесть. И вдруг чувствуешь, что ее нисколько не ценят, относятся к ней с пренебрежением, как к чему-то ненужному, чужеродному. И от черствости, неверия или непонимания драгоценный бриллиант становится простым грубым и мертвым камнем, который можно швырнуть как булыжник.

Я помню твои слова: «Время разрушает даже камни». Ты уже тогда намекал... знал, не верил в нашу любовь. Ты не только мне не верил, ты себе не верил. Вот и швырнул булыжник. А мой драгоценный бриллиант, оказывается, не разрушился... Вот тебе и «слияние душ». Тебе нужно было только слияние тел.

2 января.

Да, я пьяна. Немного. Ну и что? Вот и сейчас пойду... Нет, не к нему. Боже, зачем я вчера зашла к нему? Поплакаться? И поплакалась...

Когда я открыла глаза, сразу увидела знакомый цветастый абажур, и екнуло: мне показалось, что я здесь с тобой. Увы...

Да, на сей раз ты уже точно не простишь меня.

Ну и пусть! Считаю, Шварцман, что я тебе отомстила. По-настоящему. Я же когда-то хотела тебе отомстить. Хотела и позабыла, а друг твой напомнил.

Да-да, он сказал что-то такое... Помню, что я опять разозлилась на тебя. Это когда я плакала и говорила, что люблю тебя и знаю, что и ты меня любишь. Он сказал — мол, этого надо было ожидать. И что-то еще... Что-то типа «все они такие». Стало ужасно обидно. Мне показалось, что твой друг знает про «них» и про тебя что-то такое, чего не знаю я... и что ты действительно (сознательно!) все время меня обманывал. Что он давно тебя раскусил: ты был для него не Яшусом, как он тебя звал, а Янусом — двуликим и мерзким. Что и я об этом давно думала,

но только не могла сама себе признаться и до конца все осознать. И вот призналась и осознала...

Боже, зачем я пришла к нему? «Шлюховатая натура»?

Нет-нет, Ка-Ка не должен был... Зачем он все это говорил мне? Да, я знаю, что всегда нравилась ему. Но при чем здесь Ка-Ка? К нему просто пришла очередная чувиха. И он ее «успокоил», как когда-то Галку.

Ничего не буду больше писать.

3 января.

Не могу успокоиться. Видимо, уже навсегда...

Помнишь, однажды твой друг Ка-Ка написал в письме, которое ты прислал с военных сборов, слово «русофоб»? Я не знала его точного значения, но догадывалась, что оно как-то связано с национальностями. И понимала: Ка-Ка что-то там пошутил. Но у меня не было никакого желания расшифровывать этот неинтересный для меня юмор. Но когда наши отношения ухудшились, я почему-то вспомнила про него. Пошла в библиотеку к Надежде Степановне. Но она и без словаря популярно объяснила, что это слово — антирусское, такие люди настроены против русских и всего русского. Меня это насторожило. Мне вдруг показалось, что твой друг еще тогда на что-то намекал. Ведь его писанина была для меня, а мне многие и намекали, и говорили...

Надежда Степановна знала, что у нас с тобой расстраиваются отношения, и я впервые, хотя и намного мягче, чем говорила моя мать, повторила вслух ее слова о том, что, мол, евреям, видимо, верить нельзя, что все равно ты на мне не женишься.

Надежда Степановна стала меня успокаивать, и тут я неожиданно для себя узнала, что ее погибший на войне муж был евреем. Я онемела. Ведь по мужу она — Сапожникова. Никогда не думала, что у евреев могут быть фамилии на «-ов».

Надежда Степановна как-то рассказывала, что в школе ее прозвали Кралей, поскольку фамилия у нее была Кралева. Ей нравилось. Это куда лучше, нежели какие-нибудь смешные прозвища у других: Квас, Лапша, Мося и прочие производные от фамилий. И хотя нередко встречались и сами фамилии дурацкие, что уж говорить о прозвищах, — никто не обижался. Но иногда кого-то называли-обзывали и без фамилии, особенно если она была нерусской.

Это я тоже знала. Вот у нас в классе был Гриша Лисберг. Мы его Лисой звали. А вот некоторые мальчишки иногда называли его на букву «ж»... Нет, не задница. На три буквы. И не матерщина. Хуже. Даже писать не хочу. Но это так, за глаза или во время ссоры. Тут, конечно, до слез и драк доходило. Редко, но бывало.

Меня, правда, как и многих, впрочем, это не волновало и не задевало: кто-то брякнул, да и забыли. Это уж потом понимание приходит стало. И вот я повторила слова матери, что евреям нельзя верить... Мне

стало страшно неловко и стыдно перед Надеждой Степановной, я почувствовала себя мерзавкой и предательницей. Ведь она всегда так хвалила мужа и вспоминала его с такой теплотой. И хотя уже несколько раз ей делали предложение, она не выходила замуж, посвятив себя сыну и его семье. И памяти о муже.

Надежда Степановна стала рассказывать мне про еврейские погромы и фашистов, которые хотели вообще евреев истребить, говорила, что евреи за свою многовековую историю многое пережили и до сих пор переживают.

Я и сама все это давно знала, в том числе и что такое «антисемит». Просто как-то не задумывалась над такими вещами. Считала, что антисемиты не против всех евреев, а против плохих евреев. Да и везде есть люди добрые и злые, честные и нечестные... У русских разве не так? И вообще, при чем тут национальности? Они меня никогда особо не интересовали. Я же не с китайцами или неграми общалась, с которыми есть хотя бы внешние отличия... А может, стеснялась и гнала от себя прочь эти вопросы и мысли. Ты был рядом, я не хотела потерять тебя, мечтала быть с тобой всю жизнь, и никого и ничего в мире, кроме тебя и твоей ласки, не существовало.

Но тут я все же полезла в словари и из них узнала, что «фобия» обозначает «ненавидеть», «бояться»... и еще что-то в этом духе. Я, конечно, не могла поверить, что ты мог ненавидеть, и прекрасно понимала шутку Ка-Ка про русофоба. И я поняла, что ты боялся и в другом смысле — не только любви и семейной жизни, ты боялся меня. Ты был не уверен во мне, не верил! Но мне тогда показалось, что лучше уж бояться, чем ненавидеть. А когда ты ушел, иногда мне стало казаться, что ты не только боялся...

Я была очень зла на тебя. Но это длилось недолго, я любила тебя...

Но теперь ты уже никогда меня не простишь.

Может, это и к лучшему. Ка-Ка вовремя поставил точку. Я устала ждать и надеяться.

18 июня.

Время идет, меняются взгляды, приходят в голову новые мысли. И вот я уже не могу сказать, что люблю тебя... да и любила ли когда. Я любила только себя... и все здесь написанное — не для тебя, а для себя.

Чего я сейчас хочу? Вернее — кого... Ребенка — дочку Любочку, беленькую. Она обязательно будет красивой, стройной, веселой, как ее папа (но не гуленой!), и будет сильно любить свою маму. Она будет настоящей русачкой, русской до мозга костей, и не станет ничего бояться, как и ее папа. Она будет играть на фоно и учиться в меде. И станет врачом. Только жаль, блондинкам не идут белые халаты. Дочь будет моя, только моя, а ее отец никогда не был моим... и не будет. Его слишком

любят женщины, а он — их. Я не люблю его, но хочу, чтоб моя дочь была очень красивой, такой красивой...

Я не люблю детей, но я буду очень любить свою дочь. И нам не нужен такой папа, потому что тогда у нас не будет фоно. Он сильно пьет. А на фоно нужны деньги.

Вот так!

А теперь, Шварцман, прощай! Ты больше не услышишь о моих чувствах. И я никогда больше не буду писать о своей любви к тебе и надеяться. И ты теперь уже точно не подаришь мне большой и яркий надувной мячик. Помнишь, когда-то я мечтала сесть на него вместе с тобой и поплыть по морям-океанам? И надеялась, что мы не упадем, что будем крепко держаться друг за друга. А мячик превратился не в корабль, а в мыльный пузырь...

Нет-нет, Яшик, я не плачу, наоборот... Не подарил — и не надо! Сами с дочкой его купим. Мы сами с усами! И алые паруса наполнятся свежим ветром. Обязательно наполнятся! Да-да! А все эти записи я положу в архив. Конечно, не выброшу, не сожгу ни в коем случае! Я давно знаю: никто больше не будет относиться ко мне так, как ты. Никогда такое не повторится... Я ведь вижу, что происходит с моими друзьями. Да и с твоими друзьями. Конечно, есть и счастливые судьбы. Но их так мало.

Поэтому я и хочу дочь. Мы будем с ней самыми верными-преверными друг другу. С сыном может так не получиться — вдруг он будет походить характером и душой на папу? Поэтому хочу дочь. Мы будем с ней вместе строить нашу жизнь. И никто нам больше не будет нужен. Я сделаю все, чтоб она была счастлива.

А чтоб все же не было соблазна что-нибудь сделать с этими записями (с горя или спяна)... и вообще, чтоб они не тревожили мою душу, я отнесу их в надежное место. Наверное, отдам Галке, пусть спрячет куда-нибудь, чтоб даже я не знала этого схрона. Или, может, отдать тебе? А что... Когда-нибудь, много лет спустя, будет приятно вспомнить прошедшее, и тогда мы с дочуркой будем приходить к тебе и читать о маминном прошлом. Там ничего плохого не было, было чисто. И те наши встречи с тобой будут просто товарищескими, и больше мне не потребуются твои ласки...

Впрочем, нет, тебе я ничего не отдам. Может, тебе не нужно. Да и будущая твоя супружница может обнаружить. Вдруг она будет сильно ревнивой... Зачем портить тебе и её настроение? А то и жизнь. Да и вообще... Ты не все должен знать. Но твой друг расскажет, я знаю. И ты меня не простишь. Хотя сейчас мне все равно. Но просить Ка-Ка я не буду. Что будет, то и будет. Значит... заслужили.

Признаться, как-то просматривая эту тетрадку, я пожалела, что завела ее. Вернее, что давала тебе читать. Я играла не в ту игру. Да, с мужчинами надо играть. Теперь-то я понимаю, что для них главное — сво-

бода, этому надо подыгрывать. Не давить ревностью и независимостью с намеком на измену-замену, а, наоборот, возвеличивать их самцовое нутро, ублажать мужское самолюбие. И не откровенничать, не изливать перед ними душу в своих сомнениях, желаниях и мечтах. Словом, если уж наивничать, дразнить и хитрить, то с нужным тебе смыслом. Только не переигрывать. Дурость и дурашливость — две большие разницы, как говорят в Одессе (это выражение я слышала на концерте).

Да, я стала ученой. И не от Райкина, а от жизни. И очень жалею, что тогда, в августе, предъявила тебе фактически ультиматум: будем вместе или расходимся. Хорошо помню, предъявила жестко, без права на раздумья. Мол, сколько можно тянуть резину? И что на меня накатило... Может, мы всю жизнь так бы ходили-дружили, любили друг друга. И нам было бы хорошо без всякой там игры.

Что теперь жалеть... Чему быть, того не миновать.

Сейчас я точно знаю, что мой аполлон мне изменяет. Но красивым мужчинам нужно все прощать. Не нужно быть эгоисткой и собственницей. Это — для мужчин. А женщинам надо быть щедрей, забывчивей.

Буду ли я ему изменять? Наверное, нет. Хотя это можно организовать очень тонко, комар носа не подточит. Но что, кроме неуважения к себе, это даст? Искать приключений — зачем? За мои двадцать пять лет у меня было много всякого, о чем можно вспомнить. И если я не стану изменять, это совсем не значит, что не буду нравиться мужчинам.

Я не могу сказать, что меня никто не любил. Меня любили... и многие — чисто и искренне. Только я не всегда относилась к этому серьезно, с пониманием. Любила повилывать хвостом. Но отвилаясь... А ты, конечно, будешь гулять-догуливать. Видать, все еще мучаешься избытком молодецкой энергии. Слышала, что даже какими-то комсомольскими делами увлекся. Надеешься наконец-то найти политически грамотную и надежную соотечественницу? Тогда уж лучше сразу в партии поискать. Хотя старовата может оказаться. Опять беда...

Эх, Яшик, Яшик, если бы нам знать, где подстелить соломку... Я тоже уже давно хочу душевного покоя. Но, как вижу по своему беспартийному, покой мне только снится.

19 июня.

Вчера я не успела закончить свою запись, не попрощалась с тобой. Мой аполлон был легок на помине: явился не запыхавшись. Увы, опять под градусом. Он и трезвый-то не интересуется моим настроением и моими делами, а тут и подавно. Но тетрадку я все же убрала. Кстати, потому еще хочу отдать ее Галке, что не хотела бы, чтоб благоверный наткнулся на нее, когда... ха, например, в поисках смысла жизни захочет найти мой кошелек. Нет, это не страх перед его ревностью (по-моему, ему все равно), а потому, Яшечка, что эти записи только для меня и тебя. И никто не должен бросить даже тень на память о нашей любви. Хотя, конечно,

главное — память сердца. А она ни для кого не досягаема. Пусть у нас с тобой совместной жизни не получилось, но, по-моему, она получилась в душе. И не по тогдашней наивной договоренности о слиянии душ, а само собой. По божьей милости. Я уверена, что ты тоже помнишь обо мне.

Но плакать не будем, будем улыбаться... Вот я, например, тоже комсомолка! Только, признаться, забыла, где мой комсомольский билет. Но в людей надо верить. Правда, Яшик? Вот и надеюсь на свою политическую сознательность: буду пытаться перевоспитывать своего рыцаря. Хотя мне сейчас не до него. Все мысли обращены к дочери. К дочери, которой пока нет, которая только еще растет под моим сердцем. Но пройдет время, она появится на свет, и никто, никто не сумеет помешать осуществиться этому.

Шварцман, ты не представляешь, как это здорово!

Даже и не знаю, что еще написать на прощанье... Словом, всего тебе хорошего, Яшик.

А. Антонова.

P. S. Опять обнаружила англо-русский словарик, когда-то мной составленный, и опять в нем пророческие или почти мистические слова на букву «f»: flat — квартира, fear — страх, fight — бороться, future — будущее.

И в конце дописано немного другим цветом, в другое время, видимо, чем все остальное, слово frender, которое дано без перевода. Я решила перевести это слово, но оно, наверное, было написано с ошибкой, потому что я не нашла его в словаре. А может, это неизвестное слово? Но такого быть не может. Просто я что-то перепутала-запутала.

Ошибка в слове — и, наверное, ошибка в судьбе. Будущее неизвестно.

Кажется, я уже по-настоящему начинаю верить во что-то таинственное и высокое. В бога?..

Боже, прости меня и помоги мне. Помоги всем.

Часть вторая. Да простится нам...

(много лет спустя)

Стихотворение Яши Шварцмана

А мне бывает очень трудно,
 Как будто без крыльев полет.
 Все жду я какого-то чуда,
 А чудо лишь в сказках живет.

(Без даты.)

Милый, дорогой, любимый и единственный мой Яшик!

Сердце ноет и ноет, болит и болит, и нет на душе покоя ни в праздники, ни в будни. И так хочется что-то сказать тебе, в чем-то признаться...

Помнишь, когда-то в молодости я говорила с тобой на листочках тетради? Вот и сейчас, Яшенька, пишу как исповедуюсь, прошу у Бога прощения. За что — и сама не знаю, но становится немного легче. Как и тогда. Как и потом...

Да-да, всю жизнь в моей душе жила теплота и нежность. Память о нашей дружбе, о любви (я всегда чувствовала и понимала это) давала главное — ощущение не зря прожитой жизни. А это поднимало настроение и прибавляло сил. И я до конца жизни буду благодарить Бога, что в моей судьбе была любовь.

Конечно, Яшик мой, я помнила о тебе, словно всю жизнь писала тебе письма и говорила с тобой. С тобой и, наверное, еще с Богом. Который где-то далеко-далеко... и всегда рядом. Видимо, став для моей души главным-заглавным. Я это чувствовала с той поры, когда мы окончательно расстались и новая жизнь зарождалась под моим сердцем и в сердце.

(Без даты.)

Да, я мечтала о любви, семье... И очень хотела начать новую жизнь. И надеялась, что это случится. А мой красавец стал еще больше пить и гулять. И когда в очередной раз припелся под утро, я закатила скандал. Он меня ударил...

Ребенка я не доносила. Словно он сам не захотел стать памятью об этом человеке. Зато я захотела избавиться от красавца. И выбросила его шмотки за дверь.

Он не переживал — сразу ушел к другой дуре. Потом, слышала, куда-то уехал. Словом, слава богу, сгинул.

Затем пропал мой брат (уехал на охоту в тайгу с другом). Их так и не нашли — ни одежды, ни косточек.

А потом умер мой отец.

Мы с Галкой успокаивались театрами и гулянками. Кстати, как и ты, уважаемый товарищ Яшик.

(Без даты.)

Я думаю, что и у тебя время летело быстро в этом калейдоскопе встреч, расставаний, трудовых и праздничных дней. Я многое о тебе знала. И еще более утвердилась: ты ко мне не вернешься. А мне стукнуло аж двадцать восемь. Кобелям-театралам нужно было только одно... Принарядилась, вильнула хвостом и на танцах в Доме офицеров тут же подхватила жениха.

Стихотворение Яши Шварцмана

Пардон, представляюсь: старый холостяк.
 Любил я женщин — и со счета сбился.
 И знал всегда: женитьба не пустяк.
 А потому я взял... и не женился.

А до женитьбы был всего лишь шаг,
 Но вот всегда чего-то не хватало.
 Какой-нибудь... ну маленький пустяк,
 А вот для счастья это, брат, немало.

Вот Наденька... Был рост ее велик.
 А Галочка?.. Была курчава очень.
 У Симочки был в крапинку язык.
 У Кларочки — какой-то странный почерк.

Носила Роза платье до колен,
 А я всегда любил чуть-чуть повыше.
 Был слишком тихий голос у Ирен.
 А вот у Лиды надо бы потише.

У Людочки — чуть-чуть курносый нос.
 У Танечки зуб мудрости был с пломбой.
 У Наточки не тот был цвет волос.
 Вот Верочка... Нет, Вера без диплома.

У Вали — рот. У Лорочки — глаза.
 У Светочки — на шее бородавка.
 У Лены слишком мутная слеза.
 У Нелли брови — словно две пиявки.

Была лицом Мария хороша,
 А вот фигурка, право, не награда...
 Вы говорите: «Ну а как душа?»
 О, бюст у всех, пардон, был то что надо!

(Без даты.)

Я была старше Вадима, опытней, мы растили сына и жили, в общем-то, дружно. Вадим был надежен, как и все их офицерское братство. И я платила тем же — не изменяла ему. Честное слово! Моталась с ним по военным городкам и «точкам», словом, попала в новый kaleidoscope встреч и расставаний. Но почему-то опять мне не хватало каких-то красок... «Без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви...» А я ведь надеялась.

Признаться, я никогда не пыталась специально узнать о твоей жизни и судьбе. Мне о ней в основном рассказывала Галка. А ей — сослуживица, жена одного из твоих знакомых. Слышала, что у тебя было немало женщин. Мне было все равно, но лучше бы Галка молчала. А то еще и комментировала: «Совсем закобелился». Я верила и не верила...

(Без даты.)

И Галка была в поиске: хахалей и даже гражданских мужей было много. Но ей не везло: слияния душ что-то не получалось. Видать, еще

и мозгов не хватало. А потом совсем башку снесло. Не от любви, а от дури: запила серьезно. Лечилась, кодировалась. Бывали просветы, а потом опять все сначала. И я не могла помочь: слишком далеко мы были друг от друга. Может, мозги бы и вправила, а там и семья получилась бы. Может, даже с этой самой любовью. Но мечтать не вредно. Ты же, Яшечка, когда-то тоже был романтиком-фантазером...

Я сильно переживала, что ты женился на русской. Пусть на молодой и не чистокровной, но русской! Она по паспорту (мне Галка рассказывала) была русской, по матери. Получается, и детей ваших вы могли записать в паспорт русскими. Что вы и сделали. Правда, потом я узнала про еврейские законы: если в смешанной семье отец еврей, а мать русская, то их дети не являются евреями. Даже если жена наполовину еврейка. Иначе говоря, если мать не еврейка, то и дети-внуки в такой семье не считаются евреями. Вот как по еврейским законам чтят женщину и мать!

Нет, меня не удивило, что ты женился (тебе перевалило за тридцать). Я обиделась на твой выбор. Мысль, что ты бросил меня из-за национальных расхождений, жила во мне. Но она не подтвердилась.

Ну что ж, женился так женился, я даже успокоилась.

(Без даты.)

Когда надежда полностью исчезает, наступает успокоение — безразличие или даже смерть. Вот я и успокоилась: у тебя своя жизнь, у меня — своя. И никаких смертей! Но частенько — да-да, почему-то во время застолий — я всегда вспоминала тебя. А праздников в календаре и всяких дней рождений, юбилеев и прочих расслабух было предостаточно. Провозглашали тосты, чокались, и я, опрокидывая рюмку, мысленно говорила: «Всего хорошего, Яшик». И душа никогда не противилась.

(Без даты.)

Афганистан унес Вадима...

Я вернулась в Н-ск. Догадалась сохранить кооперативную квартиру: сдавала ее. Это было такое материальное подспорье!..

С Галкой мы, конечно, общались. И вправляли мозги друг другу. Пьянствовать мне было некогда: сын, работа... забот полон рот.

Замуж я не вышла: тот единственный опять не попадался, а за бого не хотела... и, признаться, особо не жаждала стирать и убирать за кем-то. Я была свободной.

В материальном плане жила нормально, даже лучше, чем многие. Я же сама себе шила: мама, царствие ей небесное, немного научила, а потом и сама поднаторела. Диплом — в сторону... и за швейную машинку. В военных городках многих обшивала, а в Н-ске работала в ателье и еще промышляла частным порядком. Котировалась очень хорошо, заказов куча! Работала много, зато и деньги водились. Наняла женщину,

пенсионерку из нашего же дома, помогать по хозяйству, а сама могла и на юг махнуть, и за границу. И ездила, и отдыхала, и ухажеры были... Не чувствовала себя несчастной. Но, опять же, без божества, без вдохновения...

Со временем стало уже тяжело сидеть за машинкой. Немного скопила на старость. Возилась с внуком, пытаюсь помочь семье сына (он женился рано, еще в школе нашкодили). Я помогла им и с учебой, и с квартирой, таскала сумки с продуктами... а невестка оказалась еще той стервозой: готовить ленилась, за домом не следила, вот и скандалили...

Тебе, видать, повезло. Галка рассказывала со слов своей знакомой о твоей Светлане: скромница, не пьет, не курит... И язвила: перед тобой наверняка на цырлах ходит. Познакомили вас какие-то ваши родственники. Галка меня успокаивала: «Так всю жизнь и проживет головой, а не сердцем». И я в этот раз мозги ей не вправляла.

И вдруг она заявила: «Может, дите родить? А то в старости от тоски сдохну».

(Без даты.)

Когда я узнала, что твоя жена скоропостижно умерла (лейкоз, не дай господи), то испытала, извини, злорадство: вот и ты стал одиноким. Да простится мне...

К тому времени твои родители уже ушли в мир иной, царство им небесное. На твоих руках остались две дочки.

Кстати, когда я узнала, что старшую зовут Любой, я поняла это однозначно: ты помнил меня и назвал ее так, как когда-то я хотела назвать нашу с тобой дочку. Я почему-то была уверена, что у нас была бы девочка. Я ведь давала тебе свой дневник...

У меня не раз возникало желание позвонить тебе. Я даже узнала номер твоего телефона. Но не решалась. Почему-то ждала, что ты сам позвонишь. Но ты не звонил. И вновь не женился. Я догадывалась почему: ты посвятил себя дочерям. И понимала: тебе с девочками нелегко, тут нужен особый уход. Да еще эта непонятная голодная жизнь с бесконечными очередями за мясом и колбасой...

И вот в Новый год — год, когда тебе должно было исполниться пятьдесят пять (а мне уже исполнилось, и я стала — о боже! — пенсионеркой), я набрала твой номер телефона.

Прошла целая вечность. Конечно, не верилось. И мой пенсионный возраст стал тем сигналом, когда ждать дальше я уже не могла. И корила себя, что так долго чего-то ждала. Ведь мне нужно было просто поговорить с тобой. Просто поговорить. О чем? Не знаю. Видимо, хотела убедиться, что ты помнишь меня и нашу дружбу. Да и хотела просто услышать твой голос.

Признаться, перед этим я приняла для храбрости.

— Здравствуй, Шварцман. Это звонит Антонова. Помнишь?

И твой удивленный голос:

— Анна?! Ты?!

— Да, я. Что, не ожидал? — И я, по-моему, громко и нервно за-смеялась.

— Я слышал, что ты где-то далеко, замужем за военным...

А потом мы встретились. Это уже ты проявил инициативу.

А потом мы стали жить вместе.

А потом мы зарегистрировались, и я стала Шварцман.

(Без даты.)

Это были самые счастливые годы моей жизни.

Однажды, когда мы, как в молодости, любили друг друга, ты прошептал: «Мне ни с кем не было так хорошо».

Да простит тебя Светлана.

Мне не верилось, что мы вместе... и у нас с тобой общая жизнь, общие радости и горести. Бесконечные хлопоты по дому, заботы о наших детях и внуках, дачно-огородная суета, встречи с друзьями.

Как ты делал рыбу-фиш! Брал щуку или судака килограммов на пять-шесть и фаршировал целиком! У тебя была специальная посуда из нержавеющей стали, сделанная на заводе еще твоим отцом специально для этого блюда: здоровенная вытянутая кастрюля со съемной решеткой внутри. И делал все сам: и шкуру снимал, и мякоть от костей отделял, и фарш крутил, и прочее. Процедура довольно трудоемкая. Зато вкус!.. Ты так и напрашивался на персонально-кулинарный тост — «За рыбака!» И все гости с шумом и радостью поднимали рюмки, и я от души нахваливала тебя. А гости хвалили и мои (да-да!) кушанья — салаты, гуся или поросенка. И всегда поднимали бокалы в память о наших родителях.

Портилось у меня настроение только тогда, когда (слава богу, редко) приезжал в командировку Ка-Ка. За чашкой водки, что-то вспоминая, вы хихикали... Я была готова его задушить. И старалась не оставлять вас одних.

Да простится мне...

Я понимала, что он тебе ничего не рассказал, и была ему за это благодарна... и молила Бога, чтоб он больше не появлялся у нас. Хоть он и не шантажировал, но иногда я ловила его взгляд, и он мне казался ехидным, усмехающимся. Это были самые тягостные минуты в моей жизни.

Сам он в свое время женился, как я понимала, на довольно обеспеченной девице, после женитьбы перебрался в ее московскую квартиру...

Твои дети стали и моими детьми. И ты очень хорошо относился к моему сыну и его семье, на все наши домашние торжества мы приглашали их. Но, признаться, о многом из их жизни я тебе не рассказывала, неудобно было.

А с девочками мы жили под одной крышей: Верочка — вместе с нами, Любочка — с мужем, хоть и в отдельной квартире, но недалеко от

нашей. Любаша чуть ли не каждый день забегала к нам. Помню, я все хотела приучить их к своему старинному корсету, а они смеялись: что они, лошадки — шнуроваться разными тесемками? Или птички в клетке... Да меньше жрать надо! Конечно, юбки стали еще короче, чем в нашей молодости. А кофточки — вообще выше талии, чуть ли не до груди. Какой уж тут корсет, когда все наружу.

Я пыталась их убедить, что, мол, старинный корсет не только фигуру, но и душу выпрямляет-успокаивает, но они только улыбались. Хотя и соглашались: традиции предков чтить и продолжать обязательно надо.

Потом мы справили свадьбу Верочке.

Я благодарна судьбе за твоих дочек. Хотя они и зовут меня тетей Аней, но в их глазах всегда читалось — «мама».

Да, Яшик, наши девочки очень ласковые, добрые... и вспоминают о матери с такой нежностью и любовью. И я слышала от Любочки, что это мама, Светлана, дала ей имя. Выходит, тоже любила. Конечно, любила.

И я полюбила ее. Ты и девочки не можете упрекнуть меня. Я искренне, с уважением относилась и отношусь к памяти о Светлане: ездим на кладбище, ухаживаем за могилкой, храним и бережем альбомы с ее фотографиями. Я делаю поминальный ужин в дни ее рождения и смерти.

Оказывается, Светлана многое в вашей семье соблюдала. Как девочки рассказали, она от бабуси (твоей мамы) научилась, и они, девочки, тоже умеют. Все не могу запомнить названия... Ну... в еврейскую пасху конфетки такие, медовые — с мацой или маком... И треугольные пирожки из мацы, хремзлах, тоже очень вкусные. И цимес вместе делаем. Ты, Яшенька, советы давал. А кнейдлах — это как клецки наши, русские...

Милый мой Яшик, у нас с тобой, по-моему, все было хорошо. И стихи твои мне очень нравились. Мне кажется, они были для тебя так же необходимы, как когда-то для меня мои дневниковые записи.

А вот самостоятельная жизнь девочек протекала не очень удачно, как и у моего сына. У Любочки не было детей (это не ее вина, а беда), а у Верочки, как и у многих, муж оказался пьянчужкой, хотя и работающим. Что сказало на их дочке: Наденька росла раздражительной, почти истеричной. Словом, в семьях наших детей были серьезные нелады.

Семья Любочки в конце концов распалась: ее хмырь стал не только попрекать, что у них нет детей, но и оскорблять. Сволочь антисемитская.

Верочка же со своим долго тянула...

А вот мой Мишка жил не тужил. И сейчас продолжает. Хотя, конечно, какая это жизнь — ни теплоты, ни ласки. До сих пор выясняют, кто в семье главный, и живут фактически врзсь.

И внук мой вырос zelo самостоятельным. С одной стороны, хорошо... Но после школы Вася учиться дальше не захотел. До сих пор мотается с какими-то, видать, летучими строительными бригадами. Никакой перспективы.

Я все время его на учебу настраиваю: в любом возрасте учиться не поздно. Конечно, многое стало платным. Я кое-что подбрасывала и подбрасываю, но для него главное — свобода! Вольный художник, мать его! Как и его родители: каждый за себя.

Неужели у нас всегда так: пока гром не грянет или жареный петух не клюнет — вместе не будем? А так — никакого взаимопонимания и взаимоуважения. И даже хуже. И такое не только в семье.

Ты возглавлял на заводе одну из конструкторских бригад и все выступал на собраниях-заседаниях отдела: это надо изменить, это желательнее улучшить... И частенько дома об этом рассказывал. А что я понимала в «нормировании труда» и какой-то там «техучебе»? Но радовалась твоей энергии и желанию что-то в нашей жизни улучшить или, как тогда говорили, перестроить, ускорить и углубить. Я хорошо помню твои споры-разговоры с друзьями, когда после тостов за милых дам вы почти тут же переключались на политику...

(Без даты.)

Я знала, что и на своих собраниях-заседаниях ты рьяно ратовал за «гласность» и «новое мышление», как всю трубили в газетах. И потом мне говорил, что, мол, это поможет оценивать людей не по носу, а по деловым качествам. И дождался.

Ваш начальник отдела ушел на пенсию, и руководство завода решило нового не назначить, а избрать. Да, чтоб вы сами, сотрудники конструкторского отдела, его выбрали. Ты мне все-все рассказывал, ведь это было в новинку. Повесили опломбированный ящик. Туда нужно было бросить бумажки с фамилиями кандидатов. И хотя процедура была тайной, несколько сослуживцев признались, что выдвинули кандидатом тебя. Но когда обнародовали список, фамилии Шварцман в нем не было.

Ты рассказывал мне и смеялся. Хотя и говорил, что зря тебя отсеяли: мог бы получить большую трибуну, чтоб и заводское начальство знало, как можно улучшить работу вашего конструкторского отдела и завода в целом. Голосовавшие за тебя сослуживцы не пошли выяснять отношения. А тебе и не положено было. Да ты, наверное, и не согласился бы на эту должность: уже и возраст был приличным, и сердце иногда покалывало (несколько раз уже бывал в заводской поликлинике, глотал целый месяц таблетки). И если организаторы выборов учитывали эти твои минусы (хотя ты редко брал бюллетень), то все равно должны были обнародовать фамилии всех кандидатов. Ведь никаких условий по возрасту или другим параметрам не было.

Мы с тобой понимали: неподходящая фамилия — вот твой главный минусовый параметр. Ничего смешного здесь не было. Но что тебе оставалось? Только смеяться.

То, что фамилия не подошла, я поняла сразу, так как жизнь прожила и многое видела-слышала. Взять хотя бы случай с одним из Галкиных



знакомых. Он писал песни, вернее слова к ним. Песни звучали по радио, по телевидению — и Валерий Ободзинский пел, и Иошпе с Рахимовым, и другие довольно известные артисты. И даже на пластинках несколько песен было записано. Наверняка и ты их слышал. Композитор, с которым работал поэт, хотел выпустить в Москве персональный диск — и вдруг облом: не пущать! Композитору сказали без всяких выкрутасов: «Песни хорошие, но не повезло вам с фамилией автора слов». Композитор (кстати, русский) вначале возмутился и ничего не мог понять: большинство известных композиторов и поэтов-песенников — евреи. А сколько их среди музыкантов и артистов, особенно на эстраде... Но потом сообразил: мало того, что фамилия малоизвестного соавтора была не Иванов, так почти полностью совпадала с фамилией тогдашнего премьер-министра Израиля. А у нас с Израилем в то время были натянутые отношения. Композитор просил и умолял своего соавтора взять псевдоним. Но тот оказался неподдающимся.

Одни брали псевдонимы, другие меняли свои официальные документы без всяких стихов, замужеств или женитьб. А вот Галкин знакомый, как она потом узнала, плюнул на все и уехал из страны. По-моему, в Израиль. Тогда это было не таким уж героическим событием. Хочешь — скатертью дорога. И все же было удивительно: не какой-то не слишком популярный поэт, а известные и уважаемые люди уезжали. И не только в Израиль. И не только евреи и немцы — русские уезжали!

Вот и с Борисом Лазаревичем вы переписывались... Ты всегда показывал мне ваши споры о политике. Помню, твой дядя писал о зове крови, а ты отвечал, что многие уезжают вынужденно. И Борис Лазаревич говорил о Суде Божьем... Правильно, пусть будут наказаны те, кто выталкивает людей из своей страны.

Этот случай с фамилией напомнил мне и твои, вернее ваши, семейные фамильные эпопеи.

Когда мы с тобой поженились и я стала Шварцман, неожиданно для себя узнала, что, оказывается, Люба при получении паспорта в свои шестнадцать лет взяла фамилию бабушки, матери Светланы. А она была Орловой (при регистрации брака оставила девичью фамилию). Это была настоящая эпопея: вначале Орловой стала формально русская Светлана, хотя ее девичья фамилия была по отцу чисто еврейской, не ошибешься. А уж потом по закону получилась новоявленная дочь — Любовь Орлова, русская.

В детских и школьных анкетах, журналах и прочих бумагах девочки были по матери — Шварцман и русские. И это ты посоветовал взять русскую фамилию. Светлана вначале сопротивлялась: она с метисским паспортом всю жизнь — и ничего, живая. Но ты говорил, что надо думать о дочерях: выжить можно, а жить трудно. Но и уезжать никто не собирался и не собирается: здесь похоронены родители, и бросать родные могилки нельзя. И вообще, родители и дети должны быть рядом. Все,

конечно, понимали, на что ты намекаешь, и соглашались с этой грустной мыслью.

Ты говорил еще, что времена сейчас другие: все смешалось-перемешалось, впиталось и обрусело, что от еврейства остались только навыки приготовления некоторых вкуснятин. Поэтому, мол, где родился, там и пригодился. Тем паче что жизнь должна улучшаться, ведь в стране столько богатств, столько возможностей, каких нет нигде. Вот разговоры идут об отмене пятой графы, национальность не будут указывать (что потом и случилось), а посему с русской фамилией в России жить будет проще и легче. И даже юморил: дочки и по носу — красавицы Орловы.

Девочки и в самом деле красивые: Люба — шатенка, Вера — блондинка, ресницы длинные, глаза у обеих карие и носы нормальные, без всяких «признаков».

Нет, ты, Яшенька, конечно, колебался, мол, этот совет про паспорт больше подходит для мальчиков, а у девочек еще неизвестно, с какой мужней фамилией судьба сложится. Но говорил, что до замужества смена фамилии может пригодиться. Например, при поступлении в институт. А с образованием и специальностью будьте любими Рабиновичами или Ивановыми. И Светлана переживала: ей очень не хотелось расставаться с твоей фамилией. И говорила: «Я замужем не за Орловым. Это родители мамы не хотели, чтоб она выходила замуж за еврея. Вот она и придумала компромисс. — И обязательно добавляла: — Зато потом он был у них самым любимым зятем. Семья была большая».

Ну а вы со Светланой, естественно, сказали дочерям: «Вам решать». Вот они и решали. Девочки многое мне рассказывали.

С Любой все понятно, а вот Верунька в свои шестнадцать лет уперлась: «Дети должны продолжать фамилию отца!» Ты говорил, что был бы очень рад, чтоб продолжилась фамилия родителей, но в наших условиях даже сыну посоветовал бы сменить фамилию. Младшая была категорична: «Коль брата нет, я никогда не буду ничего менять!» И в паспорте узаконила прежний компромисс: фамилия — по отцу, национальность — по матери. Да еще и утерла нос своему папочке: «А если каким-нибудь уродам будет смешно, пусть своим смехом и захлебнутся!»

Причину этих фамильных пертурбаций я понимала, но была на стороне Верочки. Хотя, конечно, у девочек все же было больше еврейских корней...

Люба вышла замуж за русского и опять сменила фамилию. Вера тоже взяла фамилию своего русского муженька (естественно, забыв о своем подростковом максимализме). Но потом все же вернула себе девичью фамилию, когда разводилась. И дочка, Надюшка, теперь Шварцман.

Как-то в разговоре с тобой я даже съязвила: мол, а что же ты не поменял свою фамилию на тещину? Что, не орел? Ты даже обиделся и сказал, что я ничего не понимаю. А потом рассказывал мне свои далеко не веселые истории...

Милый, дорогой Яшик, конечно, я извинилась перед тобой за свою шутку. Да и сама рассказала, что когда-то неожиданно узнала, что у Надежды Степановны Сапожниковой (ты ее хорошо знал, когда мы в молодости встречались) муж, оказывается, был евреем, а сама она была Кралевой. И даже про Галку рассказала, что она когда-то хотела познакомиться с еврейским парнем. А вот про ее «поэта» только сейчас вспомнила.

И все же, дорогой Яшик, мне не понравились твои фамильные советы дочерям. Конечно, для вас это давным-давно было и быльем поросло, а вот для меня... Может, поэтому я и рассказывала девочкам про свой старинный корсет... с нравоучительным уклоном.

Да, я многое могу вспомнить...

Помнишь, у нас в гостях были Гельды, а наши соседи, Фёдоровы, привели к нам свою дочку (у них в квартире какая-то авария приключилась)? Ей тогда было лет семь-восемь. Гельды ушли, а девочка была еще у нас. И вот она спрашивает: «Дядя Яша, а на каком языке вы сегодня говорили? На... на евроцюзском? Я не поняла». Ты поправил: «На французском?» — «Да нет, дядя говорил на... евроглийском, что ли». Конечно, нам стало понятно: это Давид Гельд козырял знанием не только идиша, но и иврита, мол, теперь он сможет просить милостыню на любом еврейском. Но ты ничего не ответил соседке, а только пожал плечами.

Признаться, я была удивлена — и тоже промолчала.

Да простится нам...

Конечно, в молодости я была наивной дурой: считала, что все эти разговоры про национальности никому не нужны. Стеснялась, а может, и боялась таких разговоров. И вообще, при чем тут национальности? Ведь мы единый советский народ!

А вот потом, Яшик, меня мучила одна мысль: может, зря мы старались не говорить об этом?.. Только вот помогло бы это нам быть вместе? Честное слово, не знаю. Здесь, видно, многое взаимосвязано: и наша неумная молодость, и отсутствие жизненного опыта, и настороженность нашей родни... да и нас самих.

И вот прошли годы, а мы всё стеснялись и боялись. Не только вы с Борисом Лазаревичем были такие вумные, но и я уже давно над многим задумывалась и многое соображала. И вы разглагольствовали не только о гласности и новом мышлении. Вот и твой дядя все напирал, козыряя израильской «свободой и демократией». Но частенько в письмах ты недоговаривал — мол, об этом лучше не будем, а это не для печати или как-нибудь потом... Так, может, в нас сидел еще и застарелый страх говорить на все темы?..

(Без даты.)

Сердечко у тебя все же пошаливало, и мы после твоего шестидесятилетия не раз советовали уйти с работы. Но ты категорически отказывался, видать боясь совсем раскиснуть. И улыбался: «Буду работать, пока не

выгонят». Ты не привык сидеть без дела. Но еще и материальные соображения тебя мучили (может, даже в первую очередь): на пенсию прожить очень трудно. И хотя у тебя были сбережения, да и у меня тоже, но они таяли быстро. Цены на лекарства и платная медицина набирали силу, а инфляция вообще все сжирала.

Конечно, никакой паники не было. Мы уже привыкли преодолевать вечные «временные трудности». И было немало праздников: и дни рождения отмечали, и разорялись на концертные билеты гастролеров, и Дед Мороз каждый год приходил с мешками подарков (каждый из нас «тайно» складывал подарки в твой, Яшечка, дедморозовский рюкзак).

И тут приключилась нелепая история. В ней собралось многое из нашей незабываемой тогдашней жизни. Может, поэтому она вспоминается с такими подробностями. И еще, видимо, потому, что с нее все и началось...

У тебя прихватило поясницу. Обычное радикулитное дело. Но стало еще отдавать в левую ногу. Вначале ты пытался вылечиться сам: массажировал спину, а я втирала тебе в поясницу мазь. Но боль не утихла. Ты был вынужден пойти в районную поликлинику. Невропатолог выписала бюллетень: остеохондроз; прописала кучу лекарств и физиопроцедуры.

Через неделю боль в пояснице утихла, а в щиколотке почему-то усилилась. Врач продлевала бюллетень, а ты нервничал. У тебя были срочные дела и заботы, словно без тебя завод остановится.

Когда через месяц на ногу было уже больно ступить, врач, женщина лет сорока, с круглыми очками на тонком остром носу (я ее видела несколько раз, когда сопровождала тебя в поликлинику), не выдержала: «Что за фокусы? Завтра же отправляйтесь в свою заводскую больницу! А не пойдете, я вас выпишу!»

Как ты рассказывал, произнесено это было с раздражением, даже злобой. Было обидно, что она не поверила тебе. Да ради бюллетеня ты мог в любой момент воспользоваться услугами своей родной дочери и не стоять каждые три-четыре дня в очереди, прислонившись к стене, так как в коридоре поликлиники не было свободных стульев. Люба работала в больнице другого района, но организовать такой бюллетень отцу всегда могла. Но ты никогда не пользовался блатом. И еще пытался оправдать районного невропатолога, так беспардонно обошедшегося с тобой: мол, много симулянтов и больных, устают. Ты всегда всех и вся пытался оправдывать.

На следующий день мы поехали в заводскую больницу. Кровати и раскладушки стояли даже в коридоре. На третий день тебя перевели в шестиместную палату, хотя ты не очень-то и хотел. И смех и грех: до туалета было далековато. Я каждый день навещала тебя и видела, как ты мучился. Спасала новокаиновая блокада: здоровенную иглу втыкали в спину до самых позвонков. Боль утихла всего на несколько часов.

Тебе назначили массаж. Молоденькая сестра была улыбчивой и внимательной. Ты так по-доброму о ней говорил, что я даже стала ревновать. Ты рассказал, что, растирая тебя, она обнаружила небольшое уплотнение в районе щиколотки, как раз в болевой зоне, и тут же вызвала врача для консультации. Лечащий врач, энергичная и громкоголосая особа, сразу успокоила: «Ну и что?! Это бывает при остеохондрозе». Сестра-массажистка сказала, что она все же не будет трогать эту зону, даже посоветовала вызвать врача по сосудистым заболеваниям. Лечащая врачиха прикрикнула на нее: «Не вмешивайтесь не в свои дела!»

Я зашла к заведующей отделением, полной миловидной женщине (губы бантиком), рассказала про уплотнение, которое обнаружила массажистка. Губы-бантики тоже успокаивали: «Врач опытная, не беспокойтесь».

Я поведала эту историю Любе. Она хотела показать тебя в другой больнице, специализирующейся по сосудистым заболеваниям, но ты был в своем репертуаре: нет, это будет выражением недоверия врачам заводской больницы. И можно подвести сестру-массажистку: подумают еще, что это она нас настроила. И вообще, мол, не суетитесь, все будет хорошо, лечение еще не закончилось.

Мы не смогли тебя уговорить. А ты все беспокоился: как отблагодарить массажистку за труды? Деньгами неудобно, шоколадку — слишком скромно. Сошлись на коробочке конфет.

Массаж продолжался, а боль в ноге не утихала.

Люба сама посмотрела ногу, ничего крамольного не нашла. Но она была не очень-то уверена, поскольку специализировалась на гинекологии, и опять пошла к заведующей. И та, смилостивившись, вскоре организовала соответствующую проверку в терапевтическом отделении родной больницы, где замерили каким-то прибором кровотоки в ногах. И снова успокоили: все в пределах нормы.

Но коробочку конфет ты все же вручил сестре-массажистке с большой благодарностью за труды и беспокойство. А мы молча усмехались: только наделала шума, зря нервничали.

Но боль по-прежнему не унималась.

Так прошел в муках еще месяц. И здесь врачи засуетились: видать, засомневались то ли в тебе (как та врачиха в поликлинике), то ли в себе и в поставленном диагнозе, направив на томографию позвоночника в военный госпиталь. И предупредили: для посторонних процедура платная. Оборудование импортное, дефицитное, есть только там, в госпитале.

И ты поплелся аж на другой конец города.

Мы с Любой и Верой ничего об этом не знали. Разве отпустили бы тебя одного в такую дальнюю дорогу... Да еще на трамвае: денег у тебя с собой было не так много, ты побоялся потратиться на такси, чтоб хватило заплатить за томографию. Рассказывал, что добрался с великим трудом.

Врач-мужчина, посмотрев направление, деловито назвал сумму. Тебе еле хватило.

Как ты рассказывал, положили тебя на тележку-торпеду, которая и въехала под объектив чудо-машины. И вскоре прямо на руки выдали заключение, из которого явствовало, что у тебя грыжа. Да еще с какой-то компрессией.

— Что это? — недоуменно спросил ты. — И как это лечится?

Врач усмехнулся:

— Как лечится? Только оперировать.

Для нас с тобой это было полнейшей неожиданностью. Мы и не знали, что существуют грыжи не только внизу живота или в паху (у твоей покойной матери, царствие ей небесное, такая была, как ты мне потом рассказал), но и на позвоночнике.

Тебе запомнилась толстушка завотделением: губы-бантики чуть ли не расплылись в улыбке:

— Так вы не наш больной! Завтра — в областную. — И даже расщедрилась: — Ладно, утром вызову «скорую».

Вскоре после твоего краткого объяснения по телефону мы с Любашей были у тебя. Она поговорила с завотделением и уже сама успокаивала: все будет хорошо, надо сделать еще одну томограмму. Уже разузнала: в областной больнице устанавливают новое оборудование, даже лучше, чем в военном госпитале. Оно еще не запущено для массовой работы, но уже все готово. Так что переживать не надо. Тем более что в областной работает однокурсница, она сделает все как надо.

Когда мы вышли от тебя, Люба объяснила: если диагноз подтвердится, выход только один — операция: грыжу, которая защемила нерв, надо удалять. Эта операция не просто серьезная, но и опасная: такие операции у нас не совсем освоены.

Утром мы с Любой пришли к тебе, и она поехала на «скорой» с тобой. Меня с вами не пустили.

В областной больнице тебя поместили в царские апартаменты — двухместную палату с собственным умывальником. Твоим соседом оказался молодой еще, явно меньше сорока лет, мужчина — внешне крепкий, спортивного вида, с быстрыми, резкими движениями, прямым, твердым взглядом, но, увы, ему должны были делать операцию: вскрывать черепную коробку. Ужас!

Ты рассказывал и про тех, кому уже удалили межпозвонковую грыжу: передвигаются в корсетах, всем им дают на год инвалидность, а дальше — как повезет. Рассказывал, и я видела, как тебе становится хуже. Ты с трудом наступал на ногу, приседая от боли.

Диагноз подтвердился, и завотделением, мужчина лет под пятьдесят, профессор, вызвал тебя и, рассматривая новоиспеченную томограмму, начал объяснять, что операция будет сложной, но другого выхода нет. Он все подчеркивал сложность твоего заболевания, тыкая пальцем в про-

свечивающуюся пленку, говорил, что откладывать операцию не стоит, что он сделает все возможное... Словом, намекал на заслуженное вознаграждение.

Ты рассказывал, что одному мужику из деревни после такой же операции пришлось продать корову-кормилицу и еще что-то из живности, чтоб оплатить медуслуги.

Господи, мы тоже готовы были продать последние шмотки, чтоб отблагодарить любого, кто бы тебе помог!

И еще ты рассказывал, что мужик тот был большой ходок по ночным дежурным сестрам. Больница большущая, сестер много... И после очередного такого захода он делился в курилке подробностями, как ночью «жарил» дежурную: «Все бы хорошо, но вот корсет мешал — лечь невозможно. Но ничего, рядом с кушеткой приспособился...» Ты рассказывал о том мужике и смеялся. И мне на душе становилось легче.

Тебе сказали, что надо приобрести корсет и научиться надевать и снимать его. Ты переживал, что вводишь нас в расходы. А я на тебя сердилась, даже пыталась рассмешить.

Мы сами переживали о другом: нас больше волновал профессор.

Виктор, твой сосед по палате, категорически не советовал тебе соглашаться, чтоб операцию делал этот профессор, и рассказал страшную историю про свою родную сестру. Несколько лет назад она стала чувствовать себя плохо: головные боли, приступы... Тогда никаких томографов мы за границей еще не закупили, а своих, кстати как и сейчас, не было, и многое зависело от опыта врачей. Сестра попала к этому профессору, тогда еще кандидату медицинских наук. И он начал торопить с операцией, считая, что у нее опухоль мозга. И так всех запугал, что Виктор посоветоваться-то толком больше ни с кем не успел. Профессор настоял на операции, которую сам и провел. А сестре стало еще хуже.

Виктор рассказывал это все с таким жаром, что ты боялся, как бы не случился у него приступ (он временами терял сознание). А прошел Виктор не один медицинский и начальственный кабинет, чтобы спасти свою сестру. Он решил показать ее в Москве, но не тут-то было. Мало того, что иногородняя, так еще и без направления от своего родного лечебного учреждения. А сам профессор наотрез отказывался давать направление, даже не разрешил показывать Виктору медицинскую карту больной, не позволил снять с нее копию. И никакие жалобы и хождения по кабинетам не помогали.

Тогда Виктор устроил дикий скандал и пригрозил прибить профессора, если не получит нужные документы. Когда он все же сумел положить сестру в московскую больницу (и взятки давал, и в рестораны кого надо водил), оказалось, что у нее нет и не было никакой опухоли мозга, что все связано с позвоночником. Профессор просто вскрыл черепную коробку и тут же ее закрыл, а ненужная операция только ухудшила состояние больной.

После всего этого Виктор узнал, что наш профессор, тогда еще кандидат, готовит докторскую, потому активно собирает материал. Потому и активничал так с больными. Виктор не стал судиться (тогда это не практиковалось), даже не пошел куда жаловаться, понимая, что систему не пробьешь. Тем более что в Москве сестре сделали операцию на позвоночнике, она пошла на поправку. Да и сам Виктор стал себя плохо чувствовать, понимая, что и ему придется обращаться в областную больницу, единственную с нейрохирургическим отделением в Н-ске.

Именно поэтому Виктор не советовал, чтоб операцию делал тот профессор. Сам он наблюдался у молодого нейрохирурга, собираясь довериться только этому врачу. И тебе советовал договориться с ним же.

Но ты рассказывал немного не так, как я сейчас описала. Ты, усмехнувшись, сказал, что Виктор собирается довериться «этому молодому еврейчику».

Признаться, я тогда удивилась твоему странному юмору. Он был явно не к месту. Это же не те случаи, когда наш друг Давид Гельд при встрече с тобой обнимал тебя и говорил: «Ну что, пархатый, ты еще здесь?» И ты отвечал: «Так у меня во время обрезания еще и еврейские крылышки подрезали» — или юморил как-то по-другому, но в том же ключе. И я прекрасно понимала ваш сарказм. А тут, в больнице...

И только позже, вспомнив твою грустную ухмылку, я поняла, что ты просто повторил слова Виктора. А Виктор — не Гельд. И он, похоже, не понял, что и ты не Иванов... Но мне было не до выяснения отношений. Только я стала как-то без особого сострадания смотреть на твоего соседа по палате.

Да простится мне...

Стихотворение Яши Шварцмана

Все течет...
 И вот в году каком-то
 И моя кукушечка замолкнет.
 Будет шелестеть над нами вечность
 Травами, березками, цветами.
 И возможно, что с моей березкой рядом
 Вдруг приляжет безымянный холмик,
 Словно путник одинокий и уставший,
 Позабытый богом и людьми.
 И когда вы навесить меня придете,
 Поклонитесь моему соседу тоже
 И цветок на холмик положите,
 Слово доброе и тихое скажите.
 От меня. Нам вечно рядом быть.
 Я привык с соседями дружить...

(Без даты.)

Мы были в некоторой растерянности. Люба узнала, что профессор и впрямь котируется не очень, что молодой оперирует лучше, надежней. Но об этом она тебе не рассказывала, наоборот, хвалила обоих. Она понимала, что всякое может случиться, вдруг она не договорится с молодым. А тот пожимал плечами и говорил, что решение об операции принимает завотделением. Но обещал проявить инициативу. Да и тебе, Яша, он пообещал то же самое, когда однажды ты сам попросил его об этом.

Ты похудел, осунулся. Трико, в котором ходил в больнице, уже висело на тебе, резинку на животе укорачивали (завязывали на узелок) раза два, и ты держался на обезболивающих таблетках и уколах (слава богу, здесь не назначили новокаиновую блокаду). На твой позвоночник больше никто не смотрел. И на ногу никто не обращал внимания. Главное, как мы все понимали, удалить грыжу, которая что-то там защемила.

Иногда к Виктору приходила жена. Ярко накрашенная, с высокой «праздничной» прической, она выглядела, я бы сказала, кощунственно рядом с больным мужем — плохо побритым, в выцветшей больничной пижаме. Она приносила ему еду в небольших ярких упаковках, видимо что-то покупное, магазинное. Чаще всего он раздраженно говорил: «Мне это не надо». Она молча складывала все обратно в сумку. О чем они вели речь, я не прислушивалась, у меня своих забот хватало: главным было — настроить тебя на операцию, убедить, что все будет хорошо, только хорошо.

Иногда я слышала от тебя: «И за что мне такое испытание? Тебя с дочками жалко — замотались со мной». Я, конечно, на тебя шумела, а сама молила Бога, чтоб все хорошо закончилось. Ведь я уже знала, что больные, моложе тебя, после операции на позвоночнике далеко не всегда выкарабкиваются из инвалидности. А в твоём возрасте...

Но ты, Яшенька, держался молодцом: «Смотри, научился надевать и снимать корсет, ничего сложного» — и, лежа на кровати, демонстрировал свое умение. А у меня ком в горле не давал дышать.

Однажды, когда я была у тебя, пришли твои сослуживицы, мужчина и женщина, принесли фрукты, спрашивали, что еще надо. Ты так засуетился, даже готов был соскочить с кровати, чтоб угостить их. Сослуживицы, естественно, отказывались. А ты обижался: если они не угостятся, тоже не будешь есть фрукты. А я, зная тебя, уже намыла гостинцы и из твоих запасов добавила. Угостились все вместе.

А при прощанье ты так благодарил сослуживцев за заботу, словно они совершили невиданный подвиг. Я даже хотела одернуть тебя: «Что ты так раскланиваешься? Вспомни, сам-то сколько раз посещал больных». Едва сдержалась. Давно поняла: за свою жизнь ты не очень-то был избалован добрыми словами и делами сторонних людей.

Правда, потом ты сказал мне, что на заводские заработки фруктами не сильно-то побалуешься. Мол, хорошо еще, что профсоюз на посещение больных деньги выделяет. А может, еще и сами сотрудники скинулись.

И вот настал предоперационный день. Ты попросил помочь сходить в душ. Боже, как тяжело дался тебе этот спуск на первый этаж! Ты стеснялся меня, все отворачивался, держась за мою руку, чтоб не упасть. Я хотела сама вымыть тебя, но ты не разрешил...

Яшик, мой милый Яшик! А помнишь, когда ты вернулся с военных сборов и мы оказались на квартире у твоего друга, ты так набросился на меня, что даже некогда было потушить свет... Мы ничего не стеснялись, нам было так хорошо вместе...

Но, признаюсь, меня грызла мысль: где ты всему этому научился? А потом ты показал мне какие-то подпольные игральные карты: на них были разные позы... А у нас с тобой ни условий, ни уюта. Я нервничала... Ладно, что вспоминать? Молодо-зелено...

Рано утром я пошла в церковь: поставила свечку, чтоб у тебя все было хорошо.

Где-то часов в восемь я уже была у тебя (проходила всегда через черный ход, со двора, в своем халате, и сестры, зная, что ты «блатной» — еще бы, лежал в двухместной палате! — снисходительно смотрели на мои частые и внеурочные посещения). Ты уже был... как жених (твои слова) — свеж и легок (и это тоже твои), но глаза были грустные, усталые. И они мне не нравились. «Как себя чувствуешь? Давай померим температуру...» — настаивала я. Ты отнекивался, уверял, что температура нормальная, а потом сказал, что спал плохо, снотворное почему-то не подействовало, всю ночь одолевала слабость. Списывал все на нервы.

Я решила сама все проверить (до операции оставались считанные часы) и пошла к сестре за термометром. Но прошла пересмена, и ночная сестра унесла термометр домой, а у заступившей на дежурство своего не было. Больничный же (последний в этом отделении!) недавно разбился.

Я прошлась по вашим палатам: ни у кого термометра не нашлось. Я вернулась ни с чем, а ты меня успокаивал и просил, чтоб я не бегала по больнице. Я и догадалась: пошла в отделение терапии и принесла оттуда термометр. Ты даже шумнул на меня: делать, мол, мне нечего! Но температуру все же измерил: тридцать шесть и восемь. «Вот!» — притворно обрадовался ты. Я отнесла термометр обратно.

Вскоре пришла Люба. Успокоила: операцию будет делать молодой. Слава богу. Я рассказала по секрету (чтоб ты не слышал, а то опять бы разнервничался), что у тебя ночью, видимо, была небольшая температура, а сейчас упала. Люба сообщила об этом оперирующему врачу. Тот вскоре зашел в палату и спросил: «У вас температура?» — «Да нормальная температура», — ответил ты. «Ладно. Вы первый, через час. Но покажитесь лору, она сейчас проводит осмотр». Пришлось тебе ковылять к врачу. Она вела осмотр в кабинете на этом же этаже.

Вышел ты от лора ужасно расстроенный. Врач сказала, что у тебя небольшое покраснение горла. Надо его пополоскать раствором фурацилина, дня через два все пройдет. А там и новый операционный день. Ты умолял не отменять сегодняшнюю операцию, говорил, что уже настроился, подготовился... и проходить заново все эти подготовительные процедуры у тебя уже нет сил. Но врач была неумолима. Конечно, ответственность теперь падала на нее, и она не хотела рисковать. И ты на меня с Любой даже обиделся: мол, из-за вас все случилось. Ведь врач — старая перестраховщица, как ты ее назвал — сказала: «Вроде бы покраснение...» Но назад хода не было, оперирующий врач против заключения лора, конечно, не пошел. Мы тебя успокаивали: два дня — и все будет хорошо. Да ты и сам все понимал. Я переживала: вчера в душе не уберегла тебя, там и простыл. Надо было самой быстро обтереть тебя... Дура старая!

Два дня ты полоскал горло раствором фурацилина, но температура начала расти. Тебе дополнительно назначили еще какие-то таблетки и физиопроцедуры, в физиокабинете на первом этаже. Господи, ты уже и так еле волочил ногу!..

В таких мучениях прошло уже не два дня, а две недели. Ты всем — не только мне с Любой и Верочкой, но и медсестрам, и врачам — говорил, что у тебя горло не болит. Но горло продолжали лечить. А нога разрывалась, и ты поглаживал ее через трико, чтоб хоть как-то приглушить боль. Мы не знали, чем тебе помочь.

Однажды Люба пришла к тебе рано утром, когда ты еще лежал раздетый в кровати. Она хотела поговорить с врачом, чтоб показать тебя опытному терапевту, сделать еще раз рентген: вдруг что-нибудь с легкими? Присела на кровать. Ты поглаживал больную ногу. Одеяло мешало, ты немного отогнул его, оголив ногу. Люба ахнула: нога походила на чурку. Люба тут же выскочила из палаты. А ты недоумевал: чему она удивилась и испугалась, больную ногу не видела? Мы с тобой, конечно, не знали, что при защемлении нервных окончаний ничего не должно краснеть, синеть и пухнуть.

Вскоре Люба вернулась с молодым парнем — сосудистым хирургом. Тот сразу: «Надо спасти ногу! С кровати не вставать, в туалет — только на судно, никаких ужинов, на ночь — клизму, пусть сестра побреет, она знает». Словом, как потом объяснили, тромбоз набрал уже полную силу. Тромбы могли быть уже где-то рядом с легкими и сердцем. На завтра должны были проверить.

Тебе поставили капельницу, дали какие-то таблетки, тот же сосудистый хирург довольно бойко разукрасил тебя иглами. Ты стал похож на ежика или на дикобраза, но нам с Любой было не до улыбок.

Но разве можно было уговорить тебя ходить на судно... Ты уперся: все это время вставал — ничего не случилось, вот и до утра ничего не произойдет. Как объяснила Люба, тебе должны были завтра через паховую

артерию ввести специальную красящую жидкость и рентгеном проверить наличие тромбов. Словом, целая операция.

К счастью, тромбов выше ноги не обнаружили. Вновь ставили капельницу и иглы, делали уколы, давали таблетки... и через два дня боль стихла, температура стала спадать. Но левая нога оставалась чуть ли не в два раза толще правой и вся пылала.

Вскоре тебя выписали из больницы. В справке было сказано, что у тебя острый тромбоз, что удаление грыжи в настоящее время нецелесообразно, вначале надо пройти курс лечения по месту жительства, а потом — плановое проведение операции на позвоночнике.

И тут начались новые мучения...

Расскажи мне об этом раньше, я, наверное, не поверила бы, что все так сразу может навалиться на одного человека. Но это происходило на моих глазах.

Случилось следующее. Когда в районной поликлинике ставили капельницу, где-то после пятой или шестой процедуры, когда ты уже пришел домой, тебе «разбомбило» левую руку и она сильно отекала. Мы побежали в поликлинику (боль в ноге фактически прошла, ты мог уже ходить). Был конец рабочего дня, но я прорвалась к главврачу. Она сразу вызвала хирурга, и они хором запели: «Тромбы пошли выше ноги! Нужна срочная госпитализация!» Ты, Яшик, категорически отказывался, говорил, что это, видимо, ввели не туда — под кожу, а не в вену — лекарство во время капельницы. После больниц ты был уже тоже «профессором». Но врачи настаивали на своем, а я, признаться, растерялась. Врачи заставили тебя подписать «отказной» документ и сказали, чтоб завтра, если с тобой ничего не произойдет, с утра прийти к ним.

Мы вернулись домой, я сразу позвонила Любе. Она прибежала со спиртом для компрессов.

Назавтра в поликлинике тебя долго вертели под рентгеновским аппаратом, делая снимки. Тромбов не нашли, прописали компрессы. Отечность стала спадать.

Шли дни и недели, боль в ноге не возобновлялась, температуры не было. Люба показала тебя какому-то именитому хирургу, и тот сказал то, что мы предполагали уже сами: видимо, в самом начале твоего заболевания, когда ты еще ходил в районную поликлинику и лечился от радикулита, где-то в кровеносном сосуде образовалось уплотнение, которое вызывало боль в ноге. Никаких физиопроцедур и никакого массажа делать было нельзя. Вот и вспомнили мы молоденькую сестру-массажистку в заводской больнице... И вообще, мы потеряли столько времени, не просто запустив болячку, а усугубив ее: глубокая вена в левой ноге вообще перестала работать. А грыжа, видимо, была, но без защемления.

О каких-то жалобах на врачебные ошибки мы, конечно, не думали. Наоборот, понимали, что нам крупно повезло. Если бы не все эти случайности, ты мог попасть на операционный стол, где необходима быстрая

свертываемость крови. При тромбозе же все происходит наоборот... Господи, если бы всегда Ты мог нас услышать!

От операции на позвоночнике ты, естественно, отказался, так как грыжа тебя теперь не беспокоила. Но ногу тебе испортили на всю оставшуюся жизнь. И самое страшное, после этих злоключений обострились не только старые болячки, но и новые не заставили себя ждать: открылась язва, а после еще добавился неспецифический язвенный колит. Оказывается, на твой организм плохо действовали все эти лекарства. И снова — таблетки, уколы, капельницы... И стало чаще прихватывать сердце.

Во время лечения тромбоза ты ездил в больницу за какими-то медицинскими бумагами и зашел к бывшему соседу по палате. Его как раз начали готовить к операции. Держался он мужественно, даже шутил: «Моя стерва бросила меня, после операции пойду по бабам». А когда ты заволовался, кто же его будет навещать, он улыбнулся: «Сестренка приехала из П-ска. Мы друг друга никогда не бросим». А когда вы прощались, он вдруг сказал: «И что ты здесь сидишь? Была бы у меня такая возможность, я давно бы уехал в Израиль. Или еще куда».

Связь с Виктором ты потерял: в больнице сказали, что его выписали. Ты звонил ему домой несколько раз, но никто не ответил.

А я вдруг подумала, что он тогда, говоря про вашего молодого врача, вряд ли хотел кого-то обидеть, наоборот, хотел сказать что-то безобидное, даже хорошее, но не смог найти нужных слов.

Да простится ему...

И нам, Яшенька, пусть простится. За подозрение, за раздрай в душах, за ошибку.

(Без даты.)

Обнаружился сахарный диабет. Мы следили за лечением и диетой и проклинали все эти муки и испытания, которые ты прошел. Нам объяснили, что причинами этой довольно распространенной болезни могли быть и перенесенные нервные нагрузки, и новокаиновая блокада, которая могла повлиять на какие-то нервные пути, и нарушение обмена веществ...

Сахарный диабет сильно ухудшил ситуацию с ногами: она уже не только отекала. Ни антибиотики, ни всевозможные народные примочки не помогали. Дошли до переливания крови. Слово «гангрена» вслух не произносили, боясь накликасть беду.

Вскоре врачи заговорили об операции. Но не об операции на сосудах, а об ампутации. Одни полагали, что надо удалить только пальцы, другие — ногу по щиколотку, третьи — всю ногу. Мы были в растерянности.

Твои родственники в Израиле уже давно нас агитировали перебраться к ним, уверяя, что лучшие врачи уже давно живут и работают на земле обетованной. Борис Лазаревич все на себя ссылался (его, старого человека, выгнали из тяжелейшего инсульта) и критиковал тебя. Ты мне пояснил, что это ваш давнишний спор. А я стала понимать: здесь, в Рос-

сии, не только лучшие врачи или иные ученые мозги, а даже ты, технарь, никому не был нужен — ни заводу, на котором проработал всю жизнь, ни стране, с ее нищенскими государственными пенсиями. Жизнь стала очень трудной, у всех стали появляться свои секреты: никто не рассказывал, чем зарабатывает на жизнь. Одни — из-за стеснительности, другие — чтоб не сглазили. Эта недосказанность, неискренность и разные материальные весовые категории стали сильно разделять людей. Даже с друзьями стали встречаться редко.

Все это еще более удручало. И я представляю, что творилось в твоей душе.

(Без даты.)

Надо было спасти не только ногу. Стали барахлить почки. Врачи разводили руками: видимо, цепная реакция заболевания. Все шло к необходимости диализа. И я не хуже Любы знала: больные с почечной недостаточностью просто умирали, не дождавшись помощи. Об этом даже писали в газете: так было по всей России. Вот и в нашем городе оказалось только две стационарные установки, а очередь к ним — на года.

Наши девочки, конечно, понимали, что слезами горю не поможешь, но сдерживать слезы не могли. Сын мой тоже не мог ничем помочь. И я опять кинулась к знахарям. И еще — к нашим знакомым, которые переписывались со своими родственниками или друзьями, переехавшими в Израиль. Это была весомая дополнительная агитка к письмам твоего дяди. И я быстро поняла: времени на действия знахарей и бабок-целительниц не осталось. Как и на старания и метания нашей отечественной медицины.

Вначале ты и слышать не хотел об Израиле. Но я убеждала и даже настаивала. И понимала: периодическое лечение с поездками в Израиль мы материально не осилим, это не выход. Поможет только полный переезд.

Признаюсь, мне было нелегко убеждать тебя и уговаривать. И не только потому, что ты не хотел уезжать от родных могил. Ведь здесь оставался мой сын. Но, может, как раз это и придавало мне уверенности в словах и поступках. Ведь мы не теряли наше российское гражданство, это был наш тыл: вдруг мы там не приживемся... Да, да, Яшенька, не я, а *мы*. Я и представить себе не могла, что могу потерять тебя, и хотела только одного: как можно скорей начать что-то делать. Сидеть и ждать было не вмоготу.

Девочки тоже стали активно настраивать тебя на отъезд. Тем паче что личная жизнь у них совершенно не складывалась и им терять было нечего. Они переживали: среди нас по паспорту только один еврей — разрешат ли выезд? Особенно волновалась наша Любочка — Любовь Орлова. Нам всё объяснили, но девочки все же решили переделать свои паспорта — стали еврейками по всем документам: им кто-то сказал, что в Израиле это может пригодиться. Борис Лазаревич давно писал, что

в Израиле фамилии и национальности не имеют никакого значения, но девочки, видимо, решили подстраховаться.

Многое стало подталкивать нас на принятие этого непростого решения. Ты стал понимать, что здесь не только ты, но и твои дочери не выживут. То есть выжить-то, конечно, выживут — как и миллионы других, но разве это жизнь? У наших девочек нет никакой предпринимательской жилки. Кругом был сплошной «рынок», обманное «МММ», прихватизация, пьющий президент, расстрел Белого дома, война в Чечне, нескончаемые бандитские разборки...

(Без даты.)

Конечно, в первые месяцы и даже годы жизни в Израиле нам с тобой, Яшик, было намного легче, чем нашим девочкам. Мы-то, пенсионеры, были на постоянном государственном обеспечении. Да и наши российские пенсии сохранялись. И еще было твое бесплатное лечение: интенсивная терапия, диализ. Операция на сосудах спасла ногу, но большой палец все же пришлось ампутировать. Ты улыбался: «Что там один палец по сравнению с мировой революцией!»

Да-да, мы все ожили! Видать, Боженька услышал и оглянулся.

Конечно, мы благодарили и земных «богов». Врач или медсестра, обнаруживая, что мы ничего не понимаем на иврите, подзывала кого-нибудь из русскоговорящих (из своих сослуживцев или даже пациентов), и все хором растолковывали, что нам нужно далее делать, какие анализы сдавать, куда и когда идти. И наши растерянные глаза успокаивались, становясь влажными. И души наполнялись уверенностью, что все будет хорошо.

Помнишь, Яшик, ты даже пытался сочинять стишок, когда мы шли из больницы? Бормотал что-то под нос и мне свою задумку рассказывал. Стихи не помню, только суть: эта пустынная земля встречает не «колючками», а «благодатным капельным орошением» каждой души человеческой, поэтому расцветают не только деревья, кустики и цветы...

После того, что мы пережили в последнее время в России, после всех этих изматывающих больничных хождений по мукам, после тогдашнего отечественного болота и безысходности многое тут показалось для нас с тобой, Яшик, земным раем. А нашей молодежи надо было завоевывать место под солнцем. Тем более что здесь оно жаркое в прямом и переносном смысле: конкуренция среди работоспособных иммигрантов большая, а дармовые подъемные деньги не вечны. Девочки наши и полы мыли, и горшки выносили. Конечно, не шиковали. С наших пособий и пенсий мы старались их поддерживать: покупали фрукты, продукты, а Надюшке — всякие вкусности. Она вообще была чаще с нами, чем с замотанной мамочкой.

Чтоб всю жизнь не провести на подсобных работах, надо было изучать иврит, сдавать экзамены по специальности и преодолевать себя.

Помню, как они в маленькой съемной квартире, напялив на себя теплые шмотки (осенью-зимой сэкономили на электричестве), разложив учебники и бумаги — одна на единственном небольшом столе, другая на кровати, — что-то учили-зубрили. Как Богу молились. А может, и молились...

Глубокая вена, к сожалению, полностью так и не восстановилась. Ты находился под постоянным наблюдением: сдавал анализы, проводил лечение. Конечно, мы не могли не заметить беспокойство врачей. Но у нас было много поводов радоваться жизни. Купили машину. Небольшую, недорогую, но в хорошем состоянии, лучше не придумаешь. Ты даже сел за руль.

У девочек все складывалось хорошо. Люба сдала экзамены и получила лицензию на работу врачом, Вера окончила курсы бухгалтеров. Конечно, еще и повезло: здесь у тебя, Яшик, институтские друзья нашлись, помогли девочкам найти хорошую работу, дали рекомендации. Девочки работали и работают на полную катушку. Устают, боятся терактов, прячутся в бомбоубежищах, обставляют свои квартиры, ходят в гости, в театры, ездят отдыхать. объездили уже почти всю Европу. И не в одиночестве, а с мужьями — очень хорошими еврейскими ребятами, тоже из России, вернее из бывшего Советского Союза.

А вот Хаймовичам не повезло. Вначале у них все было нормально: старики и молодежь жили вместе, в одной квартире, и материально было, конечно, легче. Потом решили, что Сонечке надо вить семейное гнездышко и нянчиться с сыном, а муженьку, как и положено, быть добытчиком. Диплом инженерный он подтвердил сразу, это не сложно, а вот экзамены по специальности долго не мог сдать. Он вкальивал: был и грузчиком, и дворником. По своим девочкам знаю: здесь, особенно на первых порах, зачастую работают по двенадцать, а то и четырнадцать часов, и сил для других дел остается мало. Экзамены осилил, но с работой были трудности: не так просто найти место, чтоб подходило и по умению, и по заработку, и по местожительству. Устроился на завод: был рабочим, потом стал мастером. Зарабатывал хорошо, но свободных денег не было: в Израиле жизнь дорогая. Хаймовичи на себя взяли все домашние хлопоты, так как умели экономно хозяйничать, да и души не чаяли в своем внуке, нянчились с ним больше, чем его мамочка. А ненаглядная доченька, как они рассказывали, просто спятила: целыми днями сидела за компьютером и себя развлекала. А теперь даже малые дети знают: в этом чертовом интернете веселой и красивой жизни, всякого рода соблазнов и знакомств — на любой вкус. И черноокая красавица Сонечка все чаще и чаще стала тянуть мужа то в магазины, то в кафе, желая как-то убежать от скуки. Начались ссоры. Хаймовичи советовали ей пойти работать, чтоб жизнь была разнообразней. Да ей и самой надоело сидеть дома. И она пошла на какие-то курсы, но, вырвавшись на свободу, почти сразу скисла. Хотя жизнь стала действительно разнообразней: домашняя Сонечка мучилась недолго, заведя хахалю. Какой-то состоятельный кобель таскает ее за собой по заграни-



цам, а Хаймовичи воспитывают внука, очень переживают и ждут, когда их доченька перебесится, надеясь, что муженек ей все простит. Что ж, все возможно. Иногда мужчины прощают. Только не все и не всё.

Мы скучали по нашим друзьям, по когда-то обжитой и уютной квартире. Даже по снегу. Конечно, душа частенько томилась не только от пустынно-каменной жары...

Каждый год я ездила к сыну и внуку. И ты, Яшик, ездил два раза. И девочки в прошлом году со мной ездили. Ты с девочками — на могилки...

На кладбище все по-старому: тишина и покой. И на душе тоже по-старому: обида и тревога. Ты, конечно, помнишь этот бескрайний и бесконечно щедрый лес: сколько зелени, сколько красоты и грусти. И бесшабашное месиво разномастных металлических ограждений и куч мусора. Мы чуть не заблудились, с трудом нашли родные могилки. Только потом поняли: кто-то перегородил тропинку новой оградкой, и мы запутались, свернули не в ту сторону. Пришлось перелезть через чужую могилу. Хорошо еще, что заборчик был невысокий.

Помнишь, нас всегда возмущали неухоженные, а то и брошенные, проржавевшие ограды? Некоторые из них превратились в мусорные клетки. Могилок-холмиков уже не видно, все переполнено прелыми листьями, ветками, облезлыми старыми венками, целлофановыми пакетами, пустыми банками и бутылками. Кошмар! Кресты и памятники перекосились, многие уже облеплены мхом. Они больше напоминают о живых людях — бездушных и пакостных. Нет им ни оправдания, ни прощения!

За Ваську беспокоюсь: как бы внук не перенял плохое.

И еще. Мы с тобой, Яшенька, раньше как-то не замечали, не обращали внимания, а потом увидели: на многих заброшенных памятниках были еврейские имена и фамилии. Время делает свое дело: таких среди захламленных могил-оградов стало больше. Мы уже тогда понимали: это не оттого, что никого нет в живых из родственников. Просто все уехали из страны. Уехали — и всё.

* * *

В Израиле я подрабатывала (убирала офисы и помогала по хозяйству пожилым людям) и частенько посылала своим посылки и привозила доллары. Признаться, иногда жалела, что в спешке продала свою кооперативную квартиру. Надо было оставить ее Ваське. Хотя, конечно, Яшенька, я боялась за тебя: вдруг в Израиле потребуются деньги на лечение? А они потребовались на машину, для тебя она была необходима. Нас и врачей очень волновала ситуация с твоими ногами...

Спасти левую ногу не удалось. Ампутировали по щиколотку. Потом — выше колена...

Конечно, мы понимали, что судьба подарила тебе более семи лет нормальной жизни. И мы все — в первую очередь, конечно, ты сам, Яшень-

ка, — были готовы приспособиться к новым обстоятельствам. Но и с правой ногой становилось все хуже и хуже...

Я помню... Я слышала... Яшенька, милый мой, я случайно подслушала, когда подошла к двери, твой голос, твои слова. Ты просил Бога помочь... Стонал и просил.

Я не могла сразу пойти к тебе. Забежала в ванную, открыла воду, чтобы ты не слышал меня, моих воплей.

Мы молились Богу. Бог един. Но в этот раз Бог нас не услышал... Вторую ногу ампутировали — сразу с запасом. Это был такой ужас...

«Обрубок...» — шептал ты и плакал. Как ты плакал...

Раны заживали плохо. О протезах или передвижной коляске пока и речи не могло быть. Об этом можно было только мечтать. Но ты не мечтал. Ты не хотел жить.

Девочки не выдерживали и тоже плакали, умоляя тебя держаться, находить в себе силы.

Мое сердце разрывалось от боли и жалости. Ты не видел моих слез. Я как окаменела. Как тогда, когда умерла моя мать. Я носила тебя на руках, ты был моим ребенком. И старалась, чтоб девочки реже видели тебя в таком беспомощном состоянии.

Было жутко смотреть, как ты пытался передвигаться без посторонней помощи: цепляясь за палас, опираясь руками о пол, ты полз. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы немного... Хотя бы до туалета.

Конечно, я понимала: ты нас стеснялся, еще более мучился и страдал, не зная, как облегчить и нашу участь.

Когда я носила тебя в ванную, всегда боялась одного: только бы не выронить. И видя, что ты страдаешь еще и из-за меня, пыталась шутить — мол, я закаленная, всю жизнь сумки тягала, меня не напугаешь. А ты обхватывал мою шею, чтоб хоть как-то помочь мне, и я слышала твое тяжелое дыхание... А однажды у меня закружилась голова: мне показалось, что мы танцуем.

Яшик, ты помнишь, как однажды мы были на вечере в твоём институте? И вот в конце, когда многие бросились в раздевалку, вдруг опять грянула музыка! Заиграли модный тогда чарльстон. Несколько оставшихся пар бушевали в большущем полупустом зале, а оркестр только усиливал темп. Не сразу мы поняли, что нас втянули в соревнование. И мы не подкачали! У меня до сих пор мелькают перед глазами неутомимые кренделя, которые ты ловко выделывал ногами, полы пиджака бешеными парусами развевались, твои глаза смотрели на меня с таким задором... Многие пары сдались, не выдержав темпа, а мы с тобой были молодцы. И когда оркестранты замолкли, нам заплодировали, а мы с тобой от усталости и радости упали в объятия друг друга и я слышала твое тяжелое дыхание...

Я носила тебя на руках и опять молила Бога помочь нам справиться с душевными тягестями и болячками. Больница постоянно оказывала помощь. К нам приходили врачи и медсестры, а местные власти обещали

подобрать квартиру на первом этаже, с пандусом, чтоб можно было передвигаться на тележке. Родственники и соседи, которые стали для нас настоящими друзьями, сочувствовали, предлагали свои услуги. Даже друзья и сослуживцы наших девочек не оставляли нас без внимания. Мы не были одиноки в своей беде.

Помнишь, к нам пришла бывшая одесситка Берта Соломоновна — и давай шуметь: «Вы что раскисли? Вон Малкину оторвало ногу во время теракта, так он теперь герой! И как его уважают! А у тебя в Союзе разве был не теракт? Ты же дважды герой! Главное, что выжил! Назло всем! Мы еще покажем этим уродам, тайным и явным!..» И заключила без всяких намеков на шутку: «Не хныкать! Еврей — уже герой!»

Но я заметила: ты улыбнулся.

(Без даты.)

Ящик, любимый мой, родненький...

Вчера опять был взрыв. Погибло два человека, восемь ранено...

По-моему, ты так и не досочинил свое стихотворение о «благодатном орошении». Видать, накапливал что-то в душе. И болячки накапливались...

Подрабатываю сейчас меньше. Очень тяжело наклоняться. Даже ведро с водой теперь для меня в тягость. Врачи и соседи хорошо знают нашу историю, уважают меня и говорят, что боли в позвоночнике — это, увы, «от тяжести».

С Надюшкой мы и дня не можем прожить друг без друга. Она зовет меня бабусей. А на иврите шпарит не хуже, чем на русском. Что ж, молодчина. Теперь это и ее страна. Скоро пойдет служить в армию. Мы волнуемся. Но надо, очень надо. Я сама готова глотку перегрызть тем, кто будет плохо говорить об Израиле и евреях. А еврей, Берта Соломоновна, конечно, есть всякие, вы правы. В семье не без урода.

У Хаймовичей снова неприятности. Соня все же уехала со своим хахалем в Америку. И сына с собой взяла. Видать, думала, что осчастливилась навсегда, а «еврейский фенька» (так называет его Борис Лазаревич) через полгода ее бросил. Теперь она хочет вернуться. И опять сядет на шею родителям-пенсионерам, так как муженек посылает ее на три буквы. Или, может, перебесилась и пойдет куда-нибудь работать. Но ей надо еще учить иврит.

Надюшка продолжает встречаться с Моисеем и зачастую — до утра... Пытались говорить с ней — бесполезно. Даже на смех нас подняла — мол, мы отстали от жизни. Замуж не собирается, говорит, что вначале надо встать на ноги.

В наше время некоторые парни тоже так рассуждали: пока не готовы к семейной жизни, еще не набегались... Но Надюшка не о том. Она ласковая, добрая, всем-всем со мной делится. Я очень и очень ее люблю, даю советы: лучше учить уму-разуму, чем читать нотации.

Держусь на таблетках и уколах. Чертов позвоночник... Но сдаваться не буду. И ты, Яшенька, иногда напевал: «Помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела». А у меня — целых два дома.

Да, я помню о вашем давнишнем споре с Борисом Лазаревичем, сама как будто в нем участвовала. И участвую. Конечно, я не могу беспокоиться только об Израиле, а о России забыть. И не только потому, что там мои дети. Да и ты не мог. Там и твои корни. И не только могилки.

Были у нас Гельды, когда здесь путешествовали. Милостыню не просят ни на идише, ни на иврите, ни на русском. Как я поняла, в Израиль переезжать не собираются. Давид шутил: мол, помимо многочисленных болячек, они теперь еще и бессрочные инвалиды пятой группы по паспорту — бескровные. И плохо, мол, что у самолета подножку перед вылетом убирают: могут не успеть заскочить.

(Без даты.)

Быть такого не может, чтоб в России антисемитизм был неискореним, что он впитывается с молоком матери. Борис Лазаревич даже название ему придумал — «генный шизофренизм».

Но ты, Яшик, прав: этот шизофренизм не генный, но заразный. А больных лечить надо. И ты говорил, что у многих мешанина в головах. Сколько конфликтов в России! Да и не только у нас в России трудности.

Яшенька, ты не верил в Бога. Но и не был безбожником. Мы все такие в нашей России. Пусть не все, но многие. Вот и ты... Бог в душе. И где-то вне нас. Я помню, Яшенька, помню твое терпение, как ты полз, цепляясь за палас, твои слезы, мольбу...

А в Израиле много верующих. Иногда мне кажется, что все евреи верующие, так как хранят «исторический корсет» — свои заповеди, верят в свой народ, в страну. Как в Бога. Поэтому едины. И значит, Бог их «избрал» — помогает им жить. А они помогают другим.

Спасибо моим мальчикам, они меня понимают. Очень хочу, чтоб они здесь побывали. Обязательно приедут. В Израиле столько интересного и важного! Гробу Господню поклонятся. Здесь ведь и наши рождались заповеди.

Я бы уехала к моим мальчикам. Но боюсь надолго уезжать от твоей могилки. Мало ли что со мной, а обратный переезд будет слишком дорог... и вообще может не состояться. Да и как я оставляю девочек...

А о мальчиках душа болит. Василию я помогала и буду помогать, пока хватит сил. Обещает поступить в строительный институт. Дай бог. Лишь бы все было мирно и дружно. Везде.

(Без даты.)

В этом году была у сына в Н-ске (девочки не могли со мной поехать). Все сделали с Галкой у Светланы: покрасили оградку, посадили многолетние цветы. У твоих родителей тоже все убрали, подмели. Ты не беспокойся, Галка выполняет нашу просьбу: два раза в год (весной и осе-

ню) подметает, поливает. Я хотела договориться с одной конторой, которая оказывает услуги по уходу за могилами, но Галка говорит, что пока сама справляется (конечно, хочет подзаработать: явно воспринимает наши подарочные конвертики не как скромную матпомощь из-за своего нищенства, а как небольшой гешефт за услуги). Но и согласилась: на всякий случай сама все разузнает и сообщит. Мне уже тяжело стало ездить, да и накладно. И у девочек много разных забот и расходов. Сын тоже, увы, не будет вечно помогать ухаживать за могилами моих родителей. А для внука моего они вообще чужие. Вот и я от него далеко. Еще отвыкнет.

На кладбище стало значительно чище: собранные листья выносятся или сжигаются работниками кладбища, на проезжей дороге стоят специальные бачки для мусора, а люди стараются соблюдать чистоту. И заброшенных могил становится меньше. Говорят, есть положение: через столько-то лет такие захоронения ликвидируются, на их месте хоронят других. При этом останки должны быть перезахоронены на специально выделенном месте. Но я слышала, что за деньги можно прямо на косточки, чуть присыпанные землицей.

Часто вспоминаю последний вечер. И твое стихотворение, которое нашли в письменном столе:

Я в гости смерть не жду,
 Хотя полно болячек,
 И вроде ощущаю
 Душевную я твердь...
 И все же почему-то
 Я, так или иначе,
 Не буду *гостью* гнать,
 Открыв случайно дверь...

Мы принимали твоего друга Ка-Ка, который в очередной раз приехал в Израиль. Во время перестройки он организовал кооператив, а потом во время ельцинских реформ преуспел. Вот и в Израиль зачастил по своим коммерческим делам. Не думаю, что полюбил и евреев. Во всяком случае, в молодости я такого за ним не замечала.

Так вот, он пришел навестить тебя. Все было нормально, вы довольно долго разговаривали. Я особо не прислушивалась: к нам как раз пришла Надюшка, мы с ней были в другой комнате. Но до сих пор в голове вертятся почему-то слова Ка-Ка, сказанные в раздражении: «Все мы — актеры!.. Да-да, все мы — актеры!..» Шекспир нашелся!

Вскоре он ушел, ему надо было в аэропорт.

А ночью ушел ты. Навсегда. Врачи сказали: сердце.

(*Без даты.*)

Все чаще возвращаюсь к мысли, которая мучает: меня не похоронят рядом с тобой. Таковы здешние правила: кладбища для евреев и неевреев...

Я помню, Яшик: «Будет шелестеть над нами вечность травами, березками, цветами...»

Здесь кладбища особые. Ты уже привык? А я все еще мучаюсь: нет ни тропинок, ни зелени, ни птичек. Все каменное: и проходы, и надгробья, и каменные вазы с искусственными цветами. И горшки с кактусами.

Вот и твой памятник... как солдат в шеренге. Здесь ты в вечном строю. Вместе со всеми.

Вспомнилось... Когда мы приехали в Израиль и тебе удачно сделали операцию, мы стали выходить в люди — ездить на экскурсии. Маршрутов много, людей — толпы. Конечно, туристы со всего мира, и многие из них — не чтобы поглазеть на страну трех религий, а поклониться, попросить помощи, покаяться. И на площади у храма наш экскурсовод начал делать переключку группы. Смотрел в листочек и выкрикивал: «Рабинович, два человека...» — «Я!» — «Петров, три человека...» — «Есть!» — «Шварцман, пять человек...» И ты как-то необычно громко, с каким-то даже вызовом, восторгом, гордостью, чуть ли не на всю площадь у храма Гроба Господня крикнул в ответ: «Я — Шварцман!»

Все правильно. И на памятнике — «Шварцман Яков», на иврите и на русском. Душа не каменная, здесь она не будет метаться и маяться, сомневаться и мучиться.

...И когда вы навесить меня придете,
 Поклонитесь моему соседу тоже...

Здесь тебе будет спокойнее, лучше. И значит, мне тоже. Я тоже привыкну. Ведь я буду от тебя недалеко. Нет-нет, рядом: любящие души и на том свете должны быть вместе. Разве Бог может быть против любви?

Девочки будут приходить к нам и ставить в каменные вазы живые цветы. Конечно, солнце их испепелит, но девочки снова придут... Они всегда будут рядом.

И сын, дай бог, придет. И Вася, может, вспомнит...

Родители наши за нас будут спокойны. Мы их не бросили.

(Без даты.)

Завтра у нас в Израиле, вернее у всех евреев, начинается Пасха. Рыбу-фиш мы редко готовим, здесь все есть в магазинах. Но ту знаменитую посудину из нержавеющей стали, конечно, храним и бережем. Будем с нашими детьми и друзьями кушать фаршированную рыбу, мацу и желать всем здоровья и долгой счастливой жизни: «Лехаим!»

А потом, через неделю, начнется русская Пасха. Напечем куличи, разукрасим яйца и будем поздравлять друг друга: «Христос воскрес!» И конечно, тоже рюмочку поднимем.

А сердце ноет и ноет, болит и болит, и нет на душе покоя ни в праздники, ни в будни. И так хочется что-то сказать тебе, в чем-то признаться...

Да, Яшенька, пишу — как исповедуюсь, прошу у Бога прощения. За что — и сама не знаю, но становится немного легче.

Ящик мой, миленький, родненький! У меня нет сил молчать... и не хватает сил и духа кому-то обо всем рассказать, только тебе. И нет мне прощения, до конца своих дней буду молиться и каяться. Теперь-то я знаю, что хочу сказать тебе, в чем признаться. Осталось не так много времени — и уже никогда не будем расставаться. Мы будем рядом — в одной земле, на одной Земле. Но простишь ли?..

Ты рядом и сейчас. И я расскажу тебе, обязательно расскажу...

Я была в Н-ске и взяла у Галки свою старую дневниковую тетрадку. Все, что я там писала, уже давно было мной забыто-перезабито. Но, наверное, все же чего-то боялась, предчувствовала что-то...

Галка и забыла про эту тетрадку и другие листочки, когда-то надежно завернутые мной в клеенку, завязанные-перевязанные, чтоб не вскрыли. Она обнаружила ее в потертой, еще довоенной дамской сумочке, туго набитой родительскими бумагами — грамотами, фотографиями, какими-то облигациями. Сто лет в нее не заглядывала.

А я бумаги своих родителей давно повыбрасывала. Только один прабабкин корсет и берегла. Для чего — и сама не знаю. И никогда не спрашивала о своей тетрадке. Думала, что все потеряно, сгинуло в вечность во время житейских передрыг...

Нет, вру. Я ведь хотела сохранить ее, я помнила о ней. И она мучила меня, все еще связывала с тобой, оставляла какую-то надежду. Я ведь давала эту тетрадку тебе — хотела, чтоб ты знал о моей любви. И не могла выбросить свои дневниковые записи или попросить об этом Галку. Да и боялась потревожить воспоминания, нарушить в них что-то... И все же, наверное, хотела, чтоб Галка потеряла эту тетрадку... или даже выбросила ее. Боялась, что ее может кто-нибудь увидеть. Ты, Яшенька, мог увидеть, прочитать. Ведь, когда мы расстались, в ней стало появляться не только то, что было у меня на душе, но и разное дурное.

Да простится мне...

Я помню, многое помню... Я говорила тебе, что у матери рак, но не сказала, что все идет к концу. С отцом и братом — никаких душевных контактов. Родственников своих я вообще за людей не считала, они совершенно не помогали мне, еще и злорадствовали, что ты ушел от меня, говорили о тебе разное злое. Да и некоторые подружки тоже... Вот и я выговаривалась в тетрадке в те злые и пьяные вечера и ночи.

Конечно, я хотела что-то оправдать, вернее оправдаться. Тяготилась той антисемитской дурью, что понаписала тебе. Но я совсем позабыла о других ужасных словах... Я их просто не помнила — это были не мои слова. Я не знаю, какой дьявол заставил меня написать все это: о будущем, о горе, о беде...

Неужели... это я наворожила, наколдовала, накаркала? Прокляла.

Кто-то чужой, другой водил моей рукой. Я тогда лишилась рассудка.

Что же делать? Яшик! Милый мой! Поверь мне! Это были не мои слова, не мои! Вернее... мои, но я не хотела. Я спяну, у меня вырвалось...

Не тебя, Яшенька, прокляла, себя прокляла...

(Без даты.)

Все еще разбираем твои блокноты, записные книжки, рукописи. Много стихов. О некоторых даже не знали. Девочки собираются их опубликовать и жалеют, что ты сам это не сделал — мол, добрые, искренние слова многим людям нужны. Я киваю, а сама дрожу: боюсь, что когда-нибудь они могут наткнуться на мою тетрадку. Прячу-перепрятываю.

Выбросить, сжечь?.. Но она тоже живая. Жалко... И страшно — как себя казнить.

Господи, прости меня грешную...

(Без даты.)

Яшик, миленький мой! Конечно, это совпадение. Все, что с тобой случилось, — это случайность, просто случайность. Ошибки врачей...

Веришь мне? А вдруг не веришь... Нет, не может быть! Накликала беду. Боженька, прости меня...

Пусть Бог не прощает, а ты, Яшик мой, родненький, прости...

А если не случайность?..

Тихо!.. Молчи... Не говори ничего... Господи...

Все помню, наизусть знаю. Опять читала-перечитывала и плакала. А тут — Надюшка. Я вздрогнула.

«Ты что, бабусенька?»

Я прикрыла тетрадку руками...

Любопытная.

И Люба с Верой, наверное, любопытные.

Что же делать... Отвезу тетрадку! К сыну... нет, к внуку... к Галке.

Будет тоже любопытничать... покажет кому-нибудь...

Всё! Вычеркнула, вытерла, замарала. Теперь никто, никогда. Не мои слова, не мои... Не писала я... никто не писал, не говорил. Яшенька, я всегда с тобой... И мама хорошая... Все хорошие... Еще черней, гуще замажу. Сейчас, сейчас...

(Без даты.)

Что за ерунду написал Ка-Ка? Никого я не бросила. Ни сына, ни внука. И никому не продалась... «Этому Израилю... Ради куска хлеба с маслом...» Дурак!

И при чем тут «играть»? «Хватит играть...» Это он о чем? На что намекает? И еще командует: «Хватит мить чужие полы и быть у них домработницей!» Идиот! Словно права получил... Прочитал все мои слова и получил...

Не может быть... Нет-нет... Тетрадка уже после Яшеньки... Ка-Ка больше не был у нас...

А может, еще с тех пор, когда я была у него... *в гостях*. Усмехался, ехидничал, на меня поглядывал, будто намекал, что может рассказать. Зло намекал. И намекнул... Яше намекнул, рассказал... Все рассказал... «Хватит играть...» Мне — играть... Боже, рассказал, когда был у нас в тот последний вечер: «Все мы — актеры...»

Господи...

Я знаю, почему ты ушел от меня, навсегда ушел: ты понял Ка-Ка.

Яшик, родненький, ты не простил мою измену. Не простил...

«Шлюховатая натура...»

Ты не простил меня. Ты не смог сыграть.

(Без даты.)

Яшенька, миленький, помоги. Сама себя наказала и обрекла на вечное покаяние. А на душе тяжесть еще большая, еще горшая.

Яшенька, я боюсь: суд родных и близких страшнее Божьего.

Я не знаю, как быть, как жить... В голове темно... перед глазами темно.

Яшик, я боюсь одна. К тебе кинулась... к тетрадочке. Кто-то подглядывает... окно противное... страшное... за тетрадкой охотятся... за мной охотятся... не боюсь шагов... шорохов... не боюсь... ты со мной, Яшенька...

(Без даты.)

Тяжесть в голове. Отпустите мою голову... отпустите меня...

Боженька, помоги. Бог не может карать, Бог может прощать... Мы сами себя наказываем: Бог не слышит нас... за грехи непрощаемые... Боженька может и меня не услышать.

Да-да, Боженька не услышал тебя, ты сам себя наказал... Ушел от меня, убежал. А ноги от тебя убежали... Не верил мне, не любил... Никогда не любил, не говорил, скрывал, замалчивал. Играл со мной... с собой. Что чувствовал — ущербность во мне?... Стеснялся, боялся. Любовь предал, меня предал, себя предал.

Ты этот... как его... юдофоб... русофоб... Эзоп... Хитренький... хитрый еврей! Кто-то говорил мне: я была для тебя домработницей.

Обманщик ты, трусливый, несмелый. Всех оправдывал, себя оправдывал... Другим не доверял, себе не доверял... Не гордый ты, неуверенный — стеснялся, боялся. Усмешек, насмешек?... Себя стеснялся, себя боялся... Не хотел, а пришел, прибежал, прилетел... Не по зову крови, вынужденно. Бывает, врачи спасают... Боженька не спас.

Родителей бросил, веры своей стеснялся, веры боялся... Антисемит ты! Предатель ты! От Бога хотел уйти?... Ноги больные? Нет — душа больная, двуличная... Ты что, заблудился, запутался?... Бог не понял тебя,

не услышал. Сам себя ты обманул, сам себя проклял, наказал, покарал... Суд Божий, праведный...

Не обманываю, правду говорю... Ты слышишь, Боженка?!

Покаялась. Не предавала ни веру свою, ни Яшеньку. Я так, спьяну, от злости, от глупости... Порчу навели, благословили, заколдовали... Всем суд.

Да простится мне!..

Бог услышит меня, изберет, не отнимет, не лишит — ножки мои будут целыми.

Яшенька, мой любимый, мой родненький... Ты тоже покайся, легче будет... Бог услышит... Будешь и ты богоизбранным.

Да простится тебе...

Да простится нам...

(Без даты.)

Миленкий Яшик! Любочка дает мне лекарство (у меня спина болит), и я меньше плачу. А ходить мне тяжело. Израильские врачи хорошие, добрые. Все евреи хорошие, добрые, сильные. Это ты мне помогаешь. Спасибо тебе.

Ты где-то далеко, Яшик мой. Далеко-далеко. Я возьму тетрадку с собой, к тебе... Я все заверну и упакую в посылочку. Мы будем вместе читать... Я не буду плакать: когда ты рядом, мне ничего не страшно... Ты всегда мне помогал...

Я хорошая, добрая, сильная. Тебе не будет страшно... Все русские — хорошие, добрые, сильные. Все люди — хорошие, добрые, сильные... Не стреляйте друг в друга, не обижайте моего Яшечку.

Ты инвалид пятой группы?.. Нет-нет, первой... русской. Это все евреи — хитрые... Мамочка говорила мне, тетушки говорили...

Антисемиты... русофобы... фоньки... идиоты... уроды... шизофреники... Как я вас ненавижу! Я люблю только Яшика.

А мы возьмем и уплывем... Сядем на корабль и уплывем от всех. Поплывем по морям-океанам... Мы не упадем, мы будем крепко держаться друг за друга...

(Без даты.)

Яшик! Врачи хотели положить меня в больницу, а девочки не хотят. Я очень не люблю врачей.

С Наденькой весело. Я радуюсь: Любаша и Верочка приносят бумагу и ручки красивые. И плачут. Я говорю, чтоб они не плакали, а пили лекарство, как я пью. Оно очень сонное. Как бы не проспали. Пойду разбужу.

Яша! Кто-то брал мою тетрадочку! Там грязно, черно, замазано.

Это девочки брали. Бесстыжие! Я им по рукам! По рукам! Я сама знаю, где ее прятать. Там стихи... Это ты писал? Что-то не по-русски...

Ты что, нерусский? Я иврит не знаю. А ты понимал меня?.. Не помню. Спрошу у девочек. Они у нас такие добрые и ласковые... Замазали. Ревнуют, что я люблю Яшеньку. А я опять напишу: люблю, люблю, люблю...

Я очень люблю маринованную селедочку и шоколадные батончики.

(Без даты.)

У меня головка, спинка болит. Вот ноженьки и отнялись у Яшеньки... Сердечко отнялось...

Ка-Ка... Я только с Яшенькой спала!.. Не говори Яшеньке! Не говори! Жид пархатый!.. Мамочка моя предупреждала... Папочка как даст костылями по твоей еврейской морде!..

Яшенька, не уходи от меня... Мы будем с тобой кушать селедочку, шоколадные батончики, танцевать... играть.

Ка-Ка убил Яшеньку! Русофоб проклятый!..

Ты, Яшенька, пей таблеточки, я вылечу тебя... Я дождусь тебя. Я найду тебя...

У девочек много таблеточек... Девочки говорят, что спать надо долго. Проснемся и не заблудимся. Не заблудимся с братиком в лесу... не пропадем... В Израиле врачи хорошие, добрые... Я добрая, сильная. Это все гены... Генный шизофренизм... Это Борис Лазаревич... Я все-все помню.

Мешанина в головах... Ненормальные! Да-да! Все антисемиты — русофобы... Все русофобы — антисемиты... Я уже проклинала, помню... И еще прокляну! Будьте вы прокляты! Пусть вас постигнет такое, что вам будет так трудно, как не было мне. Пусть земля всегда горит под вашими ногами, паршивые уроды. Презрение к вам будет не только моим, а всего сущего и живого. Вы взяли у меня все — мою ласку и искренность, мечту и надежду. И вы, негодяи, ходите по земле и продолжаете обманывать людей своим пылким красноречием.

Да, да, я все помню. Был еще один человек, ненавидевший вас... мой Яшенька. Будь у него сила, он задушил бы вас, гадкие типы. Берегитесь, подлые твари... Клянусь!..

Клянемся!.. Клянемся, что никогда не падем низко, ни перед кем не унизимся, будем гордыми и уважающими самих себя... Яшенька, клянись!.. Девочки, сыночка, внученьки, клянитесь!.. Борис Лазаревич, клянись!.. Галочка, клянись!.. Все клянитесь!.. Боженька, клянись!..

(Без даты.)

Яшенька, а у нас радость... Сегодня девочки прибирались в твоём письменном столе (чтоб удобнее было прятать тетрадку и корсет) — и вдруг сверток. В нем — яркая коробочка, а на ней надпись твоей рукой (я сразу узнала!): «Анютке. Прости, что задержал».

Открыла коробку и еще больше обрадовалась: там лежал большой и яркий надувной мячик!

Надежда ГЕРМАН

«А НОЧЬ УЖЕ КОНЧАЕТСЯ...»

БЕЛЫЙ СТИХ

Кузнечик тарыхтит. Скрипит телега.
Лошадка фыркает. Дорога пахнет сеном,
туманом и землей. И облаками —
там жаворонок, жаворонок плачет
от счастья, что живет. И есть надежда
еще дожить до будущего лета!
Скрипит телега. Ровно дышит лошадь.
И можно в сено лечь, лицом на солнце,
и все смотреть, как облака по небу
плывут, плывут... И жаворонка слушать...

А где-нибудь грохочет автострада.
И самолеты разрезают воздух.
И воздух — рвется, тонкий, как бумага...
как тонкие ушные перепонки...
Со скрежетом и воем мчится время,
как скорый поезд мимо полустанка,
согласно расписанию: мимо, мимо...
Всему своя цена: приобретая,
сторицей платим за любую мелочь...

А я лениво еду на телеге,
дышу травой, рассветом и туманом...

* * *

...А память, будто кованый сундук,
бесценные сокровища скрывает.
Но ключ — тяжелый — падает из рук,
да и замок все чаще заедает...

...А память, будто верная собака:
у ног моих на коврикe лежит,
не бросит, не предаст, не убежит.
Она меня хранит и сторожит
от пустоты, от холода и мрака
(а пуще от меня самой, однако!).

ПРО ГНОМА

В зеленом доме у реки,
Где рос лопух,
Скрипели старые сверчки
И пел петух...
Где паутину плел паук
В своем углу...
Где были гвозди, и сундук,
И щель в полу...
Где ровно в полночь сам собой
Звенел хрусталь...
Там жил за печкой домовой,
Ворчун и враль.

Он недоволен был всегда
И всем подряд:
Ворчал на зной, на холода,
На листопад.
Бурчал, что кухня — вся в дыму,
Ему назло...
Мол, с местожительством ему
Не повезло!

В окно таращилась луна,
Разинув рот.
Дремали куклы, два слона,
Медведь и кот.
В глухую ночь скрипела дверь,
Сочился свет...





Но дома старого теперь
На свете нет...

Где жил когда-то домовый
Сам по себе,
Играл с остывшею золой
И выл в трубе —
Другие выросли дома...
(Я ни при чем!)
И только память как сума
Через плечо.

А за оградой, на лугу,
Где спит туман
И месяц прячется в стогу,
Как партизан —
Следы давно минувших лет
Едва видны...
(И в этом не было и нет
Моей вины!)
Журча, из звездного ковша
Течет вода.
Прости нас, детство, что, спеша
Бог весть куда,
Бросаем кукол, медвежат
И домовых...
Клокочет жизни водопад,
А мы — бултых...
Ныряем в бешеный поток.
И он несет,
Швыряет так, что даже Бог
Не упасет...
И вот уж нету ничего,
Что было в нас:
Весенних лужиц, ручейков
И ясных глаз...

И остается старый гном,
Бездомный дух,
Ловить бумажным колпаком
Осенних мух
И неприкаянно стоять
Среди берез,
Чтоб вслед глядеть, рукой махать
И морщить нос.

* * *

А мне еще осталось полчаса
поплакаться попутчику в жилетку...
случайному... (Кольцо, рубашка в клетку
и тихие разбойничьи глаза.)

Он скажет мне в ответ чего-нибудь
(всегда есть что-то для такого случая)
и даже не заснет, прилежно слушая,
запястья моего касаясь чуть.

Идет сближенье душ... Но слишком поздно:
Сбавляет поезд скорость: чу-чу-чу...
Здесь станция моя. Хватаю воздух,
как рыбка на прилавке. И молчу —

так оглушительно и так красноречиво...
А на перроне — шум и толкотня.
И сполохи рекламного огня...

...С небес луна, подвешенная криво,
все понимая, смотрит на меня...

* * *

А ночь уже кончается.
Чуть выше плоских крыш
крылом луны касается
летающая мышь.

Сквозь дымку звезды шурятся.
И тополь полугол.
По тихой сонной улочке
недавно дождь прошел.

Обрывок флага треплется
ветрами пустыря.
А на востоке теплится
холодная заря.



* * *

...Из липких пут земного притяженья —
к холодной звездной сини небосвода,
туда, где простирается свобода
от радости свободного полета
до пустоты свободного паденья...

Но счастье — в осознании иного:
вдыхая запах жареной картошки,
сидеть и греть у очага земного
и крылья, и озябшие ладошки...

* * *

Непогоде не будет конца.
Только полночь стоит у крыльца,
Будто странница в мокрых одеждах.
Может, ты возвратишься ко мне —
Пять минут посидеть в тишине,
Бестолковая птица, надежда?

Я тебе не насыплю зерна,
Не налью золотого вина
И свечу не зажгу на божничке.
Просто — сядем, готовые в путь,
Пять минут в тишине отдохнуть,
Две сестры, перелетные птички!

Нам так долго и трудно лететь...
И, наверное, надо успеть
Написать и не спутать страницы,
Чтоб от точки до точки роман
Протянуть через хмарь и туман
И с пути ненароком не сбиться.

Пусть бумажные крылья (увы!)
Посредине девятой главы
Продырявит картечь многоточий —
Подуди своей медной трубой,
Пожелай мне остаться собой,
А потом — улетай, если хочешь...

Лада ЮРЧЕНКО

ПРОДАВЕЦ ШУРИКОВ

Р а с с к а з ы

КРИТИЧЕСКИЕ ДНИ

Сегодня Рождество. Это значит, он обязательно придет. Он будет морозный и быстрый и скажет самые волшебные слова...

Он позвонил от подъезда:

— Быстренько собирайся, я жду внизу.

Я достала из офисного шкафа золотистое платье, заколкой со стразами заколола рассыпающиеся локоны. Пару капель «Жедор», сапоги в сумку, в сумочку сигареты и подарок для него. Я уже бежала вниз, чувствуя, как сзади, словно летний ветер, нежно скользит по ногам шлейф платья. Он открыл дверцу и помог мне сесть.

— Мы едем в очень красивый ресторан. В нем всего десять столиков и никакой возможности видеть соседей.

Он был сдержан, как всегда. Перебрасывался быстрыми фразами с водителем. За окном машины. Сверкая в огнях новогодних витрин, кружился снег. Снежные конфетти опустились мне на грудь, когда я вышла из машины на дорожку, ведущую к особнячку. Вокруг был сосновый бор. Окно-фонарь светило, как волшебный ночник, посреди деревьев, припорошенных странно теплым снегом. Он подал мне руку и отпустил машину.

— Скажи мне хотя бы — где мы?

— Тебе недостаточно, что ты со мной?

Достаточно, но по привычке не чувствовать себя зависимой я все равно предпочла бы знать, куда мне вызывать такси. А его придется вызывать. В полночь. Или чуть позже...

Мы вошли в маленькую гостиную. В камине неярко поплясывал огонь. Пушистая шкура на полу. Округлые диваны вдоль стен. В центре блеснул серебром и стеклянными гранями стол, накрытый белой скатертью с широкой красно-зеленой каймой... Я чувствовала запах его одеколona, теплое движение рук, тихую музыку, солоноватость икры на языке,

пузырьки шампанского, подчиняющие поцелуи... Я была соткана из этого праздника и его любви...

Сегодня День святого Валентина. Это значит, он обязательно придет. Он будет веселый и дерзкий и скажет самые нужные слова...

Он распахнул дверь офиса, положил на мой стол букет из опаленных по краям пурпуром роз и сказал:

— Быстренько. Пьем шампанское и — в ночной клуб!

Я вышла переодеться во внутреннюю комнату, и он, не дождавшись моего возвращения, зашел и, поцеловав в затылок, надел мне на шею маленькое кольцо из разноцветных топазов.

— Я думаю, тебе понравится...

Я протянула ему алую коробочку с сердечком.

— Сегодня в клубе твоя любимая латиноамериканская программа...

Мы танцевали так, что я стерла ноги. За шесть часов я не присела ни разу. Нам аплодировали, нам завидовали... Мы на лету выпивали коктейли и снова погружались в неодолимую эротику ритмов Южной Америки. Медленная самба была виновата во всем, и только она. Мы целовались, как подростки, посреди зала, в машине, в лифте... Когда мы наконец открыли дверь квартиры, я была одета только наполовину, впрочем, он выглядел не лучше. Я чувствовала его каждым вдохом, я хотела принять его в себя, я хотела, чтобы наша близость закончилась только с этим миром, который не может продолжаться после нашего полночного расставания...

Сегодня седьмое марта. Это значит, он обязательно придет. Он будет уставший и нежный и скажет самые главные слова...

Он позвонил и сказал, что ждет меня на набережной. Это был сюрприз, поскольку кататься на коньках в коктейльном платье очень проблематично. Я положила платье в сумку, поправила макияж и вышла на весенний воздух. Навстречу шли молодые и счастливые. Они были свободны в своей любви и ненависти. Они могли позволить себе все что угодно. Я поймала такси и через десять минут была на набережной. Он посадил меня в машину и достал из багажника комбинезон. Голубой, с белой опушкой. Он завязал мои коньки и помог мне добрести до катка.

— Теперь просто доверься мне!

Он катался как бог — так мне казалось. Он поддерживал меня и управлял моим неумелым телом с легкостью профессионального тренера. Когда я окончательно выбилась из сил, он показал мне, что значит настоящее катание. В юности он играл в хоккей. Я смотрела на реку, на то, как ветер играет со снегом, на его сильное тело и чувствовала, что мне опять пятнадцать.

Мы поехали на дачу его друзей и жарили там барбекю. Пахло дымом и тающим снегом. Он помог мне раздеться и принес чай с травами.

— Сегодня никакого вина, я хочу, чтобы ничего не мешало нашим ощущениям.

Он был нежен и ласков, у меня кружилась голова и наворачивались слезы, когда я смотрела на новенькое кольцо, которое блестело на моем пальце. В полночь он отнял у меня телефон и сказал:

— Больше ты никуда не пойдешь.

И я согласилась...

Сегодня второе апреля. Годовщина нашего знакомства. Я знаю, что он не придет. Как не пришел в Рождество, на День святого Валентина и на седьмое марта. Он не скажет главных слов и не отнимет у меня телефон. Мы не будем кататься на коньках и танцевать самбу. На мою шею не ляжет колье, и тело мое не замрет от его поцелуев. Я не буду готовить ему еду и не буду нянчить его детей. Я смотрю на два букета, которые он подарил мне за год знакомства, и понимаю, что все равно не смогу не ждать, когда он позвонит и скажет:

— Спускайся, я жду тебя внизу.

Тем более что это иногда все-таки происходит. Когда он хочет выпить со мной кофе и коньяка, поговорить о жизни и работе и еще раз напомнить, что Друг гораздо важнее, чем Женщина.

ВАЛЕНОК В ПОЛНОМ ОТСУТСТВИИ ЖАБЫ

Ну хорошо, хорошо, допустим, загадывать желания на Новый год — это предрассудки и суеверие. И пить шампанское, изрядно сдобренное пеплом сожженных записок, — это варварство. И уж тем более несерьезно, когда три дамочки на пороге сорокалетия швыряются валенками в прохожих, гадая о своей девичьей судьбе. Ну попала я в стекло этого навороченного джипа, ну разбилось оно вследствие сильного мороза и удачного попадания, это что — повод для вселенского скандала? И уж, конечно, это не повод портить еще молодой и привлекательной женщине два месяца жизни. Он, видите ли, расстроился! Да я бы с его словарным запасом вообще застрелилась от отчаянья: междометия и глаголы без окончаний! Да и бог с ним. Макияж на лице я портить не стала, гордо повела плечиком под своим пальтишком пятого года элегантности и сказала:

— Мальчик, будут тебе твои семьсот баксов, не плачь! Не успеет взойти солнышко, как эти зеленые бумажки будут шуршать под твоей плохо выбритой щечкой. А сейчас иди поцелуй свою жабу!

Ну, заняла я эти бумажки у своего бывшего благоверного на два месяца, так можно было бы и скидку сделать на новогоднее состояние, так нет, джентльменства нам всегда не хватало и повелели мы не позже

первого марта отдать нам все до цента с соответствующим процентом.

И вот, пожалуйста, дама с двумя высшими образованиями вынуждена работать на трех работах, а по ночам шить соседкам юбки и вязать кофточки, чтобы собственному мужу, хоть и бывшему, долг отдать. А все из-за романтического желания узнать, как судьба ко мне в новом году повернется. Да как обычно!

Начало февраля, в копилке 200 баксов, а сил уже никаких.

Бурный внутренний монолог был прерван телефонным звонком. Торопливо, на бегу, по памяти нарисов губы, я схватила трубку.

— Елена Петровна? — вызывающий дрожь голос профессиональной секретарши. Сидит, откинувшись на спинку кресла, носочком востроносой туфельки покачивает, на ноготок смотрит, розовым ушком трубочку к плечу прижимает...

— Я слушаю.

— Мы бы хотели заказать вам перевод.

— Почему мне? Я не переводчик.

— В вашем резюме указано, что вы владеете тремя языками. И, помимо этого, тексты, которые нужно перевести, узкопрофессиональные...

Длинные слова выговаривает с трудом и не очень убедительно. Да и какое резюме — я, кажется, ничего никуда не посылала...

— Елена Петровна, перевод нам нужен завтра, один и тот же текст на трех языках, оплата — тысяча долларов, объем увидите сами. Текст вам сейчас подвезут вместе с деньгами, водитель уже выехал.

— Но...

— Извините, если вы сочтете нужным отказаться, вы перезвоните по телефону, который указан на конверте, всего доброго...

Пик-пик-пик...

Бред-бред-бред...

Дзынь-дзынь-дзынь — это уже в дверь.

— Елена Петровна? — Дежавю. Только на этот раз профессиональный водитель-телохранитель-помощник.

Дверь закрылась, в руках конверт, в котором листов тридцать рукописи и маленький конверт с деньгами. Все! Отступить некуда, отказываться от денег я не могу, придется напрягать лингвистическую память. Английский, французский, итальянский...

На работу я прибежала с двадцатиминутным опозданием, студенты в аудитории уже начали заниматься своими делами, кое-кто отбыл в столовую. Да и ладно, три пары в этом коммерческом вузе приносят мне столько же, сколько неделя на основной работе. Метро, обсуждение бизнес-плана, консультация, улыбочка, дырка на пальце, чувствую через сапог, письмо по электронной почте от сына, слава богу, у него все хорошо, но приехать раньше июня не сможет, метро, противная тетка в норковой

шубе, швейная машинка, ножницы, соседка, да, спасибо, Ирина Петровна... Тридцать баксов в копилку, бутерброд с сыром, кофе, где-то тут наш конвертик?

За окном темень, в квартире пусто, сидите кропайте, Елена Петровна, никому на целом свете вы не нужны...

И все-таки я смогла. В шесть утра на столе лежало три перевода одной и той же рукописи, из зеркала на меня смотрело уставшее существо, измотанное кофе, сигаретами и спешкой, с немым вопросом в глазах. Похоже, до меня только что дошло, *что* я переводила всю эту ночь на три европейских языка...

«Я не знаю, как сказать тебе “здравствуй!” Я каждый день смотрю на тебя и вижу, как тебе тяжело и с каждым днем тяжелее... Сначала во мне была только злость, мол, так ей и надо, дерзкой, подвыпившей тетки... Потом, сам не знаю почему, я стал думать о тебе все больше и уже ждал того утреннего часа, когда ты, не замечая ничего вокруг, выбежишь из подъезда, в который вернешься только поздним вечером, едва передвигая ноги от усталости. В твоём окне по ночам горит свет. Я смотрю на него, ложась спать, вставая ночью покурить и утром, поднимаясь на работу... Свет горит. Я представлял твою семью, твоих гостей... Потом я понял, что свет горит, а ты одна... Я начал чувствовать вину, потому что именно я заставляю тебя жить в три жизни за один день. Вернее, не жить...»

Я не знаю, как он смог написать это письмо на тридцати страницах. Но в одном он оказался совершенно прав: я была измотана настолько, что, перечитав и переведя его три раза, не сразу поняла, что это — письмо мне...

«Я не прошу у тебя прощения, потому что эти хлопоты я причинил тебе ненамеренно. Сейчас я прошу у тебя только одного — позволения пригласить тебя на ужин и попытаться внести в твою жизнь хоть немного ярких красок. Телефон на конверте. Это может быть началом, а может — просто эпизодом, о котором ты забудешь уже завтра. Александр».

Все решения нужно принимать на выпавшуюся голову. Я поставила будильник на девять утра и провалилась в небытие.

— Александр, здравствуйте, это Елена Петровна... Я закончила ваш перевод.

— Здравствуйте...

Молчание, короткое, он ждет, чтобы я продолжила.

— Вы можете его забрать...

— Елена Петровна, я бы мог его забрать сегодня вечером с семи в любое удобное время в «Балкан-Гриле».

— Хорошо, я подъеду, когда освобожусь.

Напряженное «спасибо». Он не понял, чего ждать вечером. Он и не мог этого понять, потому что я сама не знала. Я оставила себе шанс подумать. Сегодня удивительный день, потому что мне не надо выходить из дома. Довяжу свитер соседской дочке, немного посплю, а там решу, как быть.

Уютно устроившись под пледом, я задремала и почему-то вспомнила этот Новый год, из-за которого вся круговерть и началась. Сначала мы загадывали желания, потом жгли бумажки и пили шампанское с пеплом. На моей бумажке мелкими неуверенными буквами было написано: «Ну, пусть он наконец появится. Я устала, я не хочу быть одна, я не хочу никакой свободы, я хочу, чтобы пришел хоть кто-нибудь и сказал: я буду заботиться о тебе...» Это была мгновенная лирическая слабость, после которой мы и пошли швырять валенки...

Часы показывали пять часов вечера. Я так ничего и не решила. А поскольку я ничего не решила, то по нормальной привычке исходить из худших условий, стремясь к лучшему, села наводить красоту. Боже, как давно я этого не делала? Бабы посиделки и встречи с друзьями не обязывали к изысканному макияжу, идеальному маникюру и тайне в глазах. Они не обязывали к дорогому белью и тонким чулкам. Они не обязывали ни к чему... У меня было такое ощущение, что мне двадцать лет и я иду на первое свидание с тем забавным третьекурсником, который уже забылся давным-давно...

Семь часов. Я вызвала такси. Высокий каблук, прямая спина, легкая волна волос... Семь тридцать. Сигаретку для храбрости, независимый взгляд, энергичная походка... Семь сорок, черт, как я его буду искать в этом зале?!

— Елена Петровна? — Карие глаза, хороший костюм, несвойственная неуверенность.

— Александр?

— Вы согласитесь со мной поужинать?

Я физически почувствовала, как он слотнул и как напряглись мышцы его спины в ожидании отказа. Он был готов сдержать удар, этот тридцатипятилетний мальчишка на первом свидании с девочкой, которая ему понравилась неизвестно почему. Пора решаться...

— С удовольствием, я целый день мечтала о греческом салате!

Вдох облегчения, первый рубеж перейден, меню, услужливый официант, традиционное приветствие хозяина ресторана. И неизвестно почему:

— Кстати, жабы никакой нет! — Он сам удивился, что сказал это.

Господи, как же легко бывает в почти сорок лет! Весело и ничего не страшно. И пепел того шампанского снова начал кружить голову...

ЛЮБОВЬ СО ВЗЛОМОМ

Этот день закончился так же великолепно, как и начался. Объясняю: я одинокая мать, если такое вообще бывает. Утро началось с порванных ботинок, в которых предстояло дойти до детского сада, и активного протеста невыспавшейся дочки. Толчок дню был дан — и дальше он покатился, не сворачивая с плохой колеи. Впрочем, где-то часа в два лучик счастья все-таки пробился из-за туч: любимый позвонил. И даже назначил мне свидание, в ходе которого мы должны были побродить по осеннему лесу, перекусить чем-нибудь вкусным и вредным, купить бутылочку вина и поехать ко мне в гости. Я очень рассчитывала на то, что сегодня мы наконец-то станем любовниками: наш роман продолжался уже три недели, для людей на четвертом десятке вполне достаточный срок, чтобы узнать друг друга. Все испортил талончик к гинекологу. Почему именно сегодня я решила стать медикопослушной гражданкой, мне совершенно непонятно, но так уж сложилось. Вот этот талончик и свел на нет все сияние робкого лучика счастья. Докторица умудрилась уговорить меня на какой-то маленький анализ, который закончился тем, что по выходе из кабинета во мне было неимоверное количество ватных тампонов и марли. Самое оно, чтобы проводить романтическое свидание. Короче, я решила своего любимого на сегодня бросить. Поскольку никаких сил на то, чтобы объяснить ему, почему я не приду, у меня не было, я решила не ходить молча. Доченьку забрала бабушка, и вечер и ночь были абсолютно в моем распоряжении. Я завернула к подруге и, жалуясь на нелегкую бабью судьбинушку, которая особенно грустна в разгар бабьего лета, просидела у нее до двенадцати часов. В половине первого ночи, бормоча: букет завял, и он ушел, и навсегда, и хорошо, — я подошла к двери своей квартиры. На пороге сидел любимый, усыпанный лепестками роз, с почти пустой бутылкой дорожущего коньяка в руке.

— Вот, — как-то грустно сказал он. — Гадаю. Все говорят — любит. Седьмая роза подряд талдычит одно и то же. — И он еще немного отхлебнул из горлышка.

На крыльях счастья и любви я внесла его в квартиру, торопливо захлопнув дверь, чтобы не впустить ненароком бегущих по следу псов раскаянья и вины.

Я только успела сбросить туфли и взять любимого за галстук, чтобы приподнять его с пола, как раздался требовательный звонок. За дверью стоял бывший муж.

Несмотря на то что развелись мы уже лет семь как, он все еще изрядно портил мне жизнь. Во-первых, приходит в гости, а во-вторых, свято блюдет мою женскую честь, рьяно распугивая всех ухажеров.

Благоверный каменным гостем переступил порог квартиры. Брезгливо поморщившись на сидящего в углу любимого, он выдал:



— Докатилась, всякую пьянь в дом тащишь!

— Мой дом, кого хочу, того и тащу! — мило улыбнулась я.

— Этот дом купил тебе я, а то, что ты хочешь только бомжей и алкашей, так это потому, что ни один нормальный мужик на тебя уже и не посмотрит.

— Минуточку, — раздалось с пола. — Для начала давайте познакомимся. Я — Леонид.

Он уже стоял — надо отдать должное инстинкту защиты собственности — стоял весьма твердо и возвышался над бывшим на две головы.

Благоверный проигнорировал доверчиво раскрытую руку любимого и процедил:

— Нехвалин Игорь Семёнович, директор.

— Директор чего, простите? — поинтересовался любимый.

— А это уже не ваше дело! — нелюбезно ответил муж и повернулся спиной к сопернику.

Еще бы он сознался. Он директор шарашкиной конторы, в которой работает три человека, причем каждый на себя. Правда, денег у него немерено, так ведь не в этом счастье...

Посмотрев на гордую спину неожиданного препятствия, любимый заявил:

— Вот что, милая. Я даю вам двадцать минут, чтобы выяснить отношения, а когда я приду, мы продолжим ужин с коньяком и лимоном. А уж на двоих или на троих, это тебе решать.

Он привлек меня к себе, совершенно бесцеремонно поцеловал, отчего у меня пропали вообще всякие сомнения в том, что я всецело принадлежу только ему, и вышел в ночь.

Как только дверь закрылась, благоверный вдруг начал являть миру невиданную прыть: он выдернул ключ из замка и ловким движением руки спрятал его у себя в недрах. После этого он прошествовал в зал и, гордо меряя шагами мои неполные двадцать метров, начал излагать мне свои мысли обо мне. Ничего нового я, честно говоря, не узнала. В его представлении я не помолодела, не поумнела, не похудела, не стала более порядочной и ответственной, не избавилась от алкоголизма и пристрастия к истерикам. Поскучав в его обществе некоторое время, я пошла накрывать на стол и варить кофе: в конце концов, у меня сегодня свидание.

Через двадцать минут трель звонка оповестила, что любимый пришел и рвется ко мне всей душой.

— Отдай ключ! — попросила я мужа.

— И не мечтай! — Он гордо расправил то, что у других мужчин называется плечами.

После короткой потасовки у дверей, сопровождаемой чередой звонков, я сдалась: не могу же я и впрямь лезть в штаны противному мне мужчине, когда любимый в трех сантиметрах от меня!

— Лёначка, он запер дверь и не отдает ключ! Спаси меня, придумай что-нибудь!

Любимый помолчал, потом, сказав что-то очень русское, объявил свое решение: он направляется к маме за запасным ключом, а по возвращении будет меня крепко любить и — отвернет голову этому идиоту.

Я победно скрестила руки на груди и уставилась на муженька.

Он как-то удивительно изменился цветом лица. Оно стало серое в неровных зеленых пятнах.

— Заманила! — вдруг закричал он. — Я что, тебе мало денег даю? Ты решила бандитов на меня натравить? Заманила! Звони ему, скажи, что ты меня простила. Боже, я даже выйти не могу, он наверняка оставил кого-нибудь под дверью!

Муж метался по квартире, заламывая руки, стелая и разбрасывая деньги из бумажника, обещая то убить меня, то убить себя, то прося пощады, то безумно всматриваясь в стоящие под окном машины. Все признаки сумасшествия были налицо, и на какой-то миг я серьезно струхнула.

«Ничего, — говорила я себе, — скоро придет Лёначка, убить муженек меня не успеет, меня спасут, мой рыцарь мчится».

К тому времени, как ключ заскрежетал в скважине, в квартире было уже двое сумасшедших.

— Лёначка, давай быстрее, милый! — Я бросилась к двери, поняв, что спасение пришло.

Дверь распахнулась — на пороге стоял любимый, единственный, неповторимый герой — в серебряных латах и с голубыми глазами. Я припала к его груди и замерла, поняв, что все несчастья кончились раз и навсегда.

Когда мы смогли разомкнуть наши объятия, реальность вернулась в наш мир удивительной тишиной: никто не бегал по квартире и не бормотал проклятий.

— Игорь! Игорь, выходи уже, тебе пора домой, — позвала я супруга.

В ответ — ни-че-го.

Мы обыскали все комнаты, шкафы, антресоли, кухню, ванную, туалет и даже складное кресло. Игора не было нигде.

— Не мог же он нам обоим привидеться? — неуверенно спросила я.

— Не мог, по крайней мере так надолго, — рассудительно подтвердил любимый.

Однако благоверного не было. Вдруг я поняла, что по ногам как-то очень дует. Занавеска на балконном окне предательски колыхалась.

Мы осторожно вышли на балкон, но и там никого не оказалось. В свете огней вывесок я разглядела на проспекте чуть прихрамывающую фигуру и радостно убедилась, что муж все-таки был и он все-таки жив.

— Слава богу, что ты живешь на втором этаже, — сказал любимый, — а то бы ему пришлось ходить в гости с парашютом.

И какая восхитительная ночь была после!



ПРОДАВЕЦ ШУРИКОВ

Димка не родился. Он просто не мог этого сделать, потому что сама вероятность его рождения была только в моей голове.

Мы встретились с его папой настолько случайно, насколько случайно могли встретиться неожиданно свободная женщина и абсолютно свободный мужчина в пятницу вечером.

— Девушки, вы шуриков покупаете?

— Категорически нет, у нас с ними перебор.

— Что вы, у нас такие шурики, вы таких даже не пробовали...

Дурашливый разговор, перемежаемый смехом и весьма фривольными фразами, постепенно перестал быть общим: он стал принадлежать только нам.

Кафе опустело, холодный вечер спустился на город. Мы сидели вдвоем на открытой террасе и разговаривали, перебивая друг друга, как могут разговаривать только давно знакомые и близкие люди. У нас были даже общие воспоминания. Я сама не понимаю, почему его плечи вдруг показались такими родными, надежными и уютными. Наверное, в этом была виновата напороченная мною «судьба», именно с ней на встречу я и вышла этим вечером из дома, сообщив предусмотрительно соседке, что иду на эту самую встречу.

Целовался он так, что не в состоянии описать даже мэтры любовных романов. У меня кружилась голова (оказывается, это бывает!), мне было абсолютно наплевать на то, что мы целуемся прямо посреди центральной улицы, наполненной знакомыми, как летний пень муравьями.

А дальше произошло самое невероятное: я вдруг поняла, что я очень слабая и зависимая женщина. И не просто зависимая, а именно от него. Ночь была слишком звездной и слишком длинной. Мы успели посидеть в пабе с его друзьями, погулять по набережной, выпить вина на траве центрального парка и пешком дойти до самого отдаленного конца города. И когда наконец мы добрались до его квартиры, все, на что нас хватило, — это романтический поцелуй на пороге.

Сказать, что я переживала по поводу того, что не оставила ему своего телефона, уходя утром, — не сказать ничего. Очень и очень быстро я поняла, что это именно тот мужчина, который мне нужен в этой жизни. Я успела придумать, как сделать ремонт в его квартире (милый, а в этот угол мы поставим шкаф... черт, как правы русские анекдоты!), как будут звать наших детей (две девочки и один мальчик) и как замечательно мы будем жить...

— А ты какой женой хочешь быть: первой или последней? — спросила, глядя в звездное небо, Ирка.

Мы стояли на балконе ее квартиры в самом центре Москвы, и столица рассыпалась у наших ног манящими огнями. Все эти важные и солидные дяденьки на своих суперблестящих машинах были лишь частью

нескончаемого потока себе подобных. Тысячи мужчин, уверенных в своей неповторимости и исключительности, текли сквозь время, слегка притормаживая на светофорах, чтобы решить, куда им с этого перекрестка: налево, направо, вперед...

— В данные пять минут я хочу быть первой и последней. Вообще — единственной. — Я подкрепила свой ультиматум глотком мартини и, подобрав длинный шлейф вечернего платья, величественно вошла в комнату.

Все пространство Иркиного зала было воплощением женской мечты: повсюду были разбросаны вечерние платья, бижутерия, умопомрачительные парики... Уже третий час мы развлекались тем, что перемеряли новейшую коллекцию модного дома, притащенную Наташкой на наши девичьи посиделки.

— На кого шьем? — возмущалась Наталья, сиюсь втолкнуть свой пятый номер в лиф небесно-голубого платья.

Грудь выпирала, как созревшая квашня, но Наталья не оставляла своих попыток поместить ее в предназначенное пространство.

— А ты ее втяни, выдохни и втяни, — ехидничала Ирка, легко справившаяся с топилом, но изрядно покрасневшая от усилий застегнуть на себе брюки.

На их фоне я выглядела сногшибательно: алое платье с корсетом, из которого пружинилась несуществующая в мирной жизни грудь, и кринолином, в колоколе которого замечательно спрятался живот. Платье удачно сочеталось с черным париком, вуалью с перьями и тщательно прорисованной сексуальной попкой вместо губ. Я комментировала их бесплодные усилия, безнадежно напиваясь золотым вином. Мы все сегодня безнадежно напивались. Просто потому, что устали быть надежными. И еще: нам хотелось именно в этот вечер принять жизненно важное решение — за кого мы выходим замуж.

Нельзя сказать, чтобы у нас был большой выбор. Честно сказать, его не было вообще. Никто не толпился с букетами цветов у дверей и не мурлыкал ночные серенады. Но разве рынок не учит нас тому, что, если спроса нет, его надо создать? А для этого хочешь не хочешь придется определять целевую группу со всеми ее дурными характеристиками. Собственно говоря, созданием сводной таблицы качеств потенциального мужа мы и занимались.

— И мне такого, чтоб я была последней, — пропыхтела Наталья, прикалывая невозможную синюю птицу к растрепанной голове.

Ирка задумчиво внесла наши ответы в таблицы и отхлебнула из бокала.

— Еще пожелания будут?

— Будут! Пусть он позвонит!

— Ты просто невозможна. Мы конструируем идеального мужа, а она переживает, что ей не звонит какой-то продавец шуриков.

Они были правы. Я действительно переживала. А услышав их праведный вопль, я заперезживала так, что зубы стали стучать о стакан.

— Позвони ему, в конце концов, пусть он предложит тебе быть друзьями, ты согласишься и забудешь.

Я гневно скрипнула корсетом. Не надо топтаться на любимой большой мозоли! Конечно, это правда, что все мои романтические встречи заканчивались одной фразой: «Очень боюсь тебя потерять, поэтому давай будем дружить». Самое интересное, что, как только мужчины переставали быть потенциальными любовниками, они действительно превращались в неплохих друзей. Это правда, но не повод о ней напоминать. Я же молчу, что у Ирки ломаются ногти, а Наталья смеется носом. У каждого свои недостатки!

— Итак, судя по списку качеств — таких мужчин в мире единицы. Но это неважно. Хватит и трех.

— Четырех, — напомнила щедрая Ирка, — у нас еще Анька есть.

— Надо было купить пару шуриков для вас, — мстительно заявила я и пошла на кухню за вишневым соком.

Мы примеряли платья, пили мартини, смеялись и плакали, мы рисовали социально-психологические портреты своих будущих мужей и жалели их за то, что мы стали их женами, а я все ждала и ждала звонка, которого и быть не могло. Просто есть невозможные вещи, например позвонить женщине, о которой ты знаешь только ее имя...

— Знаете что, — многозначительно зевнула Наталья, — мы просто должны вести плановое наступление на крепость под названием «Бабское счастье»!

— Мы все равно победим, — закутываясь в одеяло, предрекла Ирка...

Я не поехала домой из аэропорта. В шесть часов утра такси высадило меня у дома, в котором я оставила своего мужчину вместе с нашими детьми, запахом кофе, ремонтом и подаренным ему на Новый год свитером. Перекинув сумку с одного плеча на другое, я позвонила, и он открыл дверь, не спрашивая. Он налил мне кофе и закурил.

— Ты можешь дать мне то, что мне надо?

Его вопрос прозвучал так, как будто мы не расставались на две недели, как будто я только что выбралась из его теплой постели, как будто я давно кормила его омлетами по утрам, а вечерами он заезжал за мной на работу. Он спросил, и я должна была завтра продать свою квартиру, перестать ездить по командировкам, приноровиться к его родителям, отвести его на обед к своей маме, шить белое платье, найти место для машины на стоянке рядом с нашим общим домом, объясниться с женщиной, который ухаживал за мной два года, позвонить девчонкам и сказать, что я не перееду в Москву, начать готовить обеды по выходным... Однажды

я скажу ему, что у нас будет маленький Димка. Он обрадуется и будет вместе со мной ждать нашего малыша. Мы будем ходить на прогулку в парк за углом, и Димка будет смешно стучать ногой по подножке коляски, щурясь от осеннего солнышка. Громяхая санками, Димка принесет с улицы мороз и веселье, а я буду просить его не шуметь, потому что спят маленькие сестренки. Я немного поправлюсь и научусь готовить икру из кабачков, которые растут на нашей даче. Он будет приходить вечером с работы и устало щелкать пультом телевизора. Он расскажет мне про книги, которые прочитал, а каждое лето мы будем ездить в разные города и страны, потому что мир очень большой. Димка будет заботливо волноваться на свадьбе своей старшей сестры, а младшая уедет жить в Европу... Это будет простая, понятная, счастливая жизнь. В ней, конечно, случится пара измен и десяток-другой скандалов. Вечером летнего дня мы будем сидеть на веранде нашего дома и в моих руках будет лежать холодное яблоко, от которого разболится сустав на пальце. Я поправлю ему плед и подниму книжку с пола, потому что он уснул и пора выключать свет. А за окном будет оранжевая луна, и ветка дерева будет стучать в окно... Он не выдержит всего этого. Потому что за то, о чем знаю я, но он еще не знает, надо отдать такие удобные и привычные посиделки с друзьями, немного пива по вечерам, гонки на машинах, странную и громкую музыку и свободу делать все так, как хочется... Отдавать надо сегодня, а ветка в окно будет стучать еще через сорок лет...

— Нет, милый. Пожалуй, нет.

Я допила кофе, взяла сумку и вышла.

Димка не родился...



ПРОПИСЬ В КЛЕТОЧКУ

Андрей КОЗЫРЕВ

(Омск)

* * *

Пропись в клеточку. Ручки. Пеналы. Учебники. Книжки.
В клетку — фартук девчонки, потрепанный свитер мальчишки.
В школе мы то дрались, то мечтали быть вместе годами...
Мы за клетками парт в клетках классов сидели рядами.

Нас свобода звала, словно небо — проверенных асов,
Мы сбегали из клеток домов, и занятий, и классов,
И бродили всю ночь, и мечты, словно вина, бродили...
Мы по шахматным клеткам судьбы, как фигуры, ходили.

А потом, не боясь, что понизит судьба нам отметку,
Словно в классы, играли и прыгали с клетки на клетку:
Из мальчишества — в зрелость, от счастья — к прозрению и плачу,
От него — кто в запой, кто-то — в бизнес, кто — в храм, кто —
на дачу...

А страна — посмотри с небосвода — вся в клетках огромных,
Словно дни нашей каверзной жизни, то светлых, то темных.
Создавали решетку следы от плетей и ударов:
Белый след — от сведенья лесов, черный след — от пожаров.

Где теперь те девчонки, что в клетчатых платьях ходили?
Где мальчишки, что, с ними враждуя, их горько любили?
Словно клетчатый лист из тетради, помяты их судьбы:
Кто-то жив и здоров, а кого-то — успеть помянуть бы...

Каждый в клетке сидеть обречен до скончания века:
Кто-то в офисе, кто-то — в тюрьме, кто-то — в библиотеке...
...А кому-то, наверно, родные леса и сады
Прямо в клетчатый фартук земные роняют плоды.

Сергей ШУБА

(Новосибирск)

* * *

В нагорьях есть краски и кисти
Рисуют река и ветер
Четыре времени года
Еще иногда человек
Что пашет свою полянку
Овец пасет вдоль обрывов
Строит дома на склоне
Тропинкой в город идет.
Тропинка же вовсе не в город
Тропинка в такие дали
Что там и кисти и краски
Давно уже не нужны.

Лада НЕГРУЛЬ

(Москва)

АПЕЛЬСИНОВЫЙ РАССВЕТ

О листы судьбы перо скрипит...
Календарь листается, рябит...
Глине жизни форма придается:
Варится, творится, удается
Мир, из прозы став стихотвореньем.
Пахнет апельсиновым вареньем —
Солнце в пенке облака кипит.
И глинтвейн заката недопит.

Мы дрожим на острие пера
Божьего. Великая игра
Вечного Его воображенья
Наши судьбы привела в движенье.
Почерк у Создателя красив,
И читается судьбы курсив
Быстро, но прочтенного вчера
Смысл найти еще придет пора.



Смысл не быть разрозненной толпой.
Бог рифмует нас между собой —
Мы уже не скученны, не скучны,
А другим осмысленно созвучны.
Он, сюжет Свой двигая вперед,
Самым одиноким подберет
Рифму. Недовольные судьбой,
Злые — в стихотворном ритме — сбой.

До конца поэмы далеко...
Пишется с трудом, читать легко!
Смысл великий жизни мелкой, частной —
Мы к Поэме будущей причастны,
И без нас она не прозвучит.
Апельсиновый закат горчит...
Зачерпни в ковш звездный глубоко
Вечного рассвета молоко.



К 100-летию Н. Н. Яновского

ПЕРЕПИСКА
Н. Н. ЯНОВСКОГО И В. П. АСТАФЬЕВА.
1965–1979*

* * *

16.IX.1972.

Дорогой Виктор Петрович!

Получил Вашу такую объемную книгу и порадовался — «Пастух и пастушка» в ней есть и все остальное не менее значительное. Спасибо за такой великолепный подарок! Все-таки кое-что пробивается, и это вселяет хоть какую-то надежду. Не все так мрачно под луной.

Когда я получил телеграмму, то очень пожалел, что не смог Вас повидать, т. к. получил я ее через несколько часов после того, как поезд прошел. Я был на даче, приехал утром, чтобы встретить сына из Москвы — телеграмма лежала у соседей с вечера прошедшего дня. Очень жалел.

В октябре я буду в Москве — не будет ли у Вас там какое-нибудь заделье? У меня будет какое-то заседание критиков, но я думаю пожить недели три-четыре, так как хочется поработать в библиотеке и в ЦГАЛИ.

Посылаю Вам только что вышедшую книгу «Лидия Сейфуллина» [1]. Издали ее хорошо, а главное 20.000-ым тиражом — это ответ на поклепы против меня направленные. Поистине — не имей сто рублей... Теперь я год могу жить безбедно и спокойно работать.

Кстати, я для «Нашего современника» написал статью листа на полтора, называется она «Владимир Сапожников» [2]. Получил от Е. Метченко [3] ответ: статью планируют на № 12 этого года. Ах, как бы хорошо, чтоб об этом не забыли, чтоб ее не задвинули! Сейчас мне это важно во многих отношениях — Вы это хорошо понимаете.

В «Дружбе народов» идет, как сообщили, моя рецензия на Ваши «Затеси», написанная по их заданию, но конечно, по моей инициативе — я писал Баруздину [4].

* Подготовка к публикации и примечания Владимира Яранцева. Продолжение. Начало см. «Сибирские огни», 2014, № 8.

В «Дальнем Востоке» обещали напечатать статью на 2 п. листа «Дмитрий Нагишкин» [5]. «Урал» заказал статеечку о Викторе Потанине, каковую я сейчас пишу. Кроме того, мои рецензии идут в «Звезде», в «Вопросах литературы», в альманахе «Сибирь». На моем столе злополучный том «Литературного наследства Сибири», посвященный В. Зазубрину [6]. Это — сигнал, теперь подписанный к печати. И я вплотную сажусь за трудоемкую подготовку третьего тома. Из второго тома при содействии Коптелова, Никулькова, Смердова [7] и других (работников обкома) изъяты ценные статьи и материалы. Некоторые из них были опубликованы, другие — я верю — будут опубликованы, не всюду же такие оголтелые «охранители», как в Новосибирске. А самое главное: охраняя читателя от «зловредного» влияния Зазубрина-Яновского они фактически тормозят развитие советского литературоведения. Тем не менее, в томе осталось немало ценного — ну хотя бы рассказ «Бледная правда» и мой его анализ. (Том я пришлю — и очень советую прочесть этот рассказ, если не читал ранее по журнальной публикации в 1923 году.) Сохранились некоторые интересные письма и воспоминания, я уже не говорю о блистательной для того времени «Литературной пушнине».

К столетнему юбилею Вяч. Шишкова [8] я составляю книгу его сибирских сочинений — многое не вошедшее в его соб<рание> соч<инений>. Это листов на 30 с моим предисловием и комментарием. Юбилей будет отмечаться в 1973 году. В Москве я буду занят главным образом Вяч. Шишковым. Из всего этого ты видишь, что я не сижу сложа руки да и не намерен этого делать.

Занимаясь историческими делами, я не хочу отрываться от критики, от современности. Хочу сделать анализ «Пастуха и пастушки» на фоне нашей военной прозы, примерно так, как я написал о «Соленой Пади» — на фоне литературы о гражданской войне [9]. Но это дьявольски трудно. Буду думать.

В книге о Сейфуллиной есть страницы, звучащие злободневно. Это кое-что из ее эстетических взглядах (так в тексте. — В. Я.), анализ повести «Встреча», полемика моя с В. Кардиным [10]. Не сама полемика, а кое-что с нею связанное. Первое издание книги — 1959 г. в «Сов<етском> писателе». Ясно же, что через 12 лет и я вырос, книга стала лучше.

Живем с Ф<аиной> В<асильевной> вдвоем — дети и внуки далеко. Живем неподвижно, мало с кем встречаясь да и занят я сейчас очень. У детей, конечно, тоже не все так, как хотелось бы, но тут ничего не поделаешь: живут они по-своему и принимают безоговорочно только материальную помощь.

Марии Семёновне и тебе от меня и ФВ большой привет.

Обнимаю

Н. Яновский

1. Яновский Н. Лидия Сейфуллина. Критико-библиографический очерк. 2-е изд., доп. — М.: Худ. лит., 1972.

2. Яновский Н. Грани таланта. О рассказах В. Сапожникова // Наш современник. — 1973. — № 2.
3. Очевидно, Метченко А. И. (1907—1985) — литературовед, критик.
4. Баруздин С. А. (1926—1991) — прозаик. С 1965 г. — главный редактор журнала «Дружба народов».
5. Яновский Н. Дмитрий Нагишкин (творческий портрет) // Дальний Восток. — 1973. — № 5. Нагишкин Д. Д. (1909—1961) — прозаик. Потанин В. Ф. (р. 1937) — прозаик.
6. Зазубрин В. Бледная правда // Сибирские огни. — 1923. — № 4. Его же. Литературная пушнина // Сибирские огни. — 1927. — № 1.
7. Коптелов А. Л. (1903—1990) — прозаик, публицист. Никульков А. В. (1922—2000) — прозаик, критик, публицист, главный редактор «Сибирских огней» в 1976—1987 гг. Смердов А. И. (1910—1986) — поэт, прозаик, критик, очеркист, главный редактор «Сибирских огней» в 1965—1974 гг.
8. Шишков В. Я. (1873—1945) — прозаик, драматург.
9. «Соленая Падь» — роман С. П. Залыгина. Яновский Н. От «Двух миров» к «Соленой Пади» // Сибирские огни. — 1969. — № 11.
10. Повесть «Встреча» (1925). Кардин В. (Э. В. Кардин) (1921—2008) — критик, прозаик, публицист.

* * *

27 сентября 1972 г.

Дорогая Фаина Васильевна!

Николай Николаевич!

Как я рад был нашей встрече и книжке о Сейфуллиной, так изящно изданной. Кстати, я о ней мало читал, вот и почитаем.

А больше всего меня порадовало, что Николай Николаевич «в форме», что трудится, — как видно, нашего брата не так просто извести и убить, его еще труднее повалить — это даже жирующие при обкомах знают — прихвостни начинают понимать и считаться кое с кем и кое с чем.

И успокоили Вы меня. Хорошо, что опоздали телеграмму получить — и так был изнурен болезнью и страданиями умирающего брата, что перепутал все и вместо станции Новосибирск предположил Тайгу и прозевал Ваш город — оступел потому что, да и поздно проходил поезд, да и стоянка всего 12 минут, что за это время переговоришь?!

Я, как и Вы, всякие горести и неурядицы топлю в работе и очень напряженно работаю все лето над одной вещью в 2 листа — «Ода русскому огороду» [1] — это и по названию чувствуется, вещь философская, но очень земная, немножко высоким «штилем» писанная, ода земле нашей, клочку, который нас вскормил, а главное, горесть о том, что исконно-человеческое назначение мы утратили, а то, что обрели мне и моему герою — далёко, чуждо. И, если есть еще радости, то они в приобщении к зем-

ле, в тоске по истинно любившим тебя близким людям, но уже разобщенным цивилизацией.

Работа была очень сложная, снова для меня новая и по-новому сделанная, и всего она меня, да утраты эти последние, вымотала и решил я хоть раз отдохнуть по-человечески — поедем с Марией Семёновной на юг, там нас знакомый один сулит к истинным горцам свозить, в истинные горы, а затем проживем срок в доме творчества Гагры — не все там бездельникам жировать. Попробую ничего не делать, но, наверное, это не удастся, сделался совсем графоманом и тогда только полон радости, когда прет работа, да и мусора в голову меньше прет — он сгорает весь в башке или отбрасывается, как что-то ненужное и докучливое.

Вот только контуженая голова болит все больше и больше, да и сердчишко стало что-то барахлить, а хочется перетянуть за пятьдесят — не так уж далеко, всего два года осталось ведь: «И не от старости умрем, от старых ран умрем...»

Как это точно и страшно сказано! Роман по этому поводу лежит, не было времени притронуться к нему, лишь изредка всуну записку какую в папку или набросок.

Недавно с небольшой бригадой мотался по Томской области на пароходе и вертолете — обскакали с лишком полторы тысячи верст и впечатлений много, но и усталости не ubyло, а даже наоборот. Однако кое-что для романа (герои родом с нижней Оби) я подметил — и это главное. Были в нашей бригаде три новосибирца — главный редактор издательства и два редактора — ребята компанейские, богатые умом и биографией, а какие в деле — Вам лучше знать. Редакторы, и Прашкевич Гена, и Женя Городецкий [2], книгу которого я сейчас с удовольствием читаю, по-современному умные, глубоко мыслящие и пообщаться с ними интересно и полезно.

Я тоже ведь живу затворником больше — в Москве мало где бываю, Александр Николаевич умер [3], и после него как-то не находится собеседника открытого и умного, все с подковыром да завистью, да ерничеством — я уж устал от этого и избегаю прежних знакомых, особенно пишущих, останавливаюсь все больше у своего друга художника Жени Капустина и мне с ним вольно и хорошо.

Уезжаем мы из дому 30-го сентября, а вернемся уже после праздника, зимою. Жаль, что не повидаемся, но надежды терять не будем, — как-нибудь случитесь в Москве еще и подскочите, здесь ведь близко. Ну, крепко Вас обнимаю и целую, от Марьи Семёновны поклон вам обоим низкий.

Ваш В. Астафьев.

Писал ли я Вам свой дом <ашний> телефон? 2-21-07

Это на всякий случай.

1. «Ода русскому огороду» опубликована в журнале «Наш современник» в 1972 г., № 12.

2. Прашкевич Г. М. (р. 1941) — поэт, прозаик, переводчик. Городецкий Е. А. (1934—2005) — прозаик.
3. Макаров А. Н. (1912—1967) — критик, зам. главного редактора «Литературной газеты» (1948—1951), главный редактор журнала «Молодая гвардия» (с 1956).

* * *

2.XII.1972.

Дорогой Виктор Петрович!

Перед самым отъездом в Москву получил я Ваше письмо, а ответить не успел — торопился окончить статью для «Урала» о В. Потанине (по их заказу). Как она им поглянулась — не знаю, не пишут. А в Москве я прожил почти месяц (и Ф. В. со мной была), жили мы у сына, занимались, истосковавшиеся, внучкой, существом прелестным. Ей скоро два годика стукнет, бегаёт, балует и лепечёт она презанятно. Увидел в Москве Ваши книги — купил, но, увы, она до них ещё не доросла. У Вас, кроме повестей, которые я получил — спасибо! — ещё где-то, что-то вышло. Радуюсь за Вас — издавайтесь, раз издают, теряться не надо, такое случается не часто, а писатель должен жить, не нуждаться ни в чём — ведь вокруг него «питаются» тысячи, а гос. изд-во за его же счёт богатеет и ничуть не меньше, чем какой-нибудь частный издатель в давно прошедшие времена.

Был в «Нашем современнике», разговаривал с С. Викуловым [1]. Не знаю, как я ему, а он мне «поглянулся» редакторской деловитостью. Статью мою печатают в № 2 (о Сапожникове), заказали мне (я сейчас пишу книгу) статью о Вяч. Шишкове (в IX 1973 г. ему будет 100 лет) и договорились мы об обзоре журнальной прозы 1973 года — о современности. Делал я когда-то такой обзор (книга «С веком наравне», 1965), попытаюсь ещё раз, а вдруг удастся что-то дельное сказать. Да и нос утра «Сиб. огням» — пусть не думают, что без них я никуда.

Вышел, наконец, многострадальный зазубринский том «Наследства» [2]. Хочешь, вышлю? Есть интересные вещи, знать о которых полезно и сегодня. Обгрызли его «охранители» всех рангов, все оказались знатоками эпохи 20-х гг., Зазубрина, все лезли с поправками, не хватало одной тети Даши, уборщицы, а так все тома оставили свой «исторический» след.

В Москве свои заботы, наслушался я там всякого, чаще всего мало утешительно. Унтеры Пришибеевы подняли голову и действуют, процветают.

Почитал я нашумевший «Август 1914 года» [3] (огромная рукопись в 600 с гаком страниц) и не увидел в нём клеветы на русский народ, как об этом известила «Литературная» газета, печатая какого-то иностранного «знатока» русской истории и русского народа. Это добротная проза,

не хуже всякой другой у нас издающейся. Роман уязвим в другом плане — в плане его афишируемой религиозности, якобы органически свойственной русскому народу. Религиозность, разумеется, есть, но не больше, чем у всякого другого народа, и не следует это «свойство» его мировоззрения народу русскому навязывать. Христианнейшим из христиан он никогда не был, это, пожалуй, вернее. Издали бы этот роман здесь, сказали бы, что в нем хорошо, а что плохо, раздолбали бы христоробие его — и не было бы такого международного хая вокруг этого произведения.

Болтают, что самый «знаток» из «Литературки» романа не читал, а подписал какой-то кем-то приготовленный текст, и сам сейчас не рад. Распространяют также слухок, что автор романа сам еврей и по-еврейски (из тех, что бежали в Израиль) себя ведет. Словом, некрасивый шум, под который и идет «завинчивание гаек» в области литературы, в области общественных наук. И хочется после этого сказать по-гоголевски: «Грустно на этом свете, господа!»

Приехал я и занялся работкой, увяз в ней по уши и никого-то мне не хочется видеть, исключая, разумеется, моих друзей. Никуда не хожу, нигде не выступаю, хотя и получал всякие приглашения. Работа — вот что главное, исцеляющее, на будущее рассчитанное. Ах, если бы знать, какое оно, это будущее, из кого составленное!

Пишите, не забывайте. Марии Семёновне поклон.

Привет сердечный. Обнимаю. Н. Яновский.

1. Викулов С. В. (1922—2006) — поэт, главный редактор журнала «Наш современник» (1969—1989).
2. Литературное наследие Сибири. Т. 2. Владимир Яковлевич Зазубрин. Художественные произведения, статьи, доклады, речи. Переписка. Воспоминания о В. Я. Зазубрине. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1972.
3. «Август 1914» (1971) — первый роман эпопеи А. Солженицына «Красное колесо».

* * *

(На открытке, без даты)

Дорогие мои Фаина Васильевна!

Николай Николаевич!

Поздравляем вас с Новым годом! Здоровья, сил и мужества для работы, доброй зимы, теплого лета и мира под крышами всех русских домов и над всей Россией!

Целую, всегда Ваш В. Астафьев

Новосибирск-102, ул. Восход, дом 18, кв. 23.

г. Вологда, 4 —

В. Астафьев.

2 марта 1973 г.
(Отв. 7.III.73)

Дорогой Николай Николаевич!

Извините, пожалуйста, что долго не писал Вам, почти всю зиму проболел — сперва грипп, который тут метко назвали: — «дружба народов», видно, всю свою заразу эти «дружные народы» собрали, чтоб нас умирить! Болел тяжело, с осложнениями и лишь недели две назад стал работать, и заболел в Новый год.

На эту зиму возлагал много надежд, хотел дописать роман, но он лежит заплывший, остывший, а разогреть вновь вещь и душу очень неловко и тяжело. Для «разгона» взялся написать кое-что из поездок на родную Сибирь. Я ведь никогда ничего не пишу, но лишь очень уж наболело и повело меня далеко и глубоко, получается очень сердито и больно.

Однако сил еще мало, после болезни и «пар» быстро вышел, даже черновик не закончил. Вот поеду дня на три на лед, отдышусь и дальше продолжу эту, кажется, интересную и очень увлекательную для меня работу под названием «Царь-рыба» и с подзаголовком «рассказы у костра». Надвигается пятидесятилетие, подготовил «Избранное». Много пересмотрел, перетряс и иное, «Звездопад», к примеру, почти нано-во переписал, дабы можно было их «рядом» с «Пастушкой» ставить, а «Пастушка» моя так нелегко и больно мне дается, делая мне хитрую услугу — теперь все мое меряют ею, а я пока дотянуться до нее не могу, и смогу ли? Кажется, в «Оде огороду» местами лишь...

Вчера только прочел Вашу статью о Володе Сапожникове [1]. Хорошая статья, взыскательная и ко многому обязывающая. Кабы только не осердился на Вас Володя, что, лихо вы с нами всеми его сверстали! Ревнив он к нам, зело ревнив, хотя и не к чему бы ревновать-то. Валя Распутин [2] лучше и лучше пишет, что мне теперь, вешаться, что ли? Наоборот, радостно, что идет парень плечом подпереть одряхлевший лит. дом и завшивевшую лит. шубу вытрясает. Пишу предисловие к однотому Вити Лихоносова [3] и никак не могу написать — не поглянулась мне его последняя повесть «Чистые глаза», вещь, для Вити, печальная и где-то даже самоподражательная. Вот и сбила она меня с толку. Не возьмусь больше никому эти предисловия писать, будь они неладны! Весь измучался. Летом собираюсь в Сибирь на Нижнюю Тунгуску. Кланяюсь Фаине Васильевне! Вас обнимаю. Мария Семёновна шлет свое почтение. И поклон. Ваш — В. Астафьев.

1. Сапожников В. И. (1922—1998) — прозаик.
2. Распутин В. Г. (1937—2015) — прозаик, публицист.
3. Лихоносов В. И. (р. 1936) — прозаик, публицист.

23.III.1973.

Дорогой Виктор Петрович!

Очень обрадовался Вашему письму — уж думал, не случилось ли что. Грипп — штука свирепая и у нас тут многие переболели, я в том числе — весь январь провалялся. Однако потом засел за стол и к началу марта окончил статью о Вяч. Шишкове, которую обещал С. Викулову. Выслал я на суд редколлегии ее на днях и жду приговора.

Хорошо, что взялись за роман — самый популярный жанр. Не одному же А. Иванову «блистать» в этом жанре. Наверняка он сидит сейчас над очередным сорокалистным творением.

У нас с Вами юбилей будет в один год — Вам 50, мне 60. Радости, признаться, мало, но все же невольное подведение итогов. Задумываешься, что ты есть и что сделал и сделал ли как надо. Самое ужасное — опыт растет, а силы угасают... Еще одно из противоречий земной жизни.

С Новосибирской писательской организацией я, можно сказать, расплевался. Вот уже полтора года никуда не хожу, никакие собрания не посещаю. Не хочу видеть эти противные самодовольные рожи предателей и карьеристов Никулькова, Смердова и других активных деятелей нашей организации! Мне и без полемики с ними хватает работы, да и есть ли нужда с ними полемизировать — их продажная сущность ясна. Работаю над книгой «История и современность» [1], завершаю книгу ЛНС (том 3) [2], начал монографию о Вяч. Шишкове.

Такому же остракизму подверг писат<ельскую> орг<анизацию> и В. Сапожников, уже считают, что «блок Яновского-Сапожникова» даже своим отсутствием «нарушает мирное и согласное» течение жизни организации. Статья о нем в «Нашем современнике» подлила масла в огонь. Но вот беда: самые пассивные члены «дружной семьи» писателей Новосибирска оказались, пожалуй, самыми активными писателями творчески. Видимо, это обстоятельство и заставляет господ-товарищей искать с ними контактов, налаживать с нами деловые отношения. Отнюдь не желаю им успеха в этом деле.

Повесть В. Лихоносова еще не читал, зато повесть В. Тендрякова [3] в «Современнике» поглянулась мне чрезвычайно. Видимо, со временем буду писать.

Жить в Новосибирске стало мне все трудней, а главное, все неинтересней. Я охотно куда-нибудь перебрался бы, но вот вопрос: куда? Вяжет меня по рукам и ногам тема — сибирская, «Лит. наследство», которое вырастает в значительное предприятие, особенно когда выпущу тома, посвященные Ядринцеву и Потанину [4]. Теперь для меня это дело чести. И фигуры по сибирским масштабам стоят того, чтоб ими занялись всерьез как о писателях (так в тексте. — В. Я.).

Марии Семёновне от ФВ и меня поклон и привет. Вас я обнимаю.
Ваш Н. Яновский.

Р. С. Статью Л. Якименко в «Новом мире» читал [5]. О «Пастушке» он пишет мягче, чем их предыдущий автор. Но он так же, как тот рецензент, не понял повести. И Вы правы, что меряете все свое по этой достигнутой уже высоте. Так и поступает настоящий писатель.

Н. Я.

1. Яновский Н. История и современность. Вяч. Шишков. Ф. Березовский. В. Зазубрин. Дм. Нагишкин. С. Зальгин. В. Астафьев. В. Сапожников. В. Потанин. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1974.
2. Литературное наследство Сибири. Т. 3. Фёдор Бальдауф. Арсений Жиляков. Степан Исаков. Антон Сорокин. Всеволод Иванов. Фёдор Лыткин. Другие публикации. — Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1974.
3. Тендряков В.Ф. (1923—1984) — прозаик.
4. 4-й (1979) и 5-й (1980) тома «Литературного наследства Сибири» посвящены Н. Ядринцеву, 6-й (1983) и 7-й (1986) — Г. Потанину.
5. Якименко Л. Литературная критика и современная повесть // Новый мир. — 1973. — № 1.

* * *

19.VIII.1973.

Дорогой Виктор Петрович!

Я все ждал, что Вы заедете в Новосибирск, зайдете ко мне, и мы вдосталь наговоримся. Но пути Ваши, о которых я слышан, не перекрестились с Новосибирском, и вот я вынужден писать. Не потому «вынужден», что это мне тяжело или неприятно — совсем напротив, — давно собирался, — а потому, что предпочел бы встречу.

Храню один экземпляр своего разросшегося <ся> «Предисловия» к красноярской книге Вашей, а куда послать — не знаю. Дома ли Вы? Хочу все-таки показать статью Вам, прежде чем она будет где-либо опубликована. Послал ее в «Наш современник» по их согласию, пока не знаю, как они с нею поступят, может быть, так же, как со статьей о Вяч. Шишкове.

Веду затворнический образ жизни, так как пишу и пишу — все для книги, каковая запланирована на 1974 год и тоже к моему юбилею (60! Уф!).

Были ли Вы в Томске, куда собирались? Все ли там прошло хорошо, если были? Я ведь тоже туда собирался, да заболел и провалялся целую неделю.

Марии Семёновне большой привет

Обнимаю

Ваш Н. Яновский

1-го сентября 1973 г.

Дорогой Николай Николаевич!

Отвечаю на Ваше письмо эвон откуда, аж из Винницы! Занесло меня на Украину «творчество», делал с режиссером сценарий по «Пастушке», надеясь потом поехать по местам боев, поглядеть, подумать и как-то «стронуть» с места остановившийся роман, а вместо этого подхватил воспаление легких, да сильное, и вот уж более полумесяца лежу в больнице, вдали от дома, где мечет икру и с ума сходит моя и без того заполошенная жена, известная Вам Мария Семёновна и я боюсь, чтобы и она не свалилась.

Всегда в больницах я «скрашиваю досуг» тем, что читаю и пишу и что этого делать нельзя, что-то разболелась голова. Оно, правда, читать-то вроде бы и ни к чему, вроде бы уж совсем на пороге те времена, о которых покойный Яшин [1] сказал, что-де придет такое время, когда талантливым людям будут деньги платить, только чтоб они ничего не писали...

Какой-то ужас! Вовсе уж загоняют в гроб и рыло еще не чешут, но уж видны сжатые кулаки бездари, желающей это сделать. Особенно рвутся расквасить всем рыла отставные майоры и полковники сомкнутым строем ворвавшиеся в литературу. Мне казалось, что уж хуже, чем есть быть не может, оказывается, может — накатывают волны, в которых видны щепки разбитых в 37-м году кораблей...

Год у меня паршиво начался, с больницы, паршиво и идет. На Енисей съездил плохо из-за своих филантропических черт характера, на Украине «хвиаску», как тут говорят, потерпел и теперь уже имею диагноз — «хроническая пневмония» — это значит все время остерегаться простуды, осложнений...

Ну, что делать, что делать?!

Без меня навестил мою Марию Семёновну, объезжающий страну на велосипедах здоровый и полнокровный писатель В. Сапожников и повел машину дальше на Новгород и Псков, так сказать, в сердце России — дабы хоть на время расстаться с рекой Коёном и воспетой им, на берегу оно, чинарой или осокорем погубленном современными злодеями, но взамен оно массивных лазарев (?) аж целую рощу в городе насадил!..

Плохо стал писать Сапожников, скатился до неприличной беллетристики, борясь с неудачеством. Сам себя перехитрить хочет, а вот Женя Носов [2] между тем выдал «Десять рублей...», несмотря ни на что. Очень здорово выдал, по самым сусалам кулачищем!..

Статью присылайте домой. Я скоро улечу домой, уже билет заказан. Низко кланяюсь Фаине Васильевне и обнимаю Вас! — Ваш Виктор Петрович.

P.S. В Томске я не был, что-то и не тянет.

1. Яшин А. Я. (1913—1968) — поэт, прозаик.
2. Носов Е. И. (1925—2002) — прозаик.

* * *

30 сентября 1973.

Дорогой Николай Николаевич!

Залежался я тут, в больницах-то! Вернулся из Винницы, побыл дня три дома и опять залег на 20 ден, но вот уже и дома второй день, пробую садиться за стол, от которого изрядно отвык, а привыкать к нему не просто. Но не впервой, как-нибудь войду в работу и тогда все пойдет как надо быть. Помаленьку буду добивать «Царь-рыбу», основа есть, некоторые главы уже сделаны и написать еще надо две-три главы-рассказа и тогда конец будет виден. Получается мрачновато и гораздо тяжелше, чем в «Последнем поклоне». Надеюсь на гонор, пусть и горький! Он меня не единожды выручал.

Тут вот, пока лежал в больнице, пришло известие о выдвижении меня на премию — очень страшное. Союз писателей РСФСР, «Молодая гвардия», Вологодская пис. организация весною выдвигали «Повести о моем современнике» на Гос. премию СССР, а оказался я выдвинутым с одной повестью на государственную премию республики, и число выдвигателей сократилось до одного. Какие-то все мелочи, какая-то закулисная борьбишка, в которой сами «борцы» себе героями кажутся, а мне лично до лампочки все это, мне уже, как Борису моему все больше хочется «покоя, только покоя», и еще работать хочется в покое.

Прочел я Вашу статью дважды. Она мне очень понравилась, фундаментальная статья! Она скорее для журнала, а не для книги, но каши маслом не испортить. Беда только вот в чем — в красноярской книге нет повести «Стародуб», там «Перевал» стоит — хотелось красноярскую книжку более последовательной во времени и развитии характера сделать. Придется Вам по ходу переписывать, а о «Стародубе» сокращаться или оставлять для журнала. В рассуждениях о «Краже» и «Пастухе и пастушке» есть чересполосица, которую можно исправить с помощью ножниц и еще, это уж моя личная к вам просьба: — поубавьте хвалебные слова в мой адрес, почеркайте превосходительные степени, пусть будет все покойней и скромнее. Это не кокетство мое, не желание поиграть в «скромника», а необходимое требование времени — завшивленной нашей литературщине идет такая бесцеремонная похвальба, такая пляска, такой праздник, что стыдно уж становится и за себя, и за друзей своих, ибо и они ведь «писатели», и они вольно или невольно участвуют в этом безголовом шабаше на литературной «ниве».

Противопоставить этому можно только порядочность и выдержку, спорить и ругаться бесполезно — я пробовал говорить дураку, хаму, гонимому разбойнику, что он хам и хват, а тебе в ответ: «Ты — анти-советчик! Ты чернишь действительность! Принижаешь свой народ» и т. д. и т. п. Не надо давать им повод показывать поганый язык и разевать гнилозубую пасть: «А-а! А-а! А сам-то!..»

Вот и все мои желания. Отправляйте статью в Красноярск, там грозилась сдать книгу в набор еще в сентябре, иначе она не выйдет к весне при наших периферийных темпах.

Был без меня у Марии моей в гостях Володя Сапожников, насмешил ее своей чалдонской беспардонностью и все тем же отсутствием такта. Ну да ладно, мы приучены воспринимать людей такими, какие они есть.

Дома, слава богу, пока я «отдыхал» в больнице, закончил<ся> ремонт. Мария домывает полы, развешивает шторы и отдыхать будет — устряпалась, — еле на ногах стоит.

С 21-го октября мы будем отдыхать в Гагре, в доме творчества. Мне надо греться, а Марии от домашних дел отойти.

Ну, вот и все, дорогой Николай Николаевич! Мне очень хочется с Вами повидаться и поболтать, да пока не с руки. Бываете в Москве — заворачивайте! Ближе ведь и зимой с болтами хорошо. Фаина Васильевна поболтает с Марией, апартаменты наши поглядите! Заезжайте при случае!..

Будьте здоровы! Привет Фаине Васильевне от меня и Марии. Обнимаю Вас — Виктор.

* * *

25.XII.1973.

Дорогой Виктор Петрович!

Поздравляю Вас и Марию Семёновну с Новым годом! Желаю Вам здоровья и прежде всего здоровья. Все остальное — новые книги, успех, слова — придет с ним. Я уже убедился, занимаясь много лет «Словарем писателей Сибири и Дальнего Востока», забывчивость людей тоже феноменальна. Пока человек жив-здоров, его знают, через год после его заболевания или исчезновения — никто толком не скажет, когда же это произошло. А если через десять — надо организовывать поиск... Итак, пьем накануне Нового года за здоровье! У меня ведь 1974 год тоже юбилейный — стукнет 60! Пьем, следовательно, и за благополучные юбилеи (если, конечно, пить можно).

Не писал я Вам давно. То в Москву ездил, где прожил более полутора месяцев, то, вернувшись, писал срочное, давно обещанное, неотложное, то хандра нападала, к счастью, кратковременная — и похандрить недосуг.

Статья моя о четырех повестях, увы, с сокращениями идет будто бы в № 4 «Нашего современника» [1]. Так мне сообщили несколько дней назад, потребовав дописать начало, чтоб «юбилейностью» пахло. Что это такое, я не знаю, но дописал, как умел.

Из Красноярска ни слуху, ни духу. Если статья не подошла, надо сообщить честно и не отмалчиваться. Кроме того, я ведь не <нрзб>, чтоб не учесть разумные предложения и требования. А так — просто непорядочно поступает некий Ермаков! Статью заказал по телефону, а теперь трубку поднять боится... Ну черт с ним!

Я тоже приготовил свою «юбилейную» книгу, но сдать ее в производство не могу — она уже три месяца на «контрольном рецензировании» в Комитете. Уже три книги моих держат под контролем и присылают глупейшие рецензии, одна из них на «Голоса времени» была не глупая, а доносная и принадлежала господину Чалмаеву [2], любимому автору «Нашего современника». Он с серьезным видом доказывал, что я протаскиваю троцкистские идеи, подозрительно много уделяю внимания репрессированным («почти все статьи»), и, наконец, уничтожаю, не терплю любое начальство. А результат один — часть статей вылетела (в том числе о Залыгине) и книга вышла не в том виде, в каком хотел бы ее видеть. Боюсь, что и сейчас получится нечто подобное. Чалмаев и чалмаевы процветают, хотя и выступают апологетами К. Леонтьева [3]. Если бы я в таком духе выступил, меня бы съели незамедлительно, и работал бы я где-нибудь сторожем.

В Москве я работал главным образом над творчеством Гребенщикова [4] и Шишкова, бывших когда-то в начале нашего века в Сибири друзьями. Гребенщиков в 20-м году эмигрировал и прожил в Турции, Франции и США сорок лет. С 1905 по 1907 год он был активнейшим деятелем литературы в Сибири как организатор, и как автор многих талантливых произведений, которые Горький печатал в своих журналах. Я пишу сейчас большую статью о нем, хотя и знаю, что печатать ее, вероятней всего, не будут. Пишу, потому что убежден, что все талантливое, созданное на русском языке, принадлежит русскому народу. Рано или поздно собранное мною кому-то пригодится, будет нужным. Слава богу, Чалмаевы — это временщики, не ими определяется развитие общества и общественной мысли.

Как Вы отдохнули? На «юбилейном» заседании редколлегии «Наше<го> современника» я случайно был. Говорилось с большим сожалением, что Вы уехали в Гагры и быть не можете. Редколлегия эта прошла не бог весть как и именно потому, что многих авторов журнала не было. А может, еще и потому, что не была организована как надлежит.

Всему семейству Вашему наш с Ф. В. поклон и приветы и пожелания наилучшего.

Обнимаю Н. Яновский.

1. Яновский Н. Деятельное добро. К 50-летию В. Астафьева // Наш современник. — 1974. — №5.
2. Чалмаев В. А. (р. 1932) — критик, литературовед.
3. Леонтьев К. Н. (1831—1891) — философ, писатель, критик, публицист.
4. Гребенщиков Г. Д. (1882—1964) — прозаик, публицист.

* * *

(Без даты)

Дорогие Фаина Васильевна!
Николай Николаевич!

С Новым годом, с еще одним трудным годом и с надеждой, что следующие будут легче и господь Бог будет более милостив к нам, членам коммунистического общества и не станет с одного бока жечь огнем, а с другого сыпать снегом и хладом, и еще поубавит раку, самоубийств, слез и горя!..

Словом, самые «вечные» мечты и пожелания, ибо так и пребудем мы между жизнью и смертью, а на этом пути уже все слова и мысли вытоптаны, как выпас голодным скотом.

Я тоже был в Москве, по делам. Без дел я уже туда не езжу, да и по делам-то вынужденно — очень быстро устаю в Москве, изнуряет она своим шумом и бездушностью, ровно бы перед взрывом или божьим судом все бегут куда-то и не хотят замечать друг дружку и ох, что вокруг деется.

Готовлю «Избранное», правлю, пишу, наново переписал «Звездопад» и чувствую, что это не единственное переписывание. Много слов наставил не так и не тех, пытаюсь свои же грешки, часто введенные спешкой и неумением, исправить.

До романа руки так и не доходят и если дойдут к весне, слава богу. Время летит стремительно, обязанности не убывают, а прибывают — хоть бы немножко приобрести эгоизма, поубавив его у наших родных и неродных детей и не раздаривать так себя и свое время, ведь не хватает, явно не хватает на всех-то, а что сделаешь? Каков уродился!..

Ну, целую, обнимаю Вас, дорогие. Марья Семёновна присоединяется. Ваш — Виктор.

* * *

(Без даты)

Дорогой Виктор Петрович!

Сегодня купил в букинистическом «Синие сумерки» (1968) [1], купил и потому, что вид ее внушал уважение — не иначе она прошла через

сотню рук, хотя и не из библиотеки, где это вполне объяснимо. Не новость, конечно, что Астафьева читают, но такую книгу все равно иметь приятно.

Как Вы живете, что нового, над чем работаете и как здоровье? Вот сколько сразу вопросов! Вижу: книжки выходят — и я радуюсь. Так и надо — не следует теряться. Я вот тоже «развил» свою деятельность, готовлю свою книгу листов на 20-ть, составляю том сибирских произведений Вяч. Шишкова с моим предисловием и комментариями, завершаю работу над 3 томом «Лит. наследства Сибири», на взлете (?) труднейший том «Писатели Сибири и Дальнего Востока» (1917—1970 гг.) — библиография, над которой работал больше 10 лет. 18/XII заседала редколлегия «Лит. наследства». Тома 4-й и 5-й будут посвящены Ядринцеву и Потанину, скоро я все силы брошу на эти дела — это мой священный долг писателя-сибиряка перед памятью блистательных патриотов Сибири. И что бы ни говорили о них дурного — а говорили много! — я убежден, они честно вырабатывали и защищали свои идеи, они способствовали как никто расцвету Сибири. Вот вытаску на свет все это и эти два тома в особенности — можно умирать спокойно, с сознанием выполненного писательского долга.

Из «Нашего современника» прислали гранки статьи о Сапожникове. Увы, статью сократили неумело и, конечно, самое значительное — весь анализ рассказа «Друг нашего друга» ради чего я, собственно, и затеял монографический очерк о В. С. Я ему сразу сказал: «После рассказа “Друг нашего друга”, где вдрызг высмеяна вся современная пришибебщина, я буду о тебе писать». И вот вообрази мое состояние: именно об этом рассказе все выброшено. Чего они испугались — не пойму. Если бы не мое первое выступление в этом журнале и полная необходимость именно сейчас выступить в Москве с более или менее большой статьей (чтобы утереть нос «Сиб. огням»), я бы немедленно эту статью от них забрал. Но мне нужно сейчас иметь «свой» журнал, чтоб я мог время от времени как-то высказаться — и другого журнала более мне близкого я сейчас не вижу. Тянут меня в «Новый мир», но там у самого журнала состояние неустойчивое, да и после Лакшина [2] там выступать трудно. Можно было с ним спорить, но писал и пишет он великолепно. Как нерасчетливо обрастают у нас с такими выдающимися критическими талантами!

В № 2 «Дружбы народов» идет моя рецензия на «Затеси» (так мне сказали). Очень хочу написать о «Пастухе и пастушке», но не подвертывается повода. Вот к 1974 — к 50-летию я, может, «грохну» статеечку — вот тогда я уже выскажусь! (Хотя вполне возможно, что именно этот раздел, как в статье о Сапожникове, и похерят — все может быть в наш просвещенный век!)

В Москве видел В. Лихоносова — подробно не говорили, но он всегда как-то по-особому мил и по-особому интересен. О В. Потанине я написал статью для «Урала», и вот на днях сообщили, что идет в № 3 за 74 год.

8 месяцев я проработал за своим письменным столом, не отлучался «на службу» и убедился, что в этом есть свои отнюдь не малые преимущества. Каждый мой день загружен так же до предела, как и прежде, но прибавилась свобода в распределении всего рабочего времени. И это, оказывается, очень важно, это теперь просто необходимо — так много всего накоплено, лишь только иногда сумеешь отдохнуть, чтоб хватало на все.

Ну-с, ладно. Я заболтался.

Привет сердечный.

Обнимаю

Твой Н. Яновский

1. «Синие сумерки» (1968) — сборник рассказов В. Астафьева (издательство «Советский писатель»).
2. Лакшин В. Я. (1933—1993) — критик, литературовед, прозаик.

* * *

30 мая 1974.

Дорогие Фаина Васильевна! Николай Николаевич!

Кланяюсь Вам я и Марья Семёновна, с Урала, из нашего «имения», из доживающей свой век — Быковки. Приехал я сюда, после юбилейных гулянок и писательского пленума чуть живой (Мария Семёновна добралась сюда раньше) и хотел много сделать, плановал, да не вышло ничего, едва отдышался и надо ехать в Иркутск, вести семинар на совещании молодых писателей — посулили «за работу» поездку по Байкалу и надо его, батюшку, посмотреть, пока еще двигаться могу, да и Байкал еще есть, а то и его скоро «преобразуют».

Здесь, в Быковке, я и получил письмо Фаины Васильевны и опечалился болезнью Николая Николаевича — эта проклятая пневмония стала бедствием, пока боролась со страшными болезнями, подкралась она незаметно к людям. Я уже семь раз валялся с нею, в прошлом году умудрился дважды и теперь ношу хроническую. Недуг худой, так он и поджидает тебя, караулит, чтоб уложить. В последний раз меня прохватило на Украине и едва я не умер...

Однако же спутать пневмонию с тифом?! Но не удивляйтесь. У моего знакомого журналиста-международника Миши Домогацких «светилы» мед. науки тиф спутали с тропической лихорадкой и едва его не уморили сверхновыми лечениями.

Здесь же, в Быковке, получил я и журнал «Наш современник» со статьёй Николая Николаевича — ее, конечно, поругали, однако, все одно весомо и убедительно получилось, а главы мои, пожалуйста, читай-

те подряд, дождавшись шестого номера и отпишите, как они? Сделал я их довольно быстро и разом. Какое-то насторожение и даже испуг в душе.

Что же касается нашего «общего знакомого», то он попросту свинья и вероломная, притом. В прошлом году был у нас, когда я лежал в больнице на Украине, а Марья сидела в разгромленной квартире — шел ремонт, но все же, как могла, приняла его, так он, кроме хамства и неприязни к дому, ко мне и ко всем «квашникам», как он говорит, ничего выказать не мог, да еще у занятой работой, прибитой горем бабы интересовался, как и куда продать ему велосипед, на котором он совершил с сыном путешествие по «любимой» стране — не пропадать же добру! Его эгоизм — это эгоизм особого свинства, что-то кулацкое, в худом смысле этого слова, помножено на не-обоснованные претензии к обществу и страшная ревность, переросшая в ненависть ко всем нам, кто так терпеливо относился к нему. Николай Николаевич, наверное, остается уже в единственном числе из тех, кто его может терпеть и выносить.

Ну да бог с ним — его ждет одинокая и жестокая старость, мужик он здоровый, шибко себя обожающий и у него хватит времени обдумать свою жизнь и покаяться в своем поведении, или вовсе сбеситься (подчеркнуто двумя чертами. — В. Я.).

После Иркутска я заеду в Красноярск — там вышла у меня книга, да и на родине побывать охота, как всегда тянет неудержимо. Марья подлетит туда, ко мне и мы съездим к моему приятелю в Краснотуранск — это вверх по Енисею, а на обратном пути, если не очень уедемся, то и к Вам бы на денек-другой заглянули. Адрес моей сродной сестрицы: Красноярск, ул. Парижской Коммуны, дом 31, кв. 19, Потылицына Галина Николаевна — так Вы черкните, будете ли дома в конце июня, начале июля? И сообщите свой телефон, точнее подтвердите, тот ли, — А-6-10-65? И я Вам позвоню.

О многом хочется и надо поговорить. Здесь мы уже кончаем свое житье, за все время я написал маленькую статью к 50-летию Василя Быкова [1] и очерк, большой, правда, о житие одной здешней бабы, да и то еще начерно. «Царь-рыба» моя лежит, роман лежит, замыслы подпирают, а писать некогда, суета заела. Какой-то проклятый характер, никому ни в чем не могу отказать, вот и читаю без конца рукописи, верчусь, хлопчу, а работа стоит и не двинется.

Так вот хочется сейчас, скоро написать давно выношенную маленькую повесть о войне под названием «Жестокие романсы» или «Ванька-взводный», прототипом которого, кстати, будет новосибирский парень Колька Шестаков, бывший наш взводный, от запоя умерший, после войны, среди новосибирского базара...

Однажды целиком и явственно увидел во сне фантастическую повесть, всю утром рассказал Марии. Надо было хоть записать, да где там, все недосуг.

Об А. Н. Макарове надо писать. <Нрзб> напротив нас, кирпичный завод, так к одному холостому мужику в поселок нагрянуло сразу две бабы и у обоих по паре ребятишек. Разбирался он, разбирался с ними, да не выдержав противоречий и застрелился. Так вот и тут хоть стрелайся или разорвись!..

Но... будем жить и смеяться, как дети. Тем более что лето, тепло и зима не скоро.

Желаю Вам, Фаина Васильевна, все быть красивой и не стариться, а Николаю Николаевичу выбираться на дачу и греть, как можно больше тело на солнце, особенно спину, а сквозняков бояться и сырости избегать.

Я тут пользую одно лекарство, если поможет — научу, а пока пусть буду я один подопытным. Ну, что ж, милые люди, беседа хороша с друзьями, да ведь и она не может быть бесконечной! Прощаюсь с Вами, кланяюсь и я, и Мария Семёновна, которая взяла, да тут в Быковке и написала о Коле Рубцове, да так здорово! Молодец у меня баба! Ей бы еще мужика хорошего в молодости найти, она может государством правила бы, да я попутал ее, дурак такой...

Ну, обнимаю, целую! Ваш — Виктор Петрович.

1. Астафьев В. Выполняющий долг писателя и гражданина. О Василе Быкове (1974) // Собрание сочинений в 15 т. Т. 12. — Красноярск: Офсет, 1998.

* * *

(Без даты)

Дорогой Виктор Петрович!

Мы с Ф. В. очень и очень обрадовались, что Вы вместе с Марией Семёновной собираетесь заглянуть к нам. Это же великолепно! Обязательно приезжайте, будем ждать от Вас звонка по телефону 66-10-65 или телеграмму. В конце июня и в начале июля мы непременно будем дома. Я только 19/VI дня на три-четыре слетаю в Иркутск на заседание редакционной коллегии по изданию двух томов писем Г. Н. Потанина, предпринятому Иркутским университетом. Это моя давняя мечта, и тут я обязан быть во что бы то ни стало. Потанина замалчивали, на него клеветали, и письма раскроют, наконец, его огромную научную и общекультурную работу, которая имела первостепенное значение для Сибири. Отлично сказал о нем Вяч. Шишков: «Потанин для Сибири то же самое, что Лев Толстой для России».

Увы, я болел и только-только (3 июня) «слез» с больничного. Из-за болезни задержалась сдача в набор двух книг, которыми я не могу не дорожить — «Лит. наследство Сибири», т. 3 (уже третий — знай наших!) и свою юбилейную. Так как вместе это составляет 45 п. л. (25 и 20), то

легко представить, в какой я запарке. Буквально два дня назад подписали в набор ЛНС т. 3 (с нервотрепкой, разумеется, с непостижимыми глупостями от боязни — как бы чего не вышло!) и сейчас домучиваем с редактором мою книгу, а она тоже на подозрении. Вот так и живу, обложенный со всех сторон недоверием и подозрением к каждому моему слову. А я не хочу кричать мило, когда гнило (это слова Л. Сейфуллиной, взятые мной на вооружение). Со мной нередко поступают так, как в «Нашем современнике» — выпускают кровь полемики, сглаживают общественную остроту анализируемых произведений или просто их анализ выбрасывают. Первая часть статьи «Деятельное добро» до анализа повести «Пастух и пастушка» получилась анемичной, вялой, однако же последней частью я доволен — тут все оказалось на месте. И то — слава богу!

Марии Семёновне от меня и Ф. В. большущий привет, мы надеемся прочесть ее воспоминания о Рубцове прямо у нас, когда Вы приедете. Итак, ждем от Вас самых благоприятных известий.

Обнимаю, целую
Твой Н. Яновский

* * *

13.VII.1974.

Дорогой Виктор Петрович!

Только что получил из Красноярска вашу книгу [1]. Спасибо за память, за добрые слова и приветы. Книга издана хорошо, если бы не подкачала бумага.

С огорчением узнал, что в Красноярске Вы заболели и даже побывали в больнице. В самом деле все кончилось благополучно и без осложнений? До сих пор жалею, что Вы с Марией Семёновной не завернули к нам. Когда же теперь выпадет такой же случай! Одно утешение — мы все же повстречались, хотя поговорить с глазу на глаз нам не удалось. А между тем взаимная информация о происходящем, не говоря о многом другом, что нас в литературе интересует сегодня, всегда нужна, необходима.

Я веду сейчас сравнительно более замкнутый образ жизни — выезжаю редко, дома в Союз глаз не показываю (за что даже от «левого» Фоянкова [2], как я узнал в Иркутске, получил «нагоняй», он, видите ли, осуждает меня за то, что не хочу иметь дело с предателями). Мое дело писать, а не полемизировать с подонками типа Никулькова, для полемики есть объекты поосновательней, а если полемизировать, то с другой более высокой трибуны. Вот сдал, наконец, ЛНС, т. 3 и свою книгу — в ней есть полемика, открытая и завуалированная (в кого целил — тот поймет). Сейчас по приезде из Иркутска занялся комментарием к письмам Г. Н. Потанина. Работа кропотливая, но увлекательная, а главное — не-

обходимая, т. к. за последние полвека ничего более значительного о самом Потанине — человеке и ученом, не выходило. (Кстати, ради этого комментирования и к Кунгурову [3] ходил, т. к. по истории литературы в Сибири он накопил немало уникальных материалов.) Короче говоря, нахватал работы через край, и могу сказать, что на ближайшие два-три года мне ее хватит — были бы силы, здоровье.

В № 5 и 6 «Енисей» публикует письма В. Шишкова к А. Ремизову с моим предисловием и комментарием. Будет желание — посмотрите, любопытно. Предлагал их в «Вопросы литературы», одобрили, но не печатают. «Енисей» просто ошеломил меня своим согласием опубликовать эти письма. Сейчас у меня свыше ста неопубликованных интересных писем В. Шишкова к разным лицам. Хочу составить книгу. Вот только где ее издать, — не знаю. Наша история литературы еще не изучена так, как ее следует изучать.

Ф. В. и я шлем искренние пожелания здоровья и благополучия Марье Семёновне и Вам.

Обнимаю

Ваш Н. Яновский

1. Астафьев В. Избранное. — Красноярск, 1974.
2. Фоныков И. О. (1935—2011) — поэт, журналист.
3. Кунгуров Г. Ф. (1903—1981) — критик, литературовед, прозаик, публицист.

* * *

2.XI.1974.

Новосибирск

Дорогой Виктор Петрович!

Сразу Вам не ответил — каюсь. Да и не мог: «история» с Шукшиным [1] расстроила вообще, а тут это интервью, в котором такие планы, такие надежды... Примириться со всем этим как-то невозможно, сколько ни старайся, сколько бы ни говорил, что «все там будем». Я сейчас занимаюсь историей, примерно столетней давности. Комментирую письма нашего сибирского Толстого (так его воспринимали современники-сибиряки) — Г. Н. Потанина. Возникают сотни судеб людей очень интересных и достойных памяти. Но чаще всего мы этих людей забыли, ничего о них не знаем, кроме того, что их где-то и кто-то как-то упомянул. Пыхтим, стараемся, кипим, а результат — пшик. И не жить глупо, поскольку эта жизнь тебе случайно дарована. Вот и коптим.

Наконец-то с моей книгой все утряслось — печатается. Проверяли ее на три-четыре ряда. Последняя — уже в корректуре, и в последнюю

минуту за моей спиной, не согласовывая, сняли какие-то 20—30 строчек «крамолы». До сих пор не знаю, что именно. Негодовать я уже устал — не тот возраст, но сознание полной своей бесправности гнетет, принижает, и никак не уразумеешь, кому это надо, кому от этого выгода. Мурло тупого охранителя проглядывает всюду, он чинит расправу и произвол, но он же — самое доверенное лицо в государстве! Ничего не изменилось в наших нравах. Как и сто лет назад, во времена Ядринцева и Потанина, доверяли разным тупицам, а не уму и совести лучших людей России. Я не причисляю этим себя к «лучшим», но можно же со мною в моем государстве обращаться по-человечески! Почему я едва ли не всю свою сознательную жизнь нахожусь на подозрении?

Ладно. Черт с ними. Одно утешение — работа. Ее много и пока есть охота работать. Кстати, печатается и 3-й том «Лит. наследства Сибири», который, по существу, весь сделан мною и который тоже испортили подозрением и им вызванной глупостью. И снова уже отредактированный том тайно от меня передали на «окончательную шлифовку» Коптелову. Узнав об этом, я не утерпел и спросил: на каком основании не доверяют 8 членам редколлегии ЛНС? И если не доверяют, не лучше ли ее разогнать и поручить дело одному Коптелову?

Бог мой, я же оказался виноватым! Наверное, том 4-й, над которым работаю, издать не дадут, тем более — посвящен он областнику Ядринцеву. Однако же, если не удастся сделать том ЛНС, напишу о нем монографию. Ах, какой это был человек, писатель и ученый! Чем больше о нем узнаю, тем больше он меня восхищает.

Книга моя юбилейная выйдет — пришлю непременно. К тому же один из героев ее — вы. Статья несколько отличается от того, что было в журнале.

Марии Семёновне большой привет.

И с праздником!

Обнимаю

Н. Яновский

1. Очевидно, трагическая смерть В. Шукшина 2 октября 1974 г.

* * *

(Отв. 1974)

Дорогие Фаина Васильевна!

Николай Николаевич!

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом! Желаю всего, что желали и желают люди добрые друг другу — добра, милосердия, белых снегов, зеленого лета и теплой осени! Да чтоб цензуры поубавилось хоть

ненамного и дышать бы полегче стало! Я пишу, работаю. Как-то медленно стала у меня идти работа и для головы болезненно — делаю новые главы в «Последний поклон» — в январе повезу их в журнал.

Будьте здоровы, добрые люди!

Ваш — В. Астафьев.

И Мария Семёновна.

* * *

1(?) . I. 1975.

Дорогой Виктор Петрович!

Большое Вам спасибо за все поздравления, которые я получил в прошлом году. Мне приятно было получить их от Вас. Своеобразным приветом и доброй памятью прозвучала для меня и сценка из Красночико́йских «событий», рассказанная Вами на страницах «Вопросов литературы» [1]. Она «забавна», но выводы Вы из нее сделали серьезные и своевременные, а Постановление оказалось притянутым за уши: и до была и после него сохранилась когорта «неприкасаемых» писателей.

Я не отвечал вам, т. к. сразу после юбилейных перегрузок уехал в санаторий, где лечился и отдыхал, отключившись от всего на свете, даже газеты читал изредка. Лыжи и всякие лечебные процедуры занимали меня больше всего почти целый месяц. Приехал на днях с нормальным давлением и свежей головой. Теперь — за работу!

Мы с Ф. В. желаем Вам и Марии Семёновне здоровья и успеха в Новом году. Я слышал, что у Марии Семёновны вышла новая книга. От души поздравляю!

Обнимаю и целую Вас

Ваш Н. Яновский

1. Пересекая рубеж // Вопросы литературы. — 1974. — № 11. В. Астафьев рассказывал: «После читинского семинара шли мы целой бригадой по далекому-далекому городку Красный Чикой, что находится почти на границе Монголии. Повстречался нам шишкарь, — ну, это человек, который кедровые орехи добывает, — остановился и спрашивает: “Это правда, что вы писатели?” Правда, говорим, и стали представляться шишкарю. Когда дело дошло до Николая Николаевича Яновского, шишкарь, будто тигра узрев, воскликнул: “Критик?!” — и, сурово оглядев с ног до головы милейшего, застенчиво улыбающегося Николая Николаевича, спросил у нас строго-деловито: “Так что же вы его не бьете?!”» И далее, сравнивая «писательскую братию» с этим «простодушным шишкарем», В. Астафьев говорит: «Пока “служит” критик, раздает в качестве официанта “сладкое” — ничего, терпимо. Но стоит ему “покритиковать”, да еще писателя маститого, тут и писатели, и свои же братья критики навалются на него, да еще неучем выставят. Благородства бы, благородства побольше бы в отношении друг к другу, да и всей нашей литературе вообще».

28.IV.1975

Дорогой Виктор Петрович!

Поздравляем вас и Марию Семёновну с наступающим днем Победы. Для нас, оставшихся в живых, все пережитое — хорошее и тяжкое — незабываемо. Дотянем ли до 40-летия, но и 30-летие — наше счастье, добытое жизнью многих других, известных и неизвестных. Мы их помянем в эти дни, склоним перед ними голову.

Был я на собрании критиков в Москве по поводу литературы, посвященной войне. Два-три выступления были по-человечески интересны, остальные пропитаны равнодушием; никого не занимает актуальность проблемы, новая ее трактовка, пробивающаяся в литературе, наоборот, вдруг заговорили о Фадееве да так, будто в нем уже все было и попросту забыли им добытое. И это после того, как он переделал свой роман в угоду нелепо выраженной тенденции! Гринберг хвалил Чаковского [1]. И за что? За «художество». Словом, нужного разговора не получилось.

Позанимался я в Москве дней десять, повозился с внучкой, и вот вернулся с тем, чтобы в мае уехать в Томск. Дело в том, что занят и увлечен я сейчас великим патриотом Н. М. Ядринцевым для IV тома «Лит. наследства Сибири» (3 тома уже вышли!). Его как писателя забыли, на него как общественного деятеля до сих пор еще плюют люди, забывшие, откуда они сами вылупились. И я хочу все это поставить на свое место. Рассказать о нем как о писателе, собрать лучшее у него — и показать, что к чему. Отпущено мне на это 30 п. л. — вот и тружусь. Буду счастлив, если как следует сделаю этот том.

Что у вас нового, как подвигается Ваша работка. Красноярск предложил мне написать книжку о В. П. Астафьеве, я, конечно, согласился. Обнимаю. Ваш Н. Яновский.

1. Гринберг И. Л. (1906—1980) — критик. Чаковский А. Б. (1913—1994) — прозаик.

* * *

(Отв. V.1975(?))

Дорогие Фаина Васильевна!

Николай Николаевич!

Из тихой деревушки Сиблы, где я сижу и работаю, шлю Вам сердечный привет и поздравления с праздником весны и Великой Победы! Здоровы будьте по возможности. Пусть работается хорошо и над всей

землей будет вечный мир, а героизм происходит только в телевизоре, ибо наяву он шибко дорого стоит и кровав больно, а кровью все уж вроде напилось до того, что все кругом красно.

Я помаленьку работаю, все бьюсь над «Царь-рыбой». Обнимаю и целую — Виктор.

Мария кланяется.

* * *

9.VII.1975.

Дорогой Виктор Петрович!

В. И. Ермаков прислал мне из Красноярска вырезку из газеты — «Стержневой корень». Естественно, что статью — да нет, конечно, не статью! — я незамедлительно прочитал. Поздравляю Вас — это отлично! И о доброте, которой в жизни недостает, и о хороших людях, которые всегда встречаются на нашем пути, и кроме всего, о документализме в литературе, без которого иные сегодня шагу шагнуть не могут. Но главное, конечно, не в этом, а в том, что как-то по-новому увидел я Василия Ивановича Соколова — Валериана Ивановича Репнина, Игн<атия> Дм<итриевича> Рождественского [1], которого я мальчиком знал, и Вас самих того «кражного» периода Вашей жизни. Как по-новому, я еще сказать не могу, а просто чувствую безотчетно, как всякий читатель.

Помню, редакторы «Нашего современника», прочли и сказали: «Зачем анализ “Кражи” автор статьи начал с фигуры второстепенной — с Репнина?» Признаюсь, я даже как-то растерялся: «То есть как это второстепенной?! Да он же ключ ко всему повествованию». Убедить я их не смог, но на своем стоял, исходя из принципа: автор волен начинать свой разговор о произведении, так сказать, с любого «конца». Ваш рассказ о Василии Ивановиче невольно напомнил мне этот эпизод. Вообще читал и радовался. «Урок снисходительности» — ведь к такой «простой» вещи люди далеко не сразу приходят, да и далеко не все. «Слишком большая роскошь расходовать время на злобные вспышки...» — бог мой, как часто забываем мы об этом! «Жить и работать, сверяясь с совестью...» — конечно же, трудно. И только прожив жизнь, убеждаешься, как часто и без особой нужды я шел на компромиссы! Вот эта обращенность к лучшему в человеке — живой нерв вашего нового произведения. И прикосновение к нему сознанием, чувствами, всей жизнью своей высекает искру читательского доверия к тому, о чем Вы рассказываете, даже если бы я Вас не знал.

А что это газета напечатала «Стержневой корень» с сокращениями? Велика или другие какие мотивы?

Давно собирался Вам написать, но как-то не было повода Вас отвлекать. Вот повод нашелся. Страдайте.

Жду Вашу «Царь-рыбу».

Сам я работаю над IV томом «Лит. наследства». Целиком погрузился в XIX век. Задача — очистить доброе имя писателя от всяких напраслин тупых злобных людей, восстановить его в «писательских правах», заполнить пропущенную страницу нашей литературной истории, страницу существенную не только для одной Сибири, как полагают некоторые до сего дня. Речь идет о Н. М. Ядринцеве, о великом патриоте Сибири, личности яркой, удивительно прекрасной. Если я выпущу этот том, то уже наверняка могу сказать, что прожил жизнь свою не напрасно — «умножил хоть каплей одною добрых дел моих скудный запас!» (посылаю Вам это стихотворение, непритязательное, но мудрое, человеческое, просто нужное, когда жизнь стремительно идет к концу.)

От Марии Семёновны Ф. В. получила большое душевное письмо, как она сказала. И приветы, за которые спасибо. Ведь всегда приятно, когда нас помнят добром. Марии Семёновне и Вам от Ф. В. и меня сердечный привет.

Обнимаю

Ваш Н. Яновский

Р. S. В Красноярске запланировали мою книгу «Виктор Астафьев», но на какой год и какого объема — ничего не говорят.

1. Рождественский И. Д. (1910—1969) — поэт.

* * *

(Отв. 26.VIII.75.)

Д. Сибла, июля 25.

Дорогой, милейший Николай Николаевич!

Я глубоко почитаю Вашу деликатность и истинную интеллигентность, не перестаю удивляться Вашему мужеству, трудолюбию и где-то даже тем иной раз внутренне поддерживаюсь. И все же, все же... Когда Вам хочется написать, поговорить письмом, не сдерживайте своего порыва, есть люди, письма от которых мне дороги так же, как они сами.

(Это не за похвалы Ваши о статейке, это я давно уже говорил и говорю всем, так ведь и Вам надо ж когда-то доброе слово о себе слышать, «ласковое слово и кошке дорого!» Сказал кто-то из лукавых еврепидов-драматургов, ну а критик-то неуж кошки хуже?!)

Статьейка-то сильно сокращена. Делал я ее (писал) для небольшой книжки издаваемой самым высокомерным нашим издательством «Худ.

литература» 2,5 листов и гонорару от 90 до 105 рублей за лист, ибо все издано-переиздано. А я в деньгах сейчас очень нуждаюсь, так и подписался. Купил «Волгу», все еще вожусь с домом и усадьбой, все дорого, а ведь машине надо еще гараж. И черт его знает чего в этой жизни не надо только?!

Всю зиму и лето работал над «Царь-рыбой» в основном. Дело идет к концу, но я уже так устал, что забываться начал, зачем пошел и куда. Требуется отдых, вот поэтому с Марией поедем на Байкал и оттуда скорей за стол и за работу (умри, но всю книгу на 40 листов надо сдать осенью).

«Царь-то рыба»-то выросла на 20 листов и что с нею будет? Не придется ли опять ехать в Сибирь, искать ей пристанища? Боюсь, боюсь и осложнений при публикации. Кажется, столь сердито я еще не распалялся («Крас<ноярский> рабочий» отобрал самые, конечно, благополучные главы, испластал их, боже ж ты мой! Закаивался я давно в газету, но тут с родины, послал парня ко мне, как не уважить?) Ну, даст бог, в журнале полнее случится напечатать.

А вообще-то, я, здоровьем пыша, тьфу-тьфу, пока держусь. Для меня деревня — рай и диспансер, и место работы!

Молодец я, что снова усвистнул от шума городского, не дали б мне там работать, уже и здесь-то, в глуши, достают. А красноярцы мне ничего не пишут о том, что Вам заказали книгу. Уж не туфта ли опять? Вы с ними поделовитей и строже будьте! Ну, вот, хоть и бегом, сумбурно, да поговорили (дефект рукописи. — В. Я.). Фаине Васильевне кланяюсь. Обнимаю. Ваш Виктор.

(Продолжение следует.)



Владимир АЛЕКСЕЕВ

МОЕ ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

Размышления о книге и чтении

«Строматы» — так назвал Климент, философ и богослов III века из Александрии, свою книгу о новом и мало еще распространенном в тогдaшнем позднеантичном мире христианском учении. А в переводе с греческого «строматы» означает «пестрый ковер». Климент Александрийский, христианский апологет, «блаженный пресвитер, человек хороший и почтенный», «соткал» пестрый ковер мыслей и слов о Христе, на языке эллинов изложив Его учение и установив его связь с античной философией. Через 17 веков в России начала XX века Василий Васильевич Розанов собрал два короба «Опавших листьев», написав их в преддверии «Апокалипсиса нашего времени» и запечатлев вечернюю зарю Серебряного века.

Лестно и почетно было бы пристроиться в этот ряд, но я ни в коей мере не посягаю на значение и место этих замечательных книг, не стремлюсь встать даже близко с ними и ясно осознаю, что здесь, перед вами — не роскошный и причудливый восточный ковер, не ворох прекрасных и ярких осенних листьев, а простое и незатейливое «лоскутное одеяло» мыслей о книге в жизни обыкновенного человека. Это то одеяло, которое можно было бросить на траву в укромном лесном уголке и удобно устроиться на нем с книгой в руках. Это то одеяло, которое потом вешалось на протянутую от одного книжного стеллажа к другому веревку, чтобы заслонить свет читальной лампы от спящего маленького сына. Это то одеяло, которое в детстве по ночам укрывало меня самого с головой, чтобы, таясь от родителей, с фонариком в руках можно было читать не дочитанную днем книгу. Этим одеялом, скроенным из обрывков воспоминаний, впечатлений, ощущений и знаний о книге, вобравшим в себя весь мой эмпирический опыт, все мое земное бытие, я укрываюсь от жизненной непогоды и здесь, в книжной обители, нахожу утешение в горестях, умеряю восторг в радостях, поверяю сокровенное, нахожу новое, забываю старое.

* * *

«Юности свойственно заблуждаться...» Но когда молодым человеком, только что окончившим университет, вполне сознательно связал я свою профессиональную жизнь с книгой, этот шаг никогда — ни прежде, ни сейчас — не воспринимался и, надеюсь, не будет восприниматься мною как заблуждение, как «ошибка молодости». Наоборот, с годами убеждаюсь, что это для меня, может быть, самый верный шаг, самый истинный выбор.

Более того, предметом внутренней гордости становится то, что окружающие воспринимают тебя как «книжного человека» — то есть в глазах людей ты уже достиг какого-то уровня «слиянности» с Книгой. А эта слиянность в различном контексте будет звучать по-разному, не только (и не столько!) уважение и понимание, сколько высокомерие, неприятие и непонимание: как можно!.. такой большой!.. мог бы!..

Однако гордость рождается, и отнюдь не оттого, что чиновники или банкиры иногда нуждаются в моей оценке тех непонятных им старинных книг, которые приносят люди, собираясь вывезти их за границу или предлагая их в качестве обеспечения денежного займа. Каждодневное общение с книгами — древними и новыми, большими и малыми, интересными и не очень, новенькими и истерзанными ретивыми читателями — доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие, самую большую тихую и светлую радость, потому что каждая книга приносит что-то новое, мне неизвестное, открывает новый мир, который вполне может стать и моим миром. Для чиновников и банкиров это не ценность.

* * *

«Въ оно время...» («В то время...») — обычный зачин апракосного Евангелия, Евангелия, составленного особым способом, в соответствии с церковной службой на весь год; так начинается и хранящееся в Новосибирске пергаменное Друцкое Евангелие начала XIV века. Но не только «во время оно» — во все преждебывшие времена занятия с книгами были окружены ореолом почтения, потому что было это делом по большей части не материальным, но духовным и ценилось это людьми необычайно высоко. Для меня самым наглядным и убедительным доказательством такого «духовного предпочтения» является существование в нашей истории веков пергаменной письменности. Пергамен — это специально выделанная для письма кожа молодых домашних животных, как правило телят. Из шкуры одного теленка (часто, чтобы иметь качественный материал для письма, этого несчастного теленка, еще не родившегося, доставали из коровьей утробы) получалось один-два книжных листа.

Южные (балканские), центрально- и западноевропейские страны, не говоря уж о странах Ближнего и Переднего Востока, с их мягким и теплым климатом, незаметным перепадом годовых температур, Наверное, не могут дать столь впечатляющий пример, как Русь — «неученая, бедная, смиренная, грустная северная страна», с ее непредсказуемым суровым климатом, расположенная в зоне рискованного земледелия, но сумевшая за три века начального этапа овладения письменностью создать колоссальное число —

не менее 150 000! — пергаменных рукописей (об этом — интереснейшее исследование петербургского ученого Б. В. Сапунова) и явившая тем самым наглядное свидетельство приоритета духовного над материальным. Для изготовления даже небольшой пергаменной книги нужно пустить под нож немалое стадо домашних животных, которые есть основа крестьянского быта, есть залог благополучия да, пожалуй, и будущей жизни всей семьи, ведь домашние животные — это молоко и масло, это добротная одежда и обувь, это обеспеченное существование и достаток. Но предпочтение отдавалось духовному, вечному, непреходящему, тому, что озаряло жизнь и давало ей смысл.

Страшно думать о выборе нашего меркантильного века...

* * *

Иррациональность определяется как недоступность рассудку; это то, что не может быть постигнуто разумом, что не подчиняется законам логики. Много в нашей жизни не может быть соотнесено с логикой — но утраченные ныне достижения наших предков в области книжного дела, достижения, формировавшиеся десятилетиями и веками, достижения, ставшие показателем цивилизационного уровня эпохи, — это явно из области иррационального. Великий русский художник Владимир Андреевич Фаворский говорил в начале XX века, что «и зрение, и осязание удовлетворяет хорошо выполненная книга». За этим высказыванием — опыт целых поколений творцов книги. Действительно, хорошая книга — прекрасный в своем совершенстве ансамбль, соединяющий труд автора, редактора и корректора, художника, печатника и переплетчика. И XX век последовательно приумножал достижения предков, даже в годы мировых войн выпуская замечательные книги. Глядя сегодня на полки книжных магазинов, понимаешь, что для книги наступили тяжелые времена, что былой синтез, образующий высокое книжное искусство, стремительно утрачивается, уступая место безвкусному китчу лакированных обложек и переплетов. И даже «одетые в кожу» фолианты книг по искусству, если это не отечественное повторение зарубежного издания (там, кажется, еще не утратили «зрения и осязания»), производят жалкое впечатление, поражая беспомощностью художественных решений, обилием орфографических и синтаксических погрешностей, полиграфической небрежностью и убожеством переплетных работ. «Мир чистогана» диктует свои правила, и создатели книги на всех этапах, от работы автора до переплетчика, всеми средствами стремятся «не выпасть из эпохи», идти с ней в ногу. Прочитав стихотворение любимого мною петербуржца Александра Кушнера, возводящее эти соображения на высокий поэтический уровень:

...В последний раз вы молитесь теперь.

Тютчев

Все роскошнее выглядят книги,
 Неподъемные, вроде ларца
 Золоченого, клейма да блики.
 Обряжают вот так мертвеца.

Скоро к ним приспособят застёжки,
Скоро их запирают на замок
Станут. Праздные суперобложки,
Спесь и чванство, узор-завиток.

Ни в постель не возьмешь, ни в дорогу,
Ни в саду на скамье почитать.
Видишь: сходит на нет понемногу
Чтение; варварством дышим опять.

Все пышнее наряд, все приметней.
Расстарался издатель-дитя.
Как, вздохнув, не сказать, что в последний
Раз читаем, во мрак уходя?

* * *

Германн в пушкинской «Пиковой даме» воспринимает рассказ Томского о своей «не понтирующей» бабушке графине Анне Федотовне, знающей секрет трех карт, как сказку. Как сказку, небылицу могли бы мы со смехом и праведным негодованием отвергнуть лет 20 назад известие о том, что страна наша из «самой читающей страны в мире» вскоре превратится в страну, в которой авторитет и значение книги, «книжных людей» упадет до нижних критических отметок. Гоголь в «Мертвых душах» вывел яркий, своеобразный и прекрасно запоминающийся образ «книголюбца» — Чичиков слуга Петрушка, который находил удовлетворение не в содержании читаемых книг; его увлекал непредсказуемый результат чтения — «вот-де из букв вечно выходит какое-нибудь слово, которое иной раз черт знает что и значит». «Функциональная неграмотность» — такой вердикт социологов вынесен в нынешней России почти половине населения (46 %), проживающей весь год без прочтения хотя бы единственной книги (инструкции по эксплуатации бытовой техники и правила противопожарной безопасности не в счет). Сегодня отечественный читатель весьма близок гоголевскому герою — утратив навык регулярного чтения, он, подобно Петрушке, если читает, то только в стремлении узнать, что же получится в конце чтения. И метаморфоза эта произошла на глазах и памяти еще достаточно молодых людей...

* * *

Наш знакомый Р. — весьма преуспевающий бизнесмен со всеми прилагающимися к этому состоянию атрибутами: собственным делом, в котором ему нет в городе конкурентов, с автомобилями, роскошным офисом, облуженным однажды столичными киношниками для съемок каких-то эпизодов фильма «из современной русской жизни». Человеку со стороны, поверхностному наблюдателю может показаться, что он имеет дело с чудаковатым нуворишем — помогает детским домам, опекает авторов-горемык и дает деньги

на публикацию их опусов, финансирует какие-то издательские проекты, религиозные мероприятия и т. д. и т. п.

Первое же близкое общение с этим радушным, по-старорусски хлебосольным и гостеприимным человеком заставляет задуматься над его «странностями» и понять, что для него, своеобразной белой вороны русского делового мира, «главная престижная ценность не закреплена за деньгами». Это обнаруживается в тот момент, когда Р. начинает говорить о своем небольшом собрании старинных книг и показывать его.

Эти книги являют разительный контраст с лакированной краснодеревной обстановкой делового кабинета успешного предпринимателя. Покоробленные переплетные доски со сморщившейся, местами потрескавшейся и даже совсем порванной кожей, разбитые временем и человеческим небрежением книжные блоки, отстающие от них корешки, обнажающие мощную, как спина тяжелоатлета с напряженными мышцами, старинную шивку книжных тетрадей «на жгутах», ветхая пожелтевшая и закапанная свечным воском бумага, на которой на просвет видны диковинные изображения-филигранны — все это кажется неуместным, инородным, чужим среди полированных столов для деловых совещаний, телефонных аппаратов, факсов, компьютеров и принтеров, наградных и благодарственных грамот на стенах. Но хозяин, любовно оглаживая, как породистых скаковых лошадей, свои книжные сокровища, начинает говорить удивительнейшие вещи...

Оказывается, что он — из старообрядческой семьи, родился в селении, где все отрицали «Никоновы новины», придерживались «веры отцов и правдедов» (удивительно соединение в одном слове понятий о предках и правде! О великий, могучий!). И, конечно, ежевечернее чтение: Псалтири, житий святых из Пролога, поучений отцов церкви и особо среди них — Слов Иоанна Златоуста... Первейшим предметом домашнего обихода были старинные книги — по ним служили в избах церковную службу, венчали брачующихся, отпевали умерших; по ним же, водя по строкам деревянной указкой из лучины, обучали детей грамоте. Часто в прежние времена случалось так, что ребенок из старообрядческой семьи приходил в светскую советскую школу и считался неграмотным, хотя церковнославянский текст читал легко, с выражением и пониманием. «Дак ведь тятенька учил меня по Псалтири! А по-советски я неграмотный!» Р. был одним из таких детей.

* * *

Быть старообрядцем — значит необычайно высоко чтить авторитет книги. Старообрядцы не просто единственная категория русского населения Сибири, которая бережно хранит «древние книги», передавая их и заключенные в них мысли, чувства, знания из поколения в поколение; они — единственные, кто упорно продолжают от руки переписывать книги, переплетать их в надежные кожано-деревянные переплеты, поддерживая тем существование своеобразных средневековых скрипториев — мастерских по изготовлению книг (и это — на пятом столетии существования на Руси типографского печатного станка!). Старообрядцы — единственные, кто сумел сохранить типично средневековые отношения человека и книги.

Много десятилетий имея дело со старообрядцами и их книгами, удивляешься тому, что в их среде, кажется, нетрудно прослыть книгоцеем и книжным знатоком. Но необычайно редко встречаешь старообрядца, у которого множество личных книг; обычно тех, которые держат у себя в доме, которые читаются ежедневно — две-три, много — пять книг. Всю жизнь читает пять книг, но — книгоцёй! Беседуешь с ним — действительно, многомудрый собеседник с живыми до глубокой старости глазами и богатейшей речью, которую все реже и реже встречаешь в обыденной жизни.

— Да какие книги? Мы малограмотные, почитываем вот Псалтирь да Евангелие, по праздникам — сборничок письменной, в нем поучения и слова из Пролога — еще от тятиного отца остался, сам его и переписывал...

Две-три книги могут всю жизнь окормлять духовно? Тогда какого же невысказанного уровня духовности достигли сегодня мы, имеющие дома сотни и сотни книг — часто повернуться невозможно из-за них?

Оказывается, дело не в количестве книг, а в способе чтения.

Сегодня мы берем новую книгу и, «проработав» ее, ставим на полку — всю нужную информацию (в том числе и духовно-эмоциональную) мы вычерпали из этой книги — вычерпали, и неизвестно, когда и для чего снова снимем ее с полки; вполне может быть, возьмем ее для того, чтобы освободить место для другой подобной книги.

Можно возразить против такого понимания современного процесса чтения и привести в пример любые любимые книги (классику, например, поэзию), к которым обращаемся многократно. Но многократное обращение к любимой книге (речь не о подручном повседневном справочнике, а о книге, о которой думаешь как о дорогом тебе человеке!) таит в себе, как кажется, чудом и только локально сохранившийся реликт именно средневекового отношения к книге.

Такое отношение к книге и чтению подразумевает не получение «новой информации» — какая может быть «новая информация» в книге, которая содержит вечные, неизменяемые Божественные истины, истины, дающие истинный смысл земному человеческому существованию и приготавливающие его к вечной жизни?! Это содержание твердо усваивается с первых разумных шагов по жизни.

Тогда в чем же в таком случае смысл чтения, где та необходимая новизна чувств, мыслей, знаний, которая притягивает человека к книге и которая заставляет его каждый день ждать и жаждать встречи с ней? И в этой связи вспоминается трогательнейшая в своей наивности и потрясающая до глубины души своей человечностью и твердостью единожды и навсегда сделанного выбора надпись на одной из сибирских рукописных книг: *«Доживу ли я до будущего года, буду ли читать эту книгу?»*

Нет-нет, не получение новых сведений, новой информации. Новая информация — в жизни человека, в каждом прожитом им дне. И эту «новую информацию», получаемую с каждым днем жизни, человек несет к книге с ее вечными истинами. Ею, ее неизменяемыми и незыблемыми, неподвластными времени мерками измеряет он каждый свой прожитый день, свою земную жизнь. Книжная «информация» становится критерием Добра и Зла, нравственным ориентиром человека, мерилом его личности, его дел, его жизни...



И читает такую книгу человек, понимающий, что это не просто чтение, и не чтение вовсе в нашем нынешнем представлении — человек из священного сосуда под названием Книга извлекает Слово — ту Божественную субстанцию, при помощи которой сотворен мир, все сущее, сам человек. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Быт., 1, 3); «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово» (Иоанн, 1, 1).

Надеюсь, что тот же порыв к самопознанию и в феномене нынешнего нашего обращения к давно читанным книгам. Мы меняемся с течением времени, и нам, может быть и неосознанно, важно определить, измерить «уровень» своего изменения, своего роста или падения с момента последнего прочтения той или иной книги. Кажется, что здесь тот же средневековый тип связи человека с книгой.

* * *

Человеку средневековья и позднейших времен книга является в разных ипостасях: она — «очи духовные», «разумное видение», «податель добродетели», «улада знания», «кормчий в путешествии по морю житейскому», «мудрый наставник» — такие эпитеты прилагают люди к книге. Чтение же служит главным средством их духовно-нравственного совершенствования; оно, это чтение, является проводником Царства Божьего как царства духовного в мирское устроение. «Господь созда Премудрость и даст ю любящим ея, да прилежат прочитанию. Василий Великий рече: “Аще кто очистит сердце от земнаго мудрования, на таковых белых сердцах, яко на хартиях, Святыи Дух напишет догмат святых словеса”...» — пишется в старинном рукописном фолианте, в большой композиции, посвященной книгам и их «почитанию». А в заключение совет: «Вот и нужно часто Писание прочитати и заповеди Христовы исполняти». Чтение для людей прошлого оказывается непреложной частью главных христианских правил.

* * *

Книга в жизни русского человека, пришедшего осваивать сибирские просторы, зачастую занимает едва ли не главное место — она выполняет роль духовного окормителя. Внушительная коллекция рукописных и старопечатных книг средневековой традиции, имевших хождение в Сибири на протяжении нескольких веков, собрана в ГПНТБ СО РАН — сибирской академической библиотеке. Русские люди с XVI века осваивали восточные территории, и при отсутствии священства, в обстоятельствах сурового сибирского бытия оказалось, что книга брала на себя обязанность поддерживать дух человека и разделять его радости и заботы. В связи с этим в сибирских рукописях средневековой традиции часто уделяют особое внимание описанию самого акта чтения. Здесь сибиряки следуют обычаям и приемам древнерусских книжников, хорошо известным по книгам «Измарагд» (греческий драгоценный камень смарагд), «Златая цепь», «Маргарит» (по-гречески — «жемчужины») — литературным сборникам для «душеполезного чтения», многочисленным учительным сборникам. Это превосходные, исполненные в

жанре классических аллегорий «этюды» о чтении как абсолютной ценности бытия.

В начале XVIII века составляется в Сибири огромный рукописный фолиант под названием «Цветник», где мы обнаруживаем новый вариант известной в древнерусской книжной традиции аллегории: чтение — рай:

Сладостен убо цветник и рай — много же сладостнее книжное почитание и разум: тамо убо цветы увядающе, zde же — разумения возрастаема, тамо зефир дыша, zde же — духовно прохлаждение; тамо терние заграждающее, zde же — Божий промысл утверждающий; тамо щурове поюще, zde же пророцы воспевающе; тамо — красование от зрения, zde же — польза от прочитания. Рай на едином есть месте — писания же всюду по вселенней. Рай работает временным нуждам — писания же и в зиму и в жатву растят листие, тязжуще плоды — внимаем убо книжному прочитанию.

Это Слово дает ответ на поставленный в рукописи вопрос: «Что есть существо Писания и что приносит человеку пользу».

В другой рукописи составитель и переписчик, рассуждая на тему «Какая причина того, что все единое Писание читают, а врозь толкуют», дает собственное поучение, в котором создает свою аллессию чтения как приобщения к Священному Писанию в греховном мире, облеченное к тому же в форму стихов-вишней:

Знанию Святаго Писания несть края,
 А Святое Писание много сладчайши рая.
 А особенно ныне со слезами нужно тое прочитати
 И прелесть Антихристову познавати.
 Видите ли како вси на мирскую жизнь прельстились,
 Антихристу яко Богу поклонились.
 ...Аще бы жили со святым согласно,
 Тогда бы и Писание нам казалось ясно.
 А мы ныне Писание читаем,
 Токмо людей поучаем,
 А Церковь на части яко звери раздираем.

* * *

Чтение сибиряка прошлых времен, сохранившего средневековой принцип отношения к книге, — это попытка гармонизировать свои отношения и с «миром земным», и с «миром божественных существей». А образ этого идеального мироустройства складывается в процессе освоения той культурной традиции, того культурного опыта духовных предшественников, который кумулируется исключительно в книгах.

* * *

Р. говорит: «Я никогда не собирал книг — книги всегда сами ко мне приходили. Вот эти — от моих родителей, вот эта — от сестры, а вот эту мне

подарил Пётр Авксентьевич, наш сосед по деревне. Мне часто снятся книги — огромные, мудрые — поскольку мои предки постоянно читали их, без этого у них не мог пройти ни будний, ни тем более праздничный или воскресный день. Лет 30 видел я во сне то, что сегодня вижу наяву у себя на полках: книги, вместившие жизнь и мудрость моих предков — родителей, дедов и прадедов. Их жизни — долгие, трудные, наполненные тяжким каждодневным трудом “ради хлеба насущного” — поэтому и книги толстые, тяжелые, многомудрые.

И рядом с этим сном всегда соседствует другой: я плыву по реке — медленно и радостно, и двигаюсь легко, будто нет у моего тела никакой тяжести, нет веса. Восторг охватывает мою душу... Какая-то неземная радость захлестывает все мое существо».

«Боже правый, — думаю я, — да ведь эти сны видели и Лаврентий, один из первых составителей русской летописи, и собиратель Изборника князя Святослава 1076 года! А тут — человек, казалось бы, самых земных устремлений, но имеющий глубокие традиционные корни, осознанные с детства и впоследствии сохраненные, оказывается единомышленником древнерусских книжников!» Образ мудрости, заключенной в книге, с древнейших времен олицетворялся речным потоком — таким же полноводным, бесконечным, держащим на себе человека!

Вот что древнерусский книжник Лаврентий пишет в своем пергаменном фолианте:

Велика бывает польза от учения книжного; книги научают нас и наставляют на пути покаяния, потому что мудрость обретаем и воздержание в словах книжных. Книги — это реки, напоющие вселенную, это источники мудрости — ведь в книгах неизмеримая глубина; книгами мы в печали утешаемся; они — узда воздержания... Если поищешь в книгах мудрости прилежно, то найдешь великую пользу для души своей (Повесть временных лет, 1037 год).

А составитель Изборника князя Святослава начинает его полным поэзией «Словом некоего калугера о чтении книг»:

Добро есть, братие, почитание книжное... Узда коню правитель есть и воздержание; праведнику же — книги. Не составится корабль без гвоздя, ни праведник — без почитания книжного... Красота воину — оружие, и кораблю — ветрила; тако и праведнику — почитание книжное.

Сибирские старообрядцы до сих пор почитают книгу, как почитали ее в Древней Руси.

* * *

Расхожее ныне понятие «редкие книги» представляется мне неглубоким, годным только для самой грубой, приблизительной классификации книжных явлений прошлого и настоящего. Еще в 60-е годы ушедшего века, начиная

собирать «редкие книги» для огромной сибирской академической библиотеки, задался вопросом: а что же это такое — «редкие книги»? Что так упорно поколениями собирали библиофилы, коллекционеры, библиотекари? Что хранится в самых труднодоступных библиотечных помещениях, гордо именуемых «отделами редких книг»?

Обратимся к справочнику. Н. Б. (Николай Березин-Ширяев), «Русские книжные редкости. Опыт библиографического описания редких книг с указанием их ценности», Москва, 1902. В двух выпусках. Самое издание — тоже большая редкость, найти не сумел, пользуясь лейпцигским переизданием 1973 г., выбираю очевиднейшие курьезы.

«Фирсов Н. Н. Политическое и финансовое значение колонизационной деятельности Ивана Ивановича Неплюева». Казань, 1893. Отпечатана в количестве 30 экземпляров.

Конечно же, интересно знать, кто такой «колонизатор» Иван Иванович Неплюев, в чем политическая и финансовая суть и значение для нас его деятельности, о которой поведено в Казани, но естественно закрадывается в душу сомнение, что все это — «в превосходных степенях». Иначе почему так негромко и вкрадчиво — всего в 30 экземплярах — сообщается об этом значении? Явление явно не мирового масштаба. Редкая книга — для избранных; 30 экземпляров — судьбу каждого легко проконтролировать, легко устроить, чтобы попали эти 30 в руки надежных людей, могущих по достоинству оценить и политическое, и финансовое значение деятельности И. И. Неплюева.

«В память столетия оренбургского магометанского духовного собрания, учрежденного в городе Уфе». СПб., 1892. Редка — отпечатано 15 экз.

Небольшое же было это духовное собрание, если за столетнюю историю его сумели обойтись пятнадцатью экземплярами...

«Дуриков А. Заметка о равнении кавалерии». Варшава, 1892. Отпечатана в количестве 34 экземпляров.

Не очень-то образцовое будет равнение, если 34 экземпляра не читали вслух поэскадронно. Подумаешь — и поймешь, что в русской армии такое занятие немного отдаёт сюрреализмом.

Глядя на описания таких и им подобных редких книг, хотелось придумать образ современной книги, которая будет цениться как редкая. И мы придумали. Наверняка, думалось в 60-х годах, в будущем веке чрезвычайно редкой книгой будет примерно такая: «Инструкция по тушению пожара на подводной лодке». Тираж не может быть большим — должен быть кратным числу имеющихся подводных лодок, поэтому, свято храня военную тайну, его никогда не укажут. Издание будет труднодоступно, редко и вожделенно для коллекционеров-собирателей — обязательно на обложке будет значиться что-нибудь подобное: «Для служебного пользования», «Продаже не подлежит», «Из части не выносить». Конечно же, редкая книга!

Ну а хотелось бы иметь такую книгу в библиотеке? А кому? Пожарным — для сравнения, сопоставления их сухопутного опыта с морским? А зачем? Пусть их библиотека (есть ли она? наверное, да) позаботится об этом, что же им еще делать?

Да, кажется, редкость книги — качество, которое могут по достоинству оценить лишь немногие, в первую очередь коллекционеры-библиоманы.

Но ведь не за это качество любили книгу наши предки, не за это стремимся мы и сегодня получить в руки вожделенный том. Не редкость, а содержание — вот то качество книги, которое делает ее уникальным инструментом культуры, качество, дающее полнокровную жизнь книге. Уникальное содержание, содержание, могущее изменить человека, сделать его другим, может быть — лучшим, — вот главная задача, основная функция книги. И если книга способна изменить человека, то типографски исполненная книга может изменить как минимум такое количество людей, какой тираж указан в этой книге. А изменяя группу людей, книга меняет жизнь общества, меняет течение истории.

Поэтому более интересна не «редкая книга», а «сильная» по своему содержанию книга, меняющая людей, их взгляд на мироустройство, на свое собственное место в нем. Мы нашли определение такой книги — «книжный памятник». Он отражает время, он преломляется в сознании людей следующих поколений, он продолжает жить и работать за пределами времени своего возникновения, потому что содержание этого книжного памятника оказывается важным и востребованным и в иные эпохи. И такие книги не должны быть «редкими» — книги, меняющие людей и мир, должны быть общедоступны, они должны быть, как хлеб насущный, на каждом столе.

* * *

Да, были в прошлом безусловно редкие книги — вот радищевское «Путешествие из Петербурга в Москву», авторское издание 1790 года, ненаходимый раритет, во всем мире известный всего в семи экземплярах — редка! Но если задуматься над причиной ее редкости, станет ясно, почему она стала редкой. Содержание ее было таким возбуждающе ярким, таким общественно-опасным, что императрица соизволила начертать на полях: «Бунтовщик хуже Пугачева!» Тираж книги уничтожили, автора приговорили к смертной казни, которую заменили ссылкой в Сибирь. О «редкости» книги тогда никто даже и не подумал — обсуждалось исключительно содержание книги. И было оно, это содержание, как «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй», чревато самыми страшными общественными катаклизмами. Потому и «хуже Пугачева!» Побудка началась! А там и декабристы, которые «разбудили Герцена»... Нельзя в России никого будить, потому как — «бессмысленный и беспощадный»...

* * *

Многие современные издания в недалеком будущем станут безусловно «редкими книгами». Они редки уже сейчас, потому что основная масса серьезной литературы выпускается тиражами, выглядящими просто смешными для полуторасотмиллионной страны: 350—500, много — 1000 эк-

земляров. Наши потомки должны будут искать какие-то нетрадиционные (наверное, электронные) способы ознакомления с теми книгами, которые достать невозможно, которые будут «редкими книгами».

* * *

Послевоенная Москва, многосемейная коммунальная квартира в Третьем Самотёчном переулке. В длинном коридоре квартиры на крючках для пальто возле тяжелого черного общего телефона и рядом с невыключаемым черным же репродуктором еще висят противогазы в холщовых сумках. Меня, неразумного и непослушного дошкольника, иногда в качестве наказания за шалости бабушка или одна из теток пугают, надев противогазную маску с рифленным резиновым шлангом и дудя в нее, как в трубу. Я прекрасно знаю, что это кто-то из моих любимых и близких людей, но все равно сердце замирает от страха, и я в очередной раз обещаю быть послушным мальчиком.

Это — наказание за непослушание.

А награда за примерное поведение — это сладостное предчувствие того, как одна из теток извлечет из нижнего ящика дивана (места для этажерки или книжной полки в узкой и густозаселенной пеналообразной комнате просто не было) огромную зеленую книгу. Она вложена в футляр с полукруглыми вырезами по краям для пальцев, одета в суперобложку. Читать сам еще не умею, поэтому восторг вызывают предвкушение чтения вслух, перелистывание пахнущих совершенно по-особому плотных страниц, рассматривание чудесных картинок — они на отдельном листе каждая, и каждая же переложена желтоватым полупрозрачным листом с тисненными узорами.

Бажовская «Малахитовая шкатулка». Завораживающие сказы о вещах малоизвестных и чудесных, о горных мастерах, добывающих волшебный камень малахит, умельцах, могущих не только изваять чудесную каменную чашу, но и дерзко поставить на место собственного хозяина... Серебряное копытце, Хозяйка Медной горы, кошка Муренка, Огневушка-поскакушка, Данила-мастер.

Книга долго хранилась в бабушкином доме, пережила эпохальный переезд в отдельную квартиру с Самотёки к Тимирязевскому парку, и уже взрослым и грамотным я многократно с детским благоговением листал этот фолиант. Тогда уже мне было нетрудно установить, что это украшенное знаменитыми художниками издание, ставшее редкостью в последующие времена, напечатано было в первые послевоенные годы в счет репарации в немецкой типографии (об этом свидетельствовало малопонятное для непосвященных указание мелким шрифтом в выходных данных в конце книги: «Отпечатано в типографии М-117»), и попало оно в наше семейство только потому, что тетя Надя, средняя мамина сестра, всю жизнь проработала в книжных магазинах — сначала в Сокольниках, а затем — на улице Чакова, неподалеку от Музея восточных культур и поблизости от Спасо-Андроникова монастыря, где располагается Музей древнерусского искусства им. Андрея Рублёва.

Книжный магазин в Сокольниках в моих детских воспоминаниях — чуть ли не фанерный, с дощатым крыльцом и навесом, с огромными окнами. Но что взять с пяти-шестилетнего пацана, может ли он точно запомнить такие детали?

И тетушка Надежда, добрая и ласковая, всю жизнь работавшая с книгами, в книжных магазинах, берет меня с собой на целый день на работу — мы едем «торговать книгами»! Как радостно было ехать от Садово-Самотечной на дребезжавшем трамвае «А» и предвкушать предстоящий день в книжном окружении!

Пахнущие еще свежей типографской краской и клеем книги магнетически притягивали меня, заставляли открывать и вдыхать их острый, пряный аромат, суливший, как казалось (и верно казалось!) уже тогда, невероятные и чудные открытия!

Из-за деревянного прилавка со стеклянными витринами, где были выложены самые интересные на сегодняшний день книги, имеющиеся в продаже (остальные стояли за спиной продавца на полках), моя голова, как вспоминала много лет спустя тетушка Надежда, едва высовывалась, хотя, кажется, всегда среди сверстников считался я достаточно рослым. Тем не менее я активно рвался помочь покупателям выбрать книгу. До сих пор, спустя более 60 лет, помню, что тогдашним «бестселлером» был роман Бориса Горбатова «Донбасс»: запомнилась черно-белая картинка на верхней крышке переплета и массивные крупные буквы названия под ней.

В те нелегкие (я-то понимаю это только задним числом) послевоенные времена каждый покупающий книгу получал ее завернутой в жесткую коричневую бумагу. Я очень быстро освоил нехитрую науку заворачивания книг, так что и по сей день многие удивляются моей сноровке упаковывать книги. Это был обязательный ритуал: покупающий книгу становился уважаемым человеком — он выбрал ее, он платит за нее деньги, поэтому продавец ловко заворачивает покупку. А как же иначе — это книга, ценность иного рода, нежели хлеб с довесками, отпускаемый на весах с жестяными тарелками и двумя гусиными носиками, за которыми нужно было наблюдать, чтобы они сошлись вместе, а иначе — обман! Мы радовались, когда за прилавком оказывалась неопытная продавщица, которая к большому хлебному куску прирезала довески (а сердобольная продавщица, видя ребенка, протягивающего ей карточки на всю семью, могла специально нарезать — о счастье! — несколько маленьких кусочков), потому что довески можно было съесть — это было святое право детей, стоявших в длиннющей очереди за хлебом. Хлеб не заворачивали в бумагу, это пища телесная и «одномоментная» — сейчас она есть, а через миг исчезла. А книга — как неупиваемая чаша — пища духовная, как скатерть-самобранка — сколько ни припадай к ней, все равно накормит! Поэтому и требует она уважительного отношения, потому даже в тяжелые времена заворачивали ее в бумагу, ограждая книгу от всяких неприятностей, демонстрируя свое уважительное отношение к ней и к человеку, отдающему за нее свои деньги.



* * *

Это отношение к книге с детства было мне близко, поэтому в школе сразу стал завсегдатаем библиотеки, в старших классах был записан в три или четыре. Но школьная библиотека — особая. Небольшая комната на первом этаже, тесно уставленная стеллажами, и меня (я очень гордился этим — в классе до поры до времени ни у кого не было такой возможности!) пускали самого! к полкам! выбирать себе книги!

Право на такую привилегию я заработал самостоятельно. С детства любил мастерить что-нибудь из дерева, клеить из бумаги игрушки, в том числе и елочные, поэтому, когда попадалась в руки разбитая, истрепанная библиотечная книга, всегда старался подклеить страницы или оборванную обложку, починить переплет, используя нехитрые подручные материалы. А как иначе, ведь всеми нами хорошо была усвоена мысль о том, что библиотечная книга служит многим людям и многие годы и нужно стремиться продлить ее век, чтобы как можно больше людей могли, как и я, насладиться ее чтением. И когда библиотекарь заметила мое рвение, то стала к выбранным книгам давать другие, нуждающиеся в ремонте. Когда не стал справляться сам, привлек друзей-книголюбителей из класса, с которыми умудрились постоянно обмениваться прочитанными, в том числе и библиотечными, книгами. Лёня Петраков, Саша Шишкин, неразлучные друзья Слава Чучин и Гена Бяков (Чуча и Бяка) стали помогать, и в библиотеке образовался кружок, ремонтировавший зачитанные книги.

* * *

Когда закончил четвертый класс (это было окончание начальной школы, и жили мы уже на Урале), отец повез нас всем семейством на летние каникулы в Керчь. По пути на несколько дней остановились в Москве: любимая бабушка Агриппина Антоновна, тетушки, да и столичные соблазны всяческого рода. И я получил в подарок толстенную книгу из серии «Библиотека приключений и научной фантастики». Книги этой серии мы в те времена любили априори: достать их было чрезвычайно сложно в библиотеке, а уж увидеть в книжном магазине было вообще невозможно. Вожделенная «Библиотека приключений»! Переплет из красной материи, украшенный золоченым тисненым рисунком — по краю орнаментальная рамка, внутри которой маленькие разнообразные рисунки — атрибуты приключений: ракета, летящая к Луне, накрененный воздушный шар-монгольфьер, кит, выпускающий фонтан воды, парусник, самолет, вулкан, низвергающий лаву, пальмы на берегу моря на фоне гор, пирога под парусом, две скрещенные сабли, развевающийся флаг, чайка над морем. В центре четыре фигуры в старинных воинских нарядах, в шляпах с перьями скачут на конях по старинному мосту. Фигуры четыре, а название — «Три мушкетера». Странно...

Так впервые попала мне в руки книга Александра Дюма.

Она буквально захватила меня, полностью и накрепко на долгие годы привязала к себе. Я не помню ни Керчи, ни Старого Карантина, где мы провели целый месяц, ни моря, ни крепости — я запоем читал о трех мушкетерах

и их молодом товарище, восхищаясь героями, их ловкостью, отвагой, готовностью пожертвовать собой ради друзей, радуясь их победам и огорчаясь их временными неудачами, втайне и не без оснований надеясь, что в конце концов смелые герои преодолеют судьбу и она опять будет к ним благосклонна. Я доходил до конца книги и тотчас начинал чтение снова, с первой страницы, вновь погружаясь в завораживающий мир. За месяц прочел книгу целиком семь или восемь раз.

С тех пор в моих руках побывало множество изданий замечательного, лучшего, наверное, романа Александра Дюма, даже видел (правда, только на картинке в каталоге) двухтомное издание в переплете натуральной кожи, выпущенное тиражом 55 (!) экземпляров и украшенное серебряными медальонами и самоцветами (уж не с подвесок ли королевы «издатель-дитя» позаимствовал эти самоцветы в надежде вызвать дух героев романа?). Цену такого экземпляра называют только в специальном телефонном разговоре с издательством.

Очень жалею, что не сумел сохранить свое первое издание, украшенное рисунками Ивана Кускова. Со временем удалось найти такое же, но на обороте титульного листа указано: «Переиздание». Но рисунки, оформление, кажется, даже верстка — те, что были в моем издании, только толщина тома поменьше (хотя бумага желтоватая, но потоньше) да на титуле стоит 1974 год. Конечно, даже оно, которое моложе моего на двадцать лет, мне много дороже двухтомного кожаного и самоцветного...

* * *

Я всегда по-особенному относился к книге, к библиотеке — месту, где книги собираются в большом количестве. Любил рыться в книгах, подбирая нужные книги в домашнюю библиотеку, умел (и любил) заниматься в публичных библиотеках, где в тихих читальных залах воочию наблюдаешь процесс материализации человеческой мысли из знаков письменности...

Конечно, библиотека — совершенно особое явление в человеческой жизни. О ней сказано много хороших слов — еще бы, многие значительные свершения человеческой истории, достижения человеческой культуры стали возможны лишь благодаря книге, библиотеке. Я полностью согласен со всеми своими предшественниками, которые видели в библиотеке «залог человеческого прогресса», «сокровищницу знаний»... Но для меня библиотека — это не столько собрание отдельных стопок бумаги, покрытой знаками письменности, скрепленных в книжный блок и в определенном порядке расставленных на полки. Библиотека в первую очередь это сонм человеческих душ, потому что каждая книга заключает в себе живую душу своего автора. Любая книга, будь то книга художественная, научная или техническая, запечатлевает большую или меньшую часть души автора. И эта самая человеческая душа, облеченная в книжную форму, «перелитая» в книгу, вступает в диалог с читателем. И неважно, что, может быть, самого автора уже нет на белом свете — его духовная частица, запечатленная в книге, продолжает существовать независимо от телесной оболочки, вступая в диалог с другой человеческой душой — душой читателя. Слово, закрепленное в книге, не ис-

чезает, оно продолжает общаться с людьми. И мне кажется, что всегда столь соблазнительная для человечества идея личного бессмертия лучше и нагляднее всего реализуется именно в книге. Наверное, именно в силу понимания такого свойства книги она бережно сохраняется людьми и оказывается несравнимо долговечнее человека. Живая душа человека, перешедшая в книгу, продолжает свое существование в веках. Величайшее таинство свершается в тот момент, когда читатель открывает книгу и своим духом воскрешает к жизни дух автора, заключенный в ней.

Великое таинство этого особенно ощутимо, когда ты находишься в здании, где 14 000 000 книг (а именно столько их хранится ныне в академической библиотеке в Новосибирске) и каждодневно сотни читателей могут вызвать к жизни миллионы человеческих душ, миллионы личностей, запечатлевших себя в книжной форме. Может быть, величие этого каждодневного таинства — причина того, что жизнь свою я провожу в библиотеке...

* * *

В детстве я читал совершенно замечательные произведения. Многие сегодня найти почти невозможно. Конечно, роман Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» популярен среди детей и сегодня, но вот замечательной книги моего детства, книги натуралиста Николая Верзилина «По следам Робинзона», я найти сегодня не могу. А так хотелось бы, чтобы мои внуки тоже прочли ее! Я любил ее за то, что там подробно, любовно и точно были описаны окружающие нас растения, рассказывалось, какие из них можно употреблять в пищу, из каких можно сплести веревку, описывались методы ориентирования в лесу без компаса и еще масса всего, что может быть интересно и полезно мальчишке во все времена. Эта книга в школьной библиотеке пользовалась ажиотажным спросом, за ней стояли в очереди, и я был безумно счастлив, когда родители подарили ее мне...

* * *

Сейчас на моем рабочем столе несколько книг. Они не такие старинные, как древнерусские рукописи или старопечатные издания. В общем их называют книгами гражданской печати XVIII века. Гражданская печать — это печать теми литерами, которые были введены в русский обиход в начале XVIII века после реформы алфавита и графики букв, проведенной по инициативе императора Петра Первого. Известно, что Пётр собственноручно правил русскую кириллическую азбуку, заботясь, чтобы и «буквы надели гражданское платье». А после этого хлынул поток книг, предназначенных уже не только для высокообразованной верхушки общества. И это были замечательные книги! Вот отрывки, извлеченные только из двух, но в них, как мне кажется, прекрасно запечатлелся дух времени, дух эпохи. Прикоснитесь к этому духу через книжное слово...

Путешествие около света капитана Кука и жизнь его. Новое издание, с прибавлением подробного описания острова Отаити, обозрение всех вообще

Американских областей и самых новых известий об островах между Камчаткою и материком Америки, и о нравах, обрядах, жилищах и промыслах обитающих там народов. Изд. П.Б. В Санктпетербурге 1792 года. Печ. и прод. по Невск. Перспективе у Аничковского мосту, в доме г. Зубова, по 2 р.

...29 Марта около 21 степени долготы открыли мы неизвестной остров, коего берега были наполнены многочисленным народом, состоявшим из людей статных и пригожих, вооруженных деревянными копьями и луками. Двое из них приблизились к нам без опасения в лодке. Г. Кук показывал им различные подарки и всячески старался к себе их привлечь, но тщетно...

...Два офицеры вместе с Омаем решили принять их предложение, особливо когда увидели, что все собравшиеся на берегу имели в руках зеленые ветви, явный знак миролюбия и приязни...

...Многие другие приплыли к нашему боту и привезли нам кокосовых орехов, плантейнов, бананов и шедиков — род Индейских плодов величиною и вкусом подобных апельсинам...

...14-го Апреля пристали к необитаемому острову Пальмерстону, открытому г. Куком во время бывшего пред сим его путешествия...

...Начальник селения был человек лет средних, хорошаго стана и коего вид возвещал, что он имеет довольно разума. Г. Кук подарил его топором и надел ему на шею бисерное ожерелье, после чего он приказал, чтоб снабдили нас съестными припасами, и тотчас нанесли нам свинины, кур, так называемаго хлебнаго плода, плантенгов, пизингов, кокосовых орехов, ямовых кореньев и различных других припасов в великом изобилии. Г. Кук пригласил Начальника селения на свой корабль и велел пред ним играть на трубах и бить при флейтах в барабаны. Сей Начальник диких слушал все с удовольствием, но с некоторым важным видом, и совсем отличным от других, которые от удивления плескали над головами в ладони...

...Г. Кук старался тогда узнать, за что убиты были жители Новой Зеландии девять человек. Они рассказали охотно ему, каким образом все сие происходило, и что сие произшествие кончилось тем, что они съели побежденных...

Путешествие разума в европейския области. Переведено с Французскаго языка. Иждивением Н. Новикова и Компании. В Москве, в Университетской Типографии, у Н. Новикова, 1783 года.

...Сие сочинение не критикою, но истиною написано. Примечания, кои делает Разум под именем Люцидора, были б невкусны, ежели б они предметом имели одне только похвалы. Нет ни одной географической книги, которая бы, говоря о различных народах, не сказала, что одни суть ленивы, другие мстительны, сии ветрены, те лукавы, потому что нет народа без пороков. Истина по большей части находится между панегириком и сатирою...

...Жители какой-нибудь страны, а наипаче малых городов, хотят, чтоб о их природном месте говорили не иначе, как для прославления онаго; таково есть действие безразуднаго самолюбия. Но надлежит ли истощать похвалы без всякаго разбору, дабы угодить гордости или предразсудку?..

...Большая часть книг для читателей бесполезна; они не перестают привязаны быть к общим мнениям, к народным предрассудкам вместо того, чтоб держаться только истины. Всегда почти единое предрассуждение почит или похваляет какое-нибудь сочинение...

...Он нашел нескольких ученых мужей, любящих Антипатию, которые углублялись в книгах in folio. Они провожали дни и ночи в выписывании из оных и составлении сочинений не меньше скучных, как и продолжительных. Мало есть писателей, которые бы знали искусство сочинять книгу. Одни наполняют ее важным вздором, а другие ветреными мыслями. Всякой пишет так, как он с природы расположен...

* * *

Сегодня широко распространено мнение, что книга в своем традиционном виде изживает себя, на смену ей должна прийти иная книга, более современная, например электронная.

Действительно, значительное количество информации современный человек может получать не через книгу, а другими путями: телевидение, Интернет и т. д. И некоторые предпочитают эти пути книге.

Однако существующая тысячелетия книга в форме кодекса — стопы писчего материала, скрепленного определенным образом, обеспечивающим твердый порядок следования текста, оказывается настолько простым и совершенным, неизменяемым веками (иными словами — гениальным) творением, что у меня есть сильные сомнения в правоте оппонентов книги в традиционной ее форме.

Книга — это гениальное изобретение человека, эта форма органично соответствует человеческому способу интеллектуальной работы. Она, как и колесо, ложка, молоток, совершенна в своей простоте и функциональности, и поэтому, я думаю, книга не скоро изживет себя.



Екатерина КЛИМАКОВА

«РАДИ НАШЕГО СПАСЕНИЯ»

Куняев С. Николай Ключев. — М.: Молодая гвардия, 2014. — 647 с. —
(Жизнь замечательных людей: сер. биограф.; вып. 1490).

Эту книгу нельзя просто прочесть, с ней нельзя встретиться как с одной из множества книг. Появившись в жизни читателя, она, вероятно, захлестнет его подобно цунами. Книга С. С. Куняева страшна и огромна. Она похожа на изложение мифологической истории от сотворения мира до наших дней. Она открывается словами: «Крик. Крик — и холод...» И читатель остается один на один с космической тьмой, свидетель рождения. И неважно, что или кто именно рождается в описанной истории — мир ли, Христос ли, поэт ли Николай Ключев или сам читатель...

За коротким введением следует фрагмент автобиографии поэта, похожий на старинное сказание: «Я родился, то шибко кричал, а чтоб до попа не помер, так бабушка Соломонида окрестила меня в хлебной квашонке. А маменька-родитель родила меня, сама не помнила когда...» После этих слов от чтения уже тяжело оторваться, книга захватывает и несет, как глубокая равнинная река — не быстро, но надежно, между берегом живых и берегом мертвых, связывая эти берега. В основное повествование вплетаются, словно сны о прошлом, слова самого Николая Ключева, звучат почти как заговор: «Как сквозь сон помню, поскольку ребяческий разум крепок, приходила к нам из

Лексинских скитов старица в каптыре, с железной панагией на персях, отца моего Митрия в правоверии утверждать и гостила у нас долго... Вот от этой старицы и живет памятование, будто род наш от Аввакумова кореня повелся».

Автор книги, внимательно, бережно и трепетно обращаясь с фактами и различными источниками, ищет ответы на вопросы о биографии и мировоззрении поэта, неустанно сопоставляет документы и воспоминания. И каждый раз он как будто приглашает читателя рассуждать вместе с ним. Увлекает автора и символика, которой обильно украшена судьба Николая Ключева. С. Куняев обнаруживает, что факты истории складываются в причудливые, удивительные узоры — картинки староверческой, «поддонной» «Невидимой России»: «На Русском Севере хранился обряд перепечения — плачущего или болеющего ребенка трижды засовывали в теплую русскую печь... после чего ребенок считается как бы заново родившимся... Для Ключева это крещение имело особый смысл — через погружение во хлеб свершилось его приобщение к плоти Христовой, ибо Христос — “Хлеб жизни”, по Евангелию от Иоанна». Описание староверческого мира у С. Куняева не просто присутствует, он пытается проникнуть в мировоззрение его пред-

ставителя, он открывает этот неведомый мир читателю: «Для старовера сожжение Аввакума... — это не история. В контексте Большого Времени, вбирающего в себя микрокосм отрезка в человеческую жизнь, — это все было вчера».

С. Куняев пишет: «Олонецкая губерния оставалась своего рода чудодейственным краем... В. Копятеквич писал в “Известиях Общества изучения Олонецкой губернии” уже в 1914 году: “Олонецкий край... дорог в особенности тем, что в нем... много еще таких уголков, живя где чувствуешь себя перенесенным на несколько столетий назад...”». Следом он приводит фрагмент из работы современного исследователя Б. Кокорина о «старообрядческом понимании жизни» и делает вывод: «Так обстоит дело сейчас — так же оно обстоит и сто, и более лет назад... когда в моленную превращалась не только крестьянская изба, но и опушка леса или берег реки, когда весь окружающий русский мир мнился храмом старого обряда». Это обращение к современному человеку, для которого и затеяна эта книга.

Автора биографии увлекает поэтичность, которую сам Ключев придавал своей личной истории, при этом он резонно и рационально отмечает: «Принято думать, что поздние рассказы Ключева о себе насквозь мифологизированы и фактическая подоснова их крайне незначительна. Утверждать подобное можно, лишь предъявив документальные свидетельства. А поскольку их нет и, по хорошему говоря, им неоткуда взяться, остается лишь со вниманием выслушать самого поэта». И чуть позже: «Под ключевский рассказ о Соловках можно заснуть сказочным сном, не желая просыпаться. Это не столько жизнь — сколько житие. Соблазн, конечно, есть — попытаться, используя “косвенные данные”, “разоблачить” поэта. Но благодарному слушателю воздастся большим». Мифологические сказания Ключева С. Ку-

няев кропотливо соотносит с фактами: «Старица из Лексинских скитов, запомнившаяся Ключеву по рассказам матери, — пришелица из Пречестной обители девственных лиц Честного и Животворящего Креста Господня, беспоповской обители, основанной в 1706 году недалеко от Выговской пустыни, что на берегу Лексы в Олонецкой губернии».

В мифологический контекст входит и революция. С. Куняев пишет: «...Поэтический дебют совпал с дебютом революционным... Ключев... мечтал о революции, творимой “всевыносящим народом”, который “факел свободы зажжет”, и исчезнет “кошмар самовластья”, и земля, и леса станут Божьими...» «В то же самое время в интеллигентской среде расцвели пышным цветом “богоискательские”... тенденции. “Революционный раж” прекрасно сочетался и с распространившейся модой на старообрядчество, на сектантство...»

С. Куняев опровергает адресуемые Ключеву обвинения в приверженности к стилизации и нарочитой архаичности языка. Он доверительно делится с читателем своей внезапной догадкой: «Поведение Ключева мне... стало понятно, когда я познакомился с... писателем-историком Дмитрием Балашовым, как никто умевшим своим пером ухватить суть... XIV—XV веков. Все знавшие его помнят: он появлялся исключительно в расшитой косоворотке, шароварах и смазных сапогах. И никому в голову не приходило усмотреть в этом какой-либо маскарад. Наоборот — неизгладимое впечатление производила абсолютная органика в каждом его движении, слове, детали костюма. Казалось, что он пришел *оттуда* (курсив С. Куняева. — Е. К.), где пребывает и общается с давно ушедшими из земного мира... Появился ненадолго, по необходимости, чтобы потом снова нырнуть в бездонные глубины, уйти за туманную дымку времени...»

Констатируя посредственность ранних стихов Клюева, автор демонстрирует последовательное усложнение его поэтики. С. Куняев убежден: «...былинный стих Клюева начинает обретать вселенский размах, повествование выходит за пределы милой опушки, родного бора, деревни-матери... Оживают древние природные стихии...» Он провозглашает выход поэзии Клюева за пределы литературы, но не включает ее ни в какой новый класс явлений.

Рассматриваются в книге С. Куняева и отношения Клюева с современниками: Л. Толстым, Д. Мережковским и др. Например, о встрече с А. Мариенгофом написано: «Прочел Клюев “Роман без вранья”. Прочел — и при случайной встрече в ответ на протянутую руку заложил обе свои за спину. “Страшно”, — произнес. Натурального мелкого бесенка перед собой узрел». Много внимания С. Куняев уделяет анализу психологической и философской сути отношений Клюева с А. Блоком и С. Есениным.

Утверждая и демонстрируя влияние «крестьянина» Клюева на «барина» Блока, автор книги как будто на время сам становится главным героем своего повествования — он словно бы вживается в роль Клюева, иногда даже будто бы воспроизводит его внутренний голос. Страницы книги, посвященные переписке и общению Клюева с Блоком, написаны горячо, будто в строках С. Куняева воплотился весь жар и вся боль тех слов, которые некогда поэты адресовали друг другу: «Он пытается передать Блоку самое сокровенное, а в ответ читает то, что потом пойдет за ним черной тенью»; «Клюев сам на распутье» и т. д. Даже когда читаешь высказывание С. Куняева о Блоке, думается, будто бы и эта мысль могла бы быть позаимствована автором книги «из головы» Клюева — настолько близок, дорог и понятен автору его герой: «И Блок, для которого жизненно важен диалог с Клюевым в этот период, Блок,

знающий цену любому... слову, принимает как должное и этот упрек Клюева, и следующий, еще более болезненный...»

Не менее драматично описываются взаимоотношения Клюева и Есенина, привлекается колоссальное количество материалов, свидетельствующих о сути их полемики и влиянии Клюева на Есенина. Рассмотрению этих вопросов посвящена значительная часть биографического исследования. Poleмика с Есениным также подана, как кажется, сквозь призму клюевского взгляда, каким он предположительно мог бы быть. Например, С. Куняев пишет: «Если бы рядом с Есениным — представим себе такую абсолютно невозможную ситуацию — не было бы Клюева и он... поддался бы на “заманки” Маяковского и пошел бы за ним — он бы погиб как поэт». Сотней страниц ниже автор приходит к выводу, в котором соглашается с есенинской оценкой Клюева как «только изографа, но не открывателя». Он пишет: «Беря из Клюева, можно сказать, горстями, используя читанное у него и слышанное от него, Есенин жестко отодвигает своего учителя в прошлое, в пространство “слепоты нерождения”».

Клюев чувствовал духовное родство с Есениным, он писал: «Где же больше правда (в суждении о погоде. — Е. К.), в градуснике или в голубе? Я и Сергей веруем в голубя». С. Куняев приводит текст, который Клюев написал на фотокарточке Есенину: «Сергею Есенину. Прекраснейшему из сынов крещеного царства, моему красному солнышку...» Однако под «народной» составляющей поэзии Клюев и Есенин понимали все же разное: Есенин интересовал современный голос народа, Клюева влекли голоса мифологического безвременья. Описывая ночь гибели Есенина, С. Куняев приводит цитату: «Прогнав всех от себя, Есенин уговаривал Клюева остаться у него на ночь. Клюев понял, что Есенин что-то замышляет, и сказал ему: “Делай,

что задумал, но скорее». Сам же ушел, так как знал, что с Есениным кончено». Автор книги не стремится в этой истории расставить точки над «и» — сделать это, вероятно, уже невозможно. Повествование С. Куняева интересно множеством деталей, которые он по крупицам собирал в письмах, дневниках и воспоминаниях участников событий.

Когда в своем изложении биографии Ключева автор приближается к развязке, сквозь строки вновь начинают проступать два страшных первых слова: «Крик — и холод...» Сначала — «холод»: «Настроенное меняется под стать дуновению холодного ветра. Холод и страх поселяются в душе, осень за окном напоминает о скором скончании дней». Потом — «крик»: «Сорвана пелена забвения с его имени и его стихов... Ради нашей духовной и душевной крепости. Ради нашего просветления. Ради нашего спасения, наконец». Это уже не крик Ключева — это как будто крик самого С. Куняева.

А между «холодом» и «криком» — две небольшие главки, где пестрят страшные слова «ОГПУ», «НКВД», «арест», «Нарым», цитаты из протоколов допросов... В последней главе — небольшое описание жизни Ключева в Сибири — в Томске, который оказался для него гостеприимным: «Этот свет освещал ему последние годы его томского жития — словно последними ласками одаривал Спаситель...» Материалов об этом времени сохранилось немного, и, вероятно, С. Куняев, работая над книгой, собрал и учел все свидетельства, какие только можно было на сегодняшний день собрать

и учесть. Его занимает не только фактография финала ключевской биографии, в книге много «живых свидетельств» — голосов, пробивающихся сквозь время. Исследователь пытается реконструировать внутренний мир Ключева, чувствующего приближающееся завершение жизни: «Кровь Иисуса Христа помимо меня самого очищает меня. Мое дело только идти вперед по пути Света», — писал Ключев в одном из писем.

Может быть, он и ушел «вперед по пути Света», растворился во времени, вернулся в свое чудное прошлое. Обзор версий гибели Ключева С. Куняев завершает так: «На мой запрос Архангельское отделение ФСБ недвусмысленно ответило, что никаких сведений о Николае Алексеевиче Ключеве у них не имеется».

Удивительным свойством обладает труд С. Куняева: он и о Ключеве, он и о вселенной, он и о читателе — ради него. В середине своей книги автор делится внезапным откровением, словно начинает учительствовать вслед за Ключевым, рассуждая о его произведениях: «Читаю... перечитываю, нет, даже не так: вслушиваюсь, впиваюсь или сам пою. Не знаю.

Но только это не обычное чтение. Что-то другое...

Только бедные, унылые люди не чувствуют эту невиданную книжку.

И, не чувствуя ее, они не остаются равнодушными, но, страшась силы, в ней заключенной, они ненавидят ее, как ненавидят стихию, как ненавидят Россию, как ненавидят Любовь распинающую и распятую...»

Крик. «Ради нашего спасения».



Светлана БЕЛЯЕВА

ВАЛЬТЕР НИКОЛАЕВ: ИЗ ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

В 2015 году исполнилось бы 80 лет со дня рождения новосибирского художника Вальтера Алексеевича Николаева (1935—1966). Имя его не очень широко известно, и материалов о его жизни и творчестве сохранилось крайне мало. А между тем даже та сравнительно небольшая коллекция графических работ Николаева, которая находится в Новосибирском государственном художественном музее, позволяет говорить о нем как о своеобразной творческой личности, занимающей особенное место среди авторов своего поколения.

В. А. Николаев получил образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, окончив в 1961 году его графический факультет по классу профессора А. Ф. Пахомова. Дипломной работой молодого художника стала серия черно-белых линогравюр «Осень в Карелии», отдельные листы которой позже неоднократно экспонировались на областных, зональных и всесоюзных выставках. В августе 1961 года Николаев был направлен в Новосибирск, где сразу активно включился в работу. Он создает серии гравюр «Пионеры в труде» (1962—1963) и «Юность Сибири» (1963—1964), в 1965 году начинает серию о Гражданской войне, увлекается акварельной техникой. В том же году он становится членом Союза художников. Николаев неоднократно выезжает в

творческие командировки по районам области, руководит кружком изобразительного искусства в школе № 74, избирается в состав художественного совета Новосибирского отделения Союза художников, принимает участие в разнообразных выставках. К сожалению, жизнь Вальтера Алексеевича оборвалась слишком рано — 6 февраля 1966 года он трагически погиб.

Немногочисленные произведения В. А. Николаева, хранящиеся в коллекции Новосибирского художественного музея, дают представление о сложившемся индивидуальном стиле автора, который делает его работы узнаваемыми и позволяет выделить их среди других.

Линогравюры Николаева, созданные в первой половине 60-х годов и повествующие о трудовых буднях советских людей, казалось бы, очень типичны для своего времени и по тематике, и по трактовке сюжетов, и по технике исполнения. Одним из главных качеств этих листов становится «весомая, грубоватая правда повседневного», характеризующая, по словам А. Каменского, черты сурового стиля, получившего тогда развитие в изобразительном искусстве. И строгий лаконизм черно-белой линогравюры как нельзя лучше способствует этому сдержанному рассказу. Порой Николаеву не удается избежать определенных штампов, свойственных печатной графике середины 50-х — начала 60-х годов, тяготеющей к

многозначительным обобщениям, далеко не всегда оправданным. Но все же образный мир его произведений очень далек от заурядности.

В его листах отчетливо доминирует черный фон, из которого словно вспышками света выхватываются лишённые четких контуров усталые, напряженные лица, натруженные руки. Толстая, грубоватая штриховка, создающая объемы, вызывает ассоциации с трудным движением резца по дереву. Характер штриха очень различен: фигуры среднего плана передаются уже более узкой, аккуратной штриховкой, дали — длинной, тонкой, плавной, а техника, предметы, травы — совсем мелкой, вибрирующей, легкой. Особенно своеобразна линогравюра «Осенняя страда» (1961) из серии «Осень в Карелии». Ее вертикально вытянутый формат вносит неожиданное изящество в суровый сюжет о колхозных буднях. Впрочем, трудно однозначно определить тему этого произведения и выделить, что первично, а что вторично в нем. Высокая точка зрения — на уровне летящих птиц, показанных на первом плане, монументальных, тяжеловесных, тщательно проработанных, словно именно они — главные персонажи листа, — меняет акценты. А поле и работающие на нем люди и техника, переданные мелкими и подвижными штрихами, кажутся маленькими и призрачными, почти растворяясь в массе черного фона.

Если гравюры Николаева можно в большинстве своем сравнить с публицистической статьёй, то его акварели — ско-

рее заметки «для себя». Они камерные, более личные. При жизни художника они никогда не экспонировались. В основном это — пейзажи, ничем особенно не примечательные, неброские уголки природы. Иногда на них появляются люди: гитарист, задумавшаяся девушка, гуляющие подружки. Как и гравюрам, акварелям Николаева присущ свой стиль: его приметами служат локально-синие контуры человеческих фигур и предметов, использование подчас открытых цветов, особенности изображения земли в виде крупных цветowych пятен и взволнованная беспорядочность мазков в рисунке листвы, коры, травы.

Несмотря на всю внешнюю несхожесть сюжетов и техник, между гравюрами Николаева и его акварелями просматриваются явственные параллели. Полные движения, беспокойные штрихи линогравюр перекликаются по создаваемому впечатлению с эмоциональными, дробными, пульсирующими цветовыми пятнами акварелей, где автор часто, особенно при изображении крон деревьев, использует прием отдельного мазка. Ощущению некоторой нервозности в обычных, казалось бы, пейзажных мотивах способствуют и резкие контрасты теплых и холодных дополнительных цветов. Как и в линогравюрах, в манере исполнения акварельных листов угадывается внутренний мир художника, лишённый банальности и однозначности.

Творчество Вальтера Алексеевича Николаева еще ждет своих исследователей и ценителей.



АВТОРЫ НОМЕРА

Алексеев Владимир Николаевич родился в 1943 г. в Москве. Окончил филологический факультет Уральского государственного университета. Один из организаторов отдела редких книг и рукописей ГПНТБ СО РАН, его руководитель с 1967 по 2010 г. Кандидат филологических наук, доцент кафедры древних литератур и литературного источниковедения гуманитарного факультета НГУ. Живет в Новосибирске.

Беляева Светлана Анатольевна — главный хранитель Новосибирского государственного художественного музея.

Габриэль Александр родился в 1961 г. в Минске. Окончил Белорусский национальный технический университет, инженер-теплотехник. Работал научным сотрудником в НИИ, занимался коммерческой и банковской деятельностью. Автор многочисленных журнальных публикаций и четырех книг стихов; дважды лауреат конкурса им. Н. Гумилева (Санкт-Петербург), дважды лауреат Чемпионата Балтии по русской поэзии (Рига). С 1997 г. живет под Бостоном (США).

Герман Надежда — автор трех поэтических сборников и книги прозы. Член Союза писателей России. Живет в Хакасии.

Климакова Екатерина родилась в Новосибирске. Окончила Новосибирский государственный технический университет. Кандидат филологических наук. Член Союза писателей России. Стихи и проза публиковались в газетах, журналах, альманахах и коллективных сборниках. Автор книги «Вальс русской осени». Живет в Новосибирске.

Леснянский Алексей Васильевич родился в 1982 г. в селе Белый Яр Красноярского края. Окончил Хакасский институт бизнеса, факультет маркетинга. Публиковался в журналах «Урал», «Сибирские огни». Лауреат премии «Дебют» (2013), лауреат Международной литературной премии им. И. Ф. Анненского. Живет в Абакане, работает редактором сайта телекомпании.

Меер Геральд родился в 1941 г. в Новосибирске. Окончил Новосибирский электротехнический институт, работал ведущим конструктором новосибирского филиала ОКБ Сухого. Автор книг и публикаций в периодической печати. Живет в Новосибирске.

Юрченко Лада родилась в Новосибирске. Окончила гуманитарный факультет НГУ. Публиковалась в журнале «Горюжанка». Авторские сборники: «Почерк юности», «Дамские сказочки», «Поэма на пальмовых листьях». Живет в Новосибирске.

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «**СИБИРСКИЕ ОГНИ**» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

Верстка: *О. Н. Вялкова*

Корректурa: *М. Н. Долгов*

630048, г. Новосибирск, ул. Вертковская, 10, оф. 315,
тел.: **(383) 344-92-94**
E-mail: **sibogni@sibogni.ru** Сайт: **сибирскиеогни.рф**



Сдано в набор 16.07.2015 г. Подписано в печать 11.08.2015 г.
Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7.
Тираж 1500 экз.

<http://книгосибирск.рф/>

Во всех случаях полиграфического брака
просим обращаться в типографию.